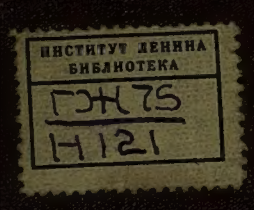
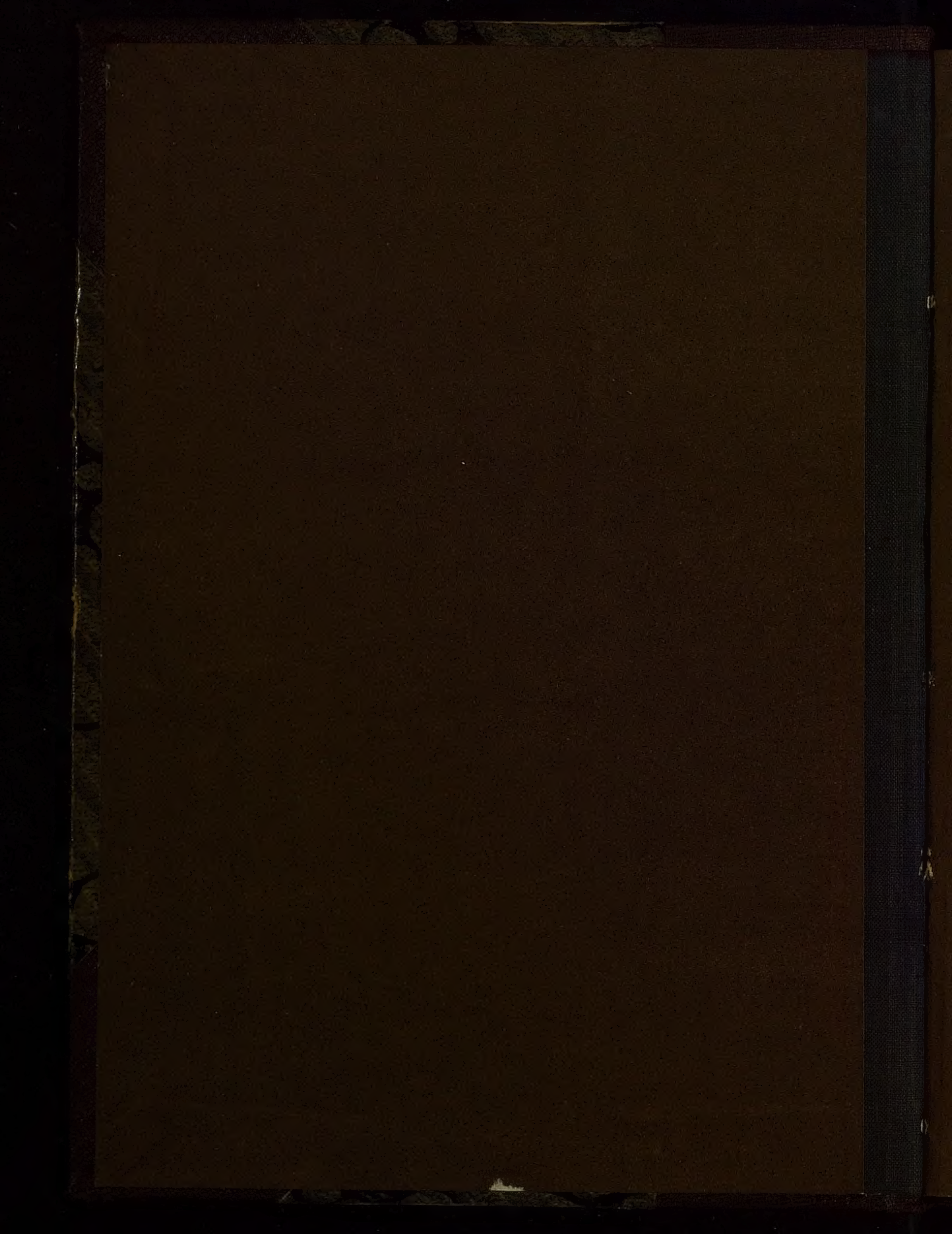
НА
ЖЕНСКОЙ
КАТОРГЕ


ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГЭН 75
Н 121



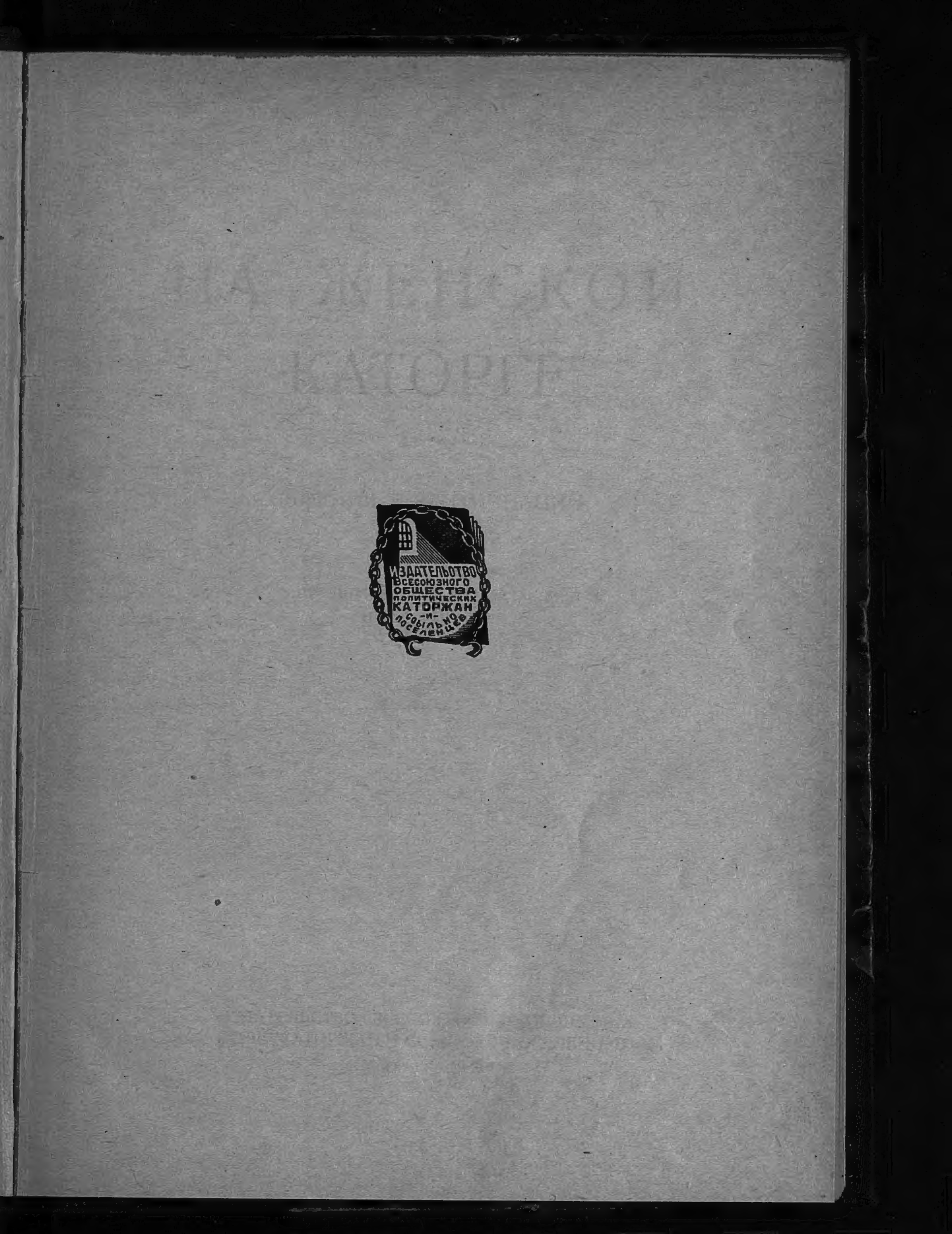
НА ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

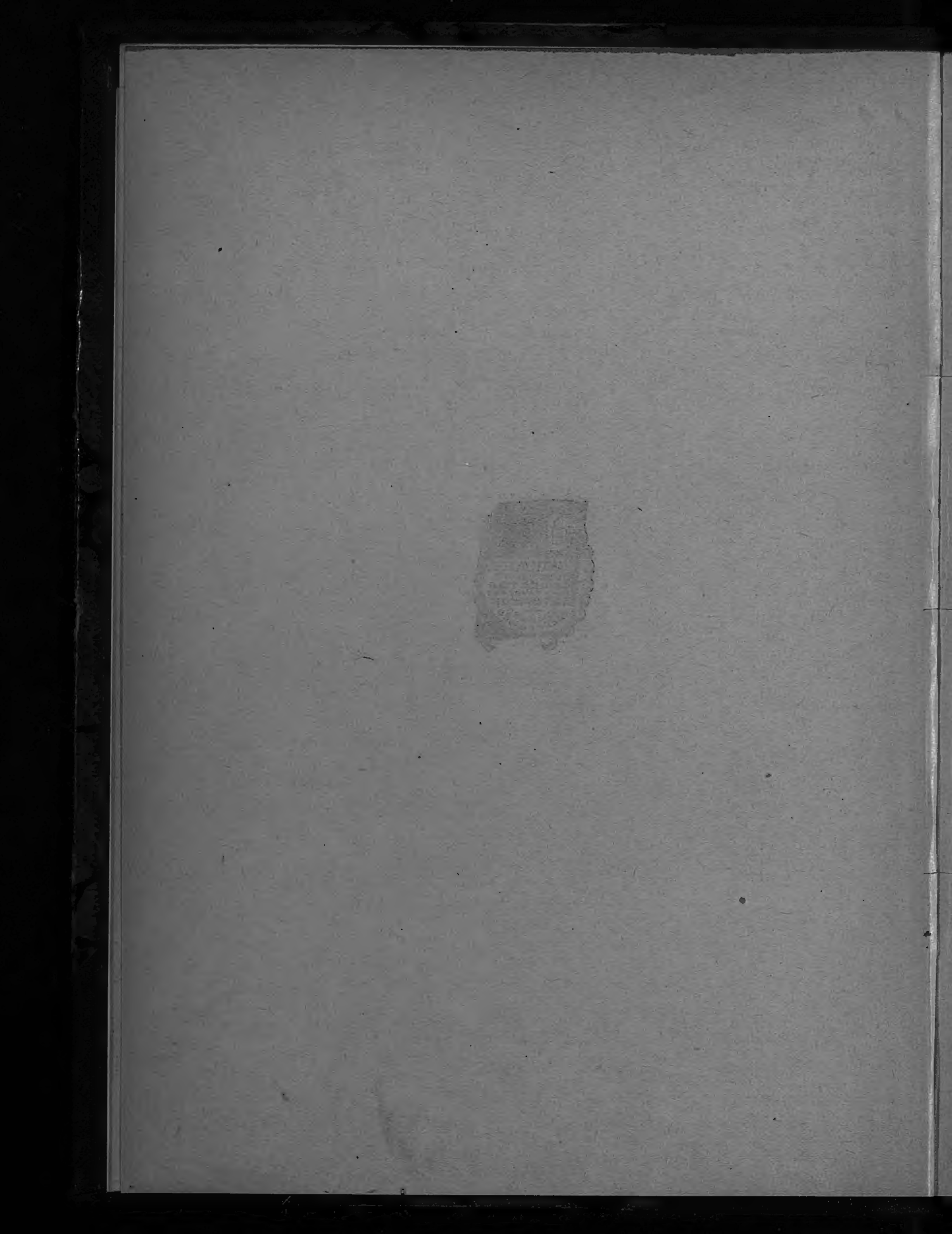
СБОРНИК СТАТЕЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. ФИГНЕР

ГЭЖ75
Н121

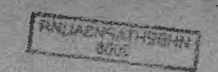


МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН
1930


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ



Г Эк 75
Н 121



НА ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ И ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ВЕРЫ ФИГНЕР

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва — 1930

К.
П
1984
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008
ГЭ(75 Р
Н121



67923.
1930

Москва. Главлит А 69683. 5.000 экз.
«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.

В. Н. Фигнер

«ТЮРЕМНОЕ ЗВЕНО»

Из форм тюремного заключения самым тяжелым и губительным мне всегда казалось содержание в общих камерах. В одиночном заключении налицо—одна воля, которой противостоит закон, тюремная администрация, вооруженная голодом, холодом, физическими и моральными мерами воздействия, чтобы сломить или согнуть волю узника. Но в общей камере ко всему этому присоединяется еще 20—30-головая воля товарищей—такая разнообразная: сильная и слабая, колеблющаяся, капризная, иногда необузданная...

В этих общих камерах разница темпераментов, характеров, уровня умственного и морального развития (не говоря уже о партийности) должна, думалось мне, делать непереносным непрерывное принудительное общение незнакомых между собою лиц, чужой рукой сбитых в одно замкнутое на замок тесное помещение. Если с теоретической точки зрения трения и столкновения представлялись в такой обстановке неминуемыми, то практика Дома предварительного заключения в царский период вполне подтверждала это. Я слыхала горькие жалобы от женщин, побывавших там: в камере всегда находилось две-три особы, которые не уважали интересов других, и ни днем, ни ночью не подчинялись никакому общему распорядку и этим не давали никому покоя. Ночью не соблюдали тишины, расхаживали по камере, болтали, устраивали чаепития и тому подобное, а днем шумели, пели, не давая возможности ни сосредоточиться, ни заняться чем-нибудь... Ни просьбы, ни увещания не действовали на этих женщин.

Любопытно, что авторами внутренних беспорядков и мучительства товарищей всегда называли анархисток, как будто учение о безвластии в общественном строе на ряду с людьми, захваченными исключительно идейной стороной его, привлекало в осо-

бенности таких, которые понимали свободу и независимость в вульгарном смысле своеволия, настойчивости в том, «чего нога моя хочет». Те же жалобы были относительно мужчин-анархистов в Акатуе и в Александровской тюрьме, где они не признавали никакого твердого соглашения относительно общей жизни и говорили: «Сегодня мы согласны, но завтра, быть-может, мы не пожелаем выполнять того, на что соглашаемся сегодня». При таких понятиях, конечно, не было никакой возможности сделать общую жизнь мало-мальски сносной.

И вот, когда революция 1905 года захватила массы, когда в движение были вовлечены многие не сотни, а тысячи представителей из всех классов и партий, уложить тюремную жизнь в удобопереносимые рамки составляло задачу труднейшую из трудных.

Уцелеть физически, не сойти с ума в абсолютно одиночном заключении на долгие годы, я думаю,—невозможно. Но выйти с неизуродованной душой из долголетнего заключения в общей камере возможно при единственном условии великой самодисциплины и перевоспитания себя каждым из заключенных.

С этой точки зрения очень интересен опыт женщин-каторжанок начала нашего столетия, поскольку в сибирских тюрьмах они были собраны в общих камерах: в Мальцевской и в Акатуе.

И Каховская талантливой и любящей рукой нарисовала нам картину жизни Мальцевской женской тюрьмы, существовавшей с 1907 по 1911 год и чрез которую за эти годы прошли 72 каторжанки, осужденные по разным политическим процессам на разные сроки. Это—картина уже вполне сложившейся, упорядоченной и дисциплинированной жизни, которая давала возможность серьезно заниматься, учиться тому, что каждой было нужно или интересно, начиная с правил арифметики и до Канта, Шопенгауэра включительно, благо, стараниями товарищей, все хорошие книги и пособия были к их услугам. Урегулированная жизнь обеспечивала покой, когда он был нужен, давала часы отдыха, когда можно было поболтать и поспорить, и часы тишины, когда можно было уйти в книгу и забыть все окружающее.

Конечно, при предварительном заключении легкомыслие могло происходить от того, что находишься в данных условиях лишь временно, но перед каторжанками стояла серьезная перспектива долгих, многих лет жизни в одних и тех же условиях. Как жить? чем наполнить жизнь? И каждая понимала, что задачу дальнейшей судьбы своей приходится решать неединолично, а сообща с другими. Обеспечить себе необходимую долю внутренней свободы и дальнейшего развития было возможно не иначе, как признавая и за каждым другим такую же долю. Там можно было жить

кое-как в надежде, что не сегодня-завтра выйдешь, жить, н е с о б р а в ш и с е б я, не налагая на себя известных ограничений физических и духовных, не делая уступок своего «я» ради других таких же полноправных «я».

Г. Лопатин как-то говорил, что воспитание детей заканчивает воспитание родителей. И когда пред осужденными вставала задача многолетней совместной жизни со многими в неволе, то самая легкомысленная голова должна была понять, что наступил конец жизни самостийной, а если не поняла сразу, то опыт научал щадить других, если хочешь, чтоб тебя щадили.

Радзиловская и Орестова рисуют нам тот строй тюремной жизни, который явился р е з у л ь т а т о м той, быть-может, мучительной школы, которую должен был пройти каждый из 25 — 30 членов Мальцевской коммуны; длительный процесс самовоспитания и самодисциплины они не описывают. Это было бы и щекотливо, и несправедливо по отношению к тем, кому было наиболее трудно подчинить себя коллективу. Несправедливо потому, что для поведения в тюрьме—другая мерка, чем на свободе. Неестественные условия, в которые ставится личность, повышают до-нельзя нервность человека. В тяжелой обстановке вечного стеснения, гнета административных распорядков, произвола и нелепости тюремного начальства, отсутствия свиданий с родными, друзьями и знакомыми, исчезновение духовных и внешних впечатлений, однообразие дня, занятий и окружающих лиц—все это выводит человека из нормы: все принимает обостренный характер, искажается воображением и рефлексией, как искажаются образы предметов в вогнутом или выпуклом зеркале. Тут в обрисовке борьбы личности с общиной и общины с личностью, индивидуального с общим, столкновения отдельных порывов с тем, что установлено в интересах всех,—должна быть личная исповедь, а не рисунок посторонней, хотя бы и дружеской руки. Как стирались острые углы взаимоотношений, внутреннюю историю трений, столкновений и, быть-может, эксцессов со стороны людей с горячим темпераментом, эту историю п е р е в о с п и т а н и я с е б я и д р у г и х, авторы не могли, и, мне кажется, не должны были давать в своем рассказе.

Во всяком случае задачу, — создать удовлетворительную общую жизнь, обеспечить духовные интересы всех членов подневольной коммуны, обеспечить каждому нравственный покой и физическую тишину, соблюсти равенство, как моральное, так и материальное,—эту задачу каторжанки Мальцевской тюрьмы разрешили блистательно, как это показал рассказ И. Каховской. Из этой тюрьмы никто не вышел изуродованным, ожесточенным.

В письмах из их «далека» часто отмечалось, как много в этой извне обездоленной жизни узницы давали друг другу, и, когда приходилось выходить в вольную команду или на поселение, они расставались с уважением и любовью к тем, кого покидали. Но какой ценой доставалось решение задачи создать надлежащий строй совместной жизни? Ценой великого напряжения внутренних сил и неустанной работы над собой. Одно из писем, помещенных в приложении, дает намек на это. «Первый вечер,— говорит автор, вышедший в вольную команду с двумя подругами,— мы были, как шальные, все повторяли: мы втроем, мы втроем![1]. Не зная, как выразить настроение, принялись петь, нимало не огорчаясь тем, что в нашем концерте меньше всего было музыкальности и согласности звуков».

Быть втроем, в отдельной, вне тюремных стен, убогой землянке, похожей на ласточкино гнездо, было для них величайшим счастьем, наполнявшим неистовым восторгом: стеснительные оковы общежития пали, человек приобретал индивидуальную независимость, свободу, возможность строить жизнь по-своему, быть наедине с собой, когда он того хочет.

Что помогало мальцевским каторжанкам разрешить задачу общей жизни?

Конечно, большую роль играла высокая духовная квалификация состава каторги. Но кроме этого, а может быть, благодаря этому у женщин Мальцевки было благородное дело, кроме пополнения собственного образования, прерванного революционной работой,— поднять на более высокий уровень тех, которым социальные условия не дали возможности получить не только среднее, но даже правильное низшее образование. Тут были добровольные учительницы и прилежные ученицы, жаждавшие подняться на более высокую ступень развития и получить как можно больше знаний. Для тех и для других это было благодетельно: для тех, кто сообщал знания, давалось сознание своей полезности для других,—жизни не для себя одних; а для тех, кто получал их,—радость итти вперед все дальше и дальше, наверстывая то, чему препятствовали условия жизни на свободе.

Предлагаемый сборник, составленный самими каторжанками, обрисовывает, с одной стороны, Мальцевскую тюрьму и Акатуй, а с другой—вольную команду при этих тюрьмах. Каждая из каторжанок внесла в сборник нечто свое, повторений нет, так как

[1] Подчеркнуто мной. *В. Ф.*

план был обдуман и сообразно с этим выполнен, как следует. Общий очерк Мальцевской тюрьмы дала И. Каховская. Описание приезда в нее после этапного пути дала в обвеянном теплом рассказе А. Пирогова. При чтении его в воображении живо встает картина стола с кипящим самоваром, от которого валит пар, фигуры женщин, кто во что горазд, суетливо хлопочущих, чтоб как можно лучше встретить новоприбывшую; об'ятия и поцелуи, весь милый уют, который все же женщины умели придать даже жалкой деревянной развалине, в которой они жили... И все это—милое и родное, после грубости, голода и холода этапного пути...

Вот Павла Меттер—работница-латышка, не знающая ни слова по-русски и могущая об'ясняться с подругами по несчастью только на немецком языке, которым владеют только двое из них. Дитя народа чувствует себя далекой и чужой: она одинока среди тех, в которых она видит прежде всего «барышень», членов иного класса, враждебного ей—истинной «пролетарке». «Я была одна пролетарка,—пишет она,—среди интеллигенток, которые обладали и революционным стажем»... Разница в образовании больно резала ее. «Я чувствовала себя страшно одинокой, — почти все товарищи были заняты чтением толстых томов философии Канта, Лаврова, Михайловского и других научных книг»... Коммуна тяготила ее имущественной разницей: у нее не было ничего, с родными и друзьями связи были порваны, а товарищи получали письма, деньги, посылки... Она ходила по двору большею частью отдельно и старалась найти причину своего одиночества и решить вопрос: «Чем и как заполнить жизнь, которая стала фактом,—пишет она,— и будет не дни и не недели, а целые годы в этой тюрьме»... Вскоре она выяснила причину одиночества и «поняла, что это есть классовая рознь». В беседах с товарищами, которые относились к ней превосходно, она бросает им: «Вы шли за одно, а мы, рабочие, совсем за другое». Но когда те просили об'яснить эту мысль конкретно, «я не могла тогда этого об'яснить, хотя всем своим существом чувствовала и знала, что это такое».

Вот трагедия интеллигента! Когда, переодевшись мужиком и вооружившись топором и пилой, он «шел в народ»,—его не понимали... Когда он лицом к лицу становился с рабочим,—его тоже не понимали... Пролетарскую гордость оскорбляло даже во всех уравнивающей обстановке каторжной тюрьмы не только прежнее привилегированное положение товарищей в отношении имущественном,— оскорбляло и уязвляло неравенство образования, то, что они сидят за толстыми книгами, а она читала только тощие брошюрки.

Размышление привело эту девушку к решению, что она внесет в коммуну то, что в социальном строе создает материальное богатство общества, — свой труд, единственное, что она имеет. Многие каторжанки были больны, другие слабосильны, — мыть белье на 30 человек, готовить пищу на 30 человек составляло очередную обязанность каждой. И вот она взялась помогать своей физической силой и навыком всем: усердно чистила, скоблила, стряпала, ухаживала за больными и вместе с тем училась русскому языку, арифметике, географии и прочим наукам, пока не стала вровень с другими...

Радзиловская, вышедшая в вольную команду из Мальцевской тюрьмы, в общении с природой находившая высшую отраду, прекрасно описала те неясные настроения, полугрезы, которые охватывают человека, когда он остается наедине с природой, в безмолвии одиночества, на просторе, после скученности заточения. В приложении, кроме уже упомянутого письма, трогательного по чертам бедности обстановки («у нас уже есть стол и две табуретки»...) и в особенности по отношению к этой нищете, по моему настоянию помещаются два других письма, в высшей степени интересных в психологическом отношении. Не касаясь их содержания, я могу только рекомендовать каждому, кто будет иметь в руках этот сборник, прочитать их: они дают понятие о страстной жажде движения людской толпы и шума жизни, загнанной в глубь души тюремными стенами.

Новую страницу быта раскрыла Орестова-Бабченко, страницу о том, как в Акатуйской вольной команде женщины вели пропаганду среди солдат, которые стерегли тюрьму; в них, вместо сторожевых псов, они приобрели славных товарищей-друзей, которые были посредниками между ними и тюрьмой, предупреждали об опасностях, оберегали от неприятностей, и, когда однажды их поставили в карцерное положение, конвойные купили на свои деньги всякого рода провизии и бросили ее им в открытую форточку.

В трогательных выражениях автор нарисовал свой от'езд на поселение, разлуку с теми товарищами, которые оставались на месте. Это так напомнило мне тяжелые минуты выхода из Шлиссельбурга, когда в нем еще оставалось девять человек мужчин, что мои глаза, разучившиеся плакать, против воли стали влажны...

Не прошел сборник и мимо такого момента, как побеги и попытки к нему, этой непреоборимой тяги из оков неволи туда, далеко, на свободу, к жизни, к деятельности. Описан блистательно осуществленный побег М. Школьник, неукротимо рвавшейся на свободу... Упомянуто и о подготовке другого побега, к которой и я имела отношение, это—относящаяся к 1908—1910 гг. попытка

устроить бегство М. Спиридоновой. Вначале я добыла с помощью С. Г. Кропоткиной 3½ тысячи рублей. По предложению А. Ю. Фейта и с моего согласия, это дело было поручено молодому эмигранту Аркадию Сперанскому, известному мне из Швейцарии.

Условия Мальцевской тюрьмы, бывшие раньше по отзывам заключенных очень благоприятными для побега, ко времени этой попытки значительно ухудшились.

Сперанский, отправившийся в Сибирь, должен был подготовить все необходимое для безопасного препровождения беглянки после ее выхода из тюрьмы, а внутри ее оказать помощь должна была надзирательница Добровольская. Последняя после проверки предполагала вывести Марию Александровну из тюрьмы, вместо своей дочери, которая ходила мыться в тюремной бане.

Все было налажено, когда дня за два до предполагаемого побега Сперанский получил письмо М. А. с просьбой прислать дополнительно обойму для браунинга, веронал и деньги. Добровольская, по рассказу Сперанского, отказалась взять эти вещи с собой и просила отправить их ее родственнику Григорьеву, начальнику почтового отделения Горного Зерентуя, у которого она возьмет их; Сперанский так и сделал. Посылка была Григорьевым вскрыта, и начались розыски. Сперанский был арестован; признав, что посылка была послана им, он заявил, что был только передатчиком ее, но указать, от кого, где и когда получил содержание ее, он отказывается. Дело кончилось сравнительно благополучно, так как предполагавшиеся цели не были вскрыты.

Сперанский под именем Верещинского (паспортом которого он пользовался) был на пять лет сослан административно в Якутскую область. На Мальцевской тюрьме провал подготовки не отразился ничем. Добровольская впоследствии по подозрению была уволена и жила в большой бедности. По словам Спиридоновой, она пострадала больше всех.

Сборник, счастливо задуманный и выполненный, имеет один недостаток и притом крупный. В нем нет—человека. Через Мальцевскую тюрьму прошли 72 женщины—целая картинная галлерея эпохи реакции начала текущего столетия. Какие разнообразные, красочные типы были между ними! Дети яркой эпохи революции 1905 года, то блестящие, то скромные, все имеющие большое или малое, но всегда интересное прошлое, начиная с разнообразия детства, условий воспитания и развития, и кончая трагедией деятельности, крушения многих надежд и, быть-может, разочарований в людях.

Конечно, писать о здравствующих людях неудобно, но все же силуэты типов могли бы быть набросаны, и жаль, что И. Каховская воздержалась от этого.

В сборнике есть обстановка, быт, общий характер жизни, занятий, но нет индивидуального; и это сильно чувствуется, когда перечтешь все статьи. Я думаю, что когда-нибудь, в другой раз, этот пробел будет пополнен и мы увидим славные образы этого поколения русских женщин. А еще мне жаль одного. В тюрьме был ребенок, дочка одной из заключенных. Девочка, неразлучная с матерью, смягчала жизнь всех окружающих. Бедная девочка так привыкла к тюремным стенам, что боялась свободы, простора,—для нее жалкое тюремное помещение с ободранными стенами и низким потолком было родное, привычное. Не зная прелести свободы, необ'ятной шири земли и неба, — она страшилась их...

Мне жаль, что нет хоть маленького рассказа, в котором было бы собрано все, относящееся к девочке и оставшееся в памяти взрослых... ее детский лепет, ее радости и горести...



Карта района Кары и Нерчинской каторги в Забайкальской области

Л. О.

НЕРЧИНСКИЙ КРАЙ

Краткие сведения

Сибирь, где находится Нерчинский край, с давних пор была страной изгнания. Еще со времен царя Алексея в Сибирь ссылались в чем-либо провинившиеся бояре и сановники, а во времена Павла заселение Сибири производилось «за продерзости против помещиков, за произнесение дерзких слов против императорского величества» и т. д.

Русское правительство считало ссылку в Сибирь на каторгу одним из средств борьбы с нарастающим революционным движением. Оно стремилось найти в Сибири самые отдаленные, глухие места, где ссылаемые были бы заживо погребены. Одним из таких мест в Сибири был Нерчинский край, находящийся в восточной части Забайкальской области между реками Шилкою и Аргунью и занимающий площадь свыше 24 миллионов десятин.

Огромные богатства, сосредоточенные в Нерчинском крае, считались «кабинетской» собственностью. Здесь было месторождение железа, олова, некоторых радиоактивных минералов, цветных камней, тут встречались богатые минеральные источники—сернистые, углекислые, железистые, соленые, содовые. Главное же богатство Нерчинского края составляли золотые россыпи и серебро-свинцовые рудники.

Население Забайкальской области состояло преимущественно из туземцев-тунгусов и бурят и только в первой половине XVII столетия русские стали проникать в Забайкалье.

С целью заселения пустынного Нерчинского края в 1697 году решено было перевести сюда беглых крестьян, большая часть которых не вынесла утомительного пути и погибла от недостатка с'естных припасов, от болезней и разного рода лишений.

Отдаленность от центра и отсутствие путей сообщения делали край этот долгое время малодоступным и малозаселенным. Только с 1722 г., то-есть с тех пор как царское правительство решило сделать его местом ссылки для приговоренных к каторжным работам, население края стало постепенно увеличиваться. Колонизуя эти места, правительство одновременно имело в виду и другую цель—использовать даровую рабочую силу ссыльно-каторжных для разработки огромных богатств, разбросанных по всему краю.

Идея использования даровой силы зародилась еще при Петре, который применял каторжный труд при постройке Шлиссельбургской крепости, военной гавани Азова и т. д.

Одним из тех мест, где царское правительство использовало труд ссыльно-каторжных, был Нерчинский заводской округ с его рудниками. Однако разработка всех этих рудников, которая велась самым примитивным способом, при неприкрытом хищничестве подрядчиков и тюремщиков, давала царскому правительству убыток, благодаря чему она то прекращалась, то вновь возобновлялась.

После 1881 г. Нерчинские рудники, как приносившие убытки, были закрыты. Открылись они снова в 1883 г., но продолжали давать убытки вследствие малой производительности каторжного труда. В 1906 г. окончательно было ликвидировано серебро-свинцовое производство. Несмотря на это, Нерчинско-заводской округ все время продолжал оставаться местом ссылки каторжан.

Собственно «Нерчинскую каторгу» составляют следующие тюрьмы, расположенные при рудниках: Горно-Зерентуйская тюрьма, Акатуйская, Алгачинская, Кутомарская, Мальцевская, Кадаинская и карийские тюрьмы: Верхне-Карийская, Средне-Карийская, Нижне-Карийская и Усть-Кара.

Добраться до Нерчинской каторги, отстоящей на тысячи верст от Европейской России, стоило большого труда. Особенно тяжел был путь до постройки Сибирской железной дороги, когда осужденные проводили в дороге многие месяцы. Не легок был путь и в позднейшее время. Железная дорога доходила до Сретенска, откуда начинался пеший тракт. Партия каторжан проходила по 30—40 верст в день и, совершенно обессиленная, останавливалась на ночевку в полуразрушенной этапке с тем, чтобы чуть свет снова продолжать этот утомительный путь.

Тюрьмы Нерчинской каторги видели в своих стенах представителей всех эпох русского революционного движения. Здесь в Благодатских рудниках возле Мальцевской тюрьмы в тяжелых условиях работали декабристы. В Акатуйской тюрьме отбывал

вторично каторгу декабрист М. С. Лунин за резкую критику правительства. Польские восстания 1830 и 1863 годов, окончившиеся победой царизма, дали тысячи каторжан, сосланных на Нерчинскую каторгу и разбросанных по различным ее тюрьмам.

В Кадае, а затем в Александровском заводе (в 18 километрах от Акатуя) отбывал каторгу Н. Г. Чернышевский и многие каракозовцы.

В 70-х и 80-х годах политическая каторга сосредоточилась, главным образом, в Карийских рудниках, где отбывал каторгу Н. А. Ишутин, нечаевцы, долгушинцы, народники и народовольцы.

Здесь в 1889 г. разыгралась тяжелая трагедия. После наказания розгами политической каторжанки Сигиды, семь человек, в том числе и она сама, покончили самоубийством. В связи с этой трагедией травились очень многие и остались живы только благодаря испорченному яду.

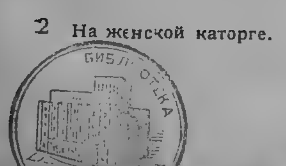
В 1890 г. все каторжане из карийских тюрем были переведены в Акатуй, а в 1897 г. в связи с переводом в Акатуй каторжан и внетюремного разряда Кара окончательно была ликвидирована.

После революции 1905 г. Нерчинская каторга усиленно стала заполняться осужденными по массовым процессам, за военные восстания, за террористические акты и т. д. И здесь в тяжелые годы реакции творилась жестокая расправа с политическими каторжанами.

Особенно жестоким режимом отличались Алгачинская, Кутомарская и Зерентуйская тюрьмы при начальниках Бородулине, Головкине и Высоцком.

И только революция 1917 г. освободила всех заключенных из нерчинских тюрем. Все здания каторжных тюрем было постановлено Забайкальским губисполкомом передать в распоряжение волисполкомов для культурно-просветительных и хозяйственных целей.

67823



Ф. Н. Радзиловская и Л. П. Орестова

МАЛЬЦЕВСКАЯ ЖЕНСКАЯ КАТОРГА

1907—1911 гг.

Огромный треугольник между реками Шилкой, Аргунью и Забайкальской дорогой образует Нерчинский край, часть которого издавна славится серебро-свинцовыми рудами. В пределах этого района, в Нерчинском заводском уезде, расположены семь каторжных тюрем, составлявших—мрачной памяти—Нерчинскую каторгу. Одна из этих тюрем — Мальцевская — построена километрах в восьми от Нерчинского завода в районе Благодатских рудников, где работала когда-то часть декабристов, сосланных на каторгу.

Не раз царское правительство думало и пыталось возобновить трудом каторжан разработку Нерчинских рудников, начатую еще в 1704 г., и в 1869 г. по этому поводу состоялось соглашение между министерством внутренних дел и кабинетом его императорского величества. Однако, к такой разработке было приступлено только в 1883 году.

Из отчета бывшего начальника Главного тюремного управления А. П. Саломона выявилось, что, несмотря на такое соглашение, на Нерчинской каторге, специально предназначенной для рудниковых работ, этими работами было занято очень незначительное количество каторжан. Благодатские рудники в районе Мальцевской так и остались пустовать, а Мальцевскую тюрьму стали постепенно заполнять уголовными женщинами, исполнявшими различные тюремные работы в виде шитья белья на мужские тюрьмы, выделки пряжи на казну и т. д.

До 1907 года в Мальцевской тюрьме жили исключительно уголовные, если не считать Айзенберг и Ройзман, которые там прожили очень короткий срок.

Осужденные на каторгу по делу Якутского протеста 1904 г., Айзенберг и Ройзман в апреле 1905 г. были привезены в Мальцевку из Александровского централа, где не было женского отделения. В Мальцевской они были помещены в очень большую камеру, не приспособленную для жилья. Вместо кроватей в камере были нары, но это их не смущало; главным ужасом камеры были клопы. Их было такое несметное количество, что они ползали густой вереницей, заползали в еду, в хлеб, в платье и не давали спать. Каждую ночь Айзенберг и Ройзман спали по очереди, и, пока одна спала, другая стояла возле нее со свечей и отгоняла клопов. Это заставило их подумать о переводе, и они, по совету зерентуйского тюремного доктора Рогалева, подали заявление о переводе их по болезни в зерентуйскую больницу.

Начальник тюрьмы Пахоруков, которому они надоели своими требованиями и который, очевидно, хотел избавиться от политических, не зная как себя с ними держать, дал ход их заявлению. Айзенберг и Ройзман очень скоро были переведены в Зерентуй, и, таким образом, Мальцевская тюрьма попрежнему продолжала оставаться исключительно уголовной женской каторжной тюрьмой.

Такое положение продолжалось до февраля 1907 года, когда в Мальцевскую была переведена первая партия политических каторжанок.

Первые политические женщины-каторжанки послереволюционного периода 1905 г. вначале жили в Акатуйской тюрьме, в которой, по словам самих заключенных, были «республиканские», очень свободные порядки. Окончательное подавление революционного движения 1905 г., очень сильно отразившееся на режиме и порядках в тюрьмах, отразилось также и на Акатуйской тюрьме. Перевод политических женщин из Акатуя был первым шагом в этом направлении.

Военным губернатором Забайкальской области Эбеловым в предписании к начальнику Нерчинской каторги от 6 января 1907 г. за № 7 было предложено: «перевести всех находящихся в этой тюрьме арестанток-женщин в Мальцевскую тюрьму, приспособив для содержания их обособленное от других каторжных женщин помещение, с назначением надзора над ними наиболее надежных надзирателей и установлением через заведующего конвойной команды караула».

Телеграфным дополнительным приказом губернатор еще раз подчеркнул необходимость этой меры, и Метус, бывший в то время начальником Нерчинской каторги, стал торопить начальника Акатуйской тюрьмы с переводом женщин, назначив срок перевода на 15 февраля.

В назначенный день, в 11 ч. утра, из Акатуя были отправлены Биценко, Измайлович, Фиалка, Давидович, а вслед за ними в 2 часа ночи и остальные—Спиридонова, Школьник, Езерская, отказавшиеся вначале ехать в указанный срок в виду болезни.

Давидович, которая к этому времени уже окончила свой срок каторги, рассталась со своими товарищами в Шелапугино, откуда продолжала путь на поселение в Баргузин, а остальная шестерка была отвезена в Мальцевскую тюрьму.

С этого периода, то-есть с февраля 1907 г. и вплоть до весны 1911 г., Мальцевская тюрьма стала средоточием всех политических каторжанок, отбывавших свой срок в Сибири. Количество политических каторжанок стало быстро расти: к августу 1907 г. их было всего 14 чел., в мае 1908 г. Мальцевская насчитывала уже 33 человека, а весной 1911 г., то-есть к моменту перевода женской каторги из Мальцевской в Акатуй, в Мальцевской тюрьме уже перебывали 62 политические каторжанки из общего количества 72 человек, сидевших в Нерчинской женской каторге за период 1907—1917 гг.

Состав всей женской Нерчинской каторги был довольно пестрым. В то время как в мужской каторге, в основной массе, сидели рабочие и крестьяне, значительная часть женской каторги принадлежала по происхождению к привилегированному сословию и имела своей профессией умственный труд.

По роду занятий до начала своей революционной деятельности из 66 человек политических женщин на Нерчинской каторге, о которых имеются сведения, 42 человека, то-есть 64%, занимались умственным трудом и только 24 человека, то-есть 36%,—физическим трудом.

По партийности на женской Нерчинской каторге больше половины составляли эсеры, которых насчитывалось 38 человек. Остальная часть состояла из с.-д. (5 с.-д. большевиков, 3—с.-д. Польши и Литвы, 2—с.-д. меньшевика, 2—бундовки) и анархистов-коммунистов, которых было почти поровну.

Несмотря на то, что женская политическая Нерчинская каторга делится на два периода, Мальцевский и Акатуйский,—за нерчинскими каторжанками прочно укрепилось название «мальцевитянок», может-быть потому, что основная масса политкаторжанок Нерчинской каторги сидела именно в Мальцевской тюрьме, а может-быть и потому, что этот период наиболее характерен для тех настроений, которые переживала Нерчинская женская каторга.

Вид тюрьмы и камер.

Мальцевская тюрьма стоит в низине между сопками. Когда спускаешься с Зерентуйской дороги, откуда приходит этап, перед глазами встает ряд деревянных построек, окруженных невысокой каменной стеной. Эта стена, изнутри серая, сделанная как будто из простого булыжника, снаружи выкрашена в белый цвет. Большие деревянные ворота ведут в большой двор, где вдоль правой стены, на расстоянии 1½—2 аршин от нее, тянется длинный одноэтажный деревянный корпус, представляющий главное здание с



Во дворе Мальцевской тюрьмы.

шестью общими камерами. Вдоль части стены главного фасада идет другая постройка, по своим размерам гораздо меньшая, чем главный корпус. В этом здании, называвшемся околотком, помещалось 4 одиночки. Третий деревянный корпус внутри двора состоял из бани и кухни.

Приехавшая в Мальцевскую тюрьму из Акатуя шестерка сначала занимала одну камеру в главном корпусе, но постепенно, с приходом новых, владения политики стали все больше и больше распространяться, и через год политические каторжанки занимали уже три общие камеры в главном корпусе и все четыре

одиночки в так-называемом околотке. В одиночках жили подвое, жили наиболее больные и усталые и ухаживающие за ними.

Здание Мальцевской тюрьмы, даже по мнению тюремного ведомства, было признано мало пригодным и мало приспособленным



На прогулке. Мальцевская тюрьма.

для содержания женщин. Несмотря на то, что построено оно было недавно, оно уже представляло собою ветхий вид. По словам начальника тюремного управления Хрулева, строительные работы выполнены неудовлетворительно, материалы, из которых построена тюрьма, также неудовлетворительны, здание недостаточно теплое, полы одинарные, гниют.

В виду неприспособленности здания, Хрулевым была отмечена необходимость капитального ремонта тюрьмы.

И действительно, при суровом забайкальском климате, когда зачастую горные хребты, окружающие Мальцевскую тюрьму, остаются под снегом до середины мая, при тридцати-сорокаградусных морозах, деревянное здание с огромными щелями и дырами совсем не защищало от холода. Углы камер зимой покрыва-

лись инеем, в камерах было необычайно холодно и сыро, и бывало, что вода или чернила, оставленные на полу, замерзали.

Общие камеры, где мы были размещены, представляли очень убогий вид. Окна, заделанные толстыми железными решетками, почти упирались в стену, и поэтому в камерах всегда было сумеречно. Стены покосились, и кое-где штукатурка выпирала буграми.

В камерах стояли разнокалиберные деревянные кровати и деревянные козлы. В некоторые периоды, когда было особенно много народу, кровати стояли почти вплотную одна к другой. Для всяких приспособлений нами использовались ящики от посылок. Такие ящики, с самодельными полками внутри, стояли у каждой кровати и заменяли собою столики. Из таких же ящиков были устроены над кроватями полки для книг и полки для посуды. И только в одной камере для посуды стоял старый убогий шкаф. Посредине камер стояли большие деревянные столы, покрытые клеенками, с длинными скамейками вдоль столов. Небольшой столик для самовара и парашка возле дверей дополняли нашу обстановку. Освещались камеры несколькими семилинейными и десятилинейными керосиновыми лампочками, дававшими очень мало света для таких больших камер.

Наша коммуна и питание.

Жили мы в буквальном смысле этого слова коммуной. Все получаемые деньги, посылки и книги становились общей собственностью и шли в общее пользование.

Деньги получали сравнительно немногие. Главным подспорьем были ежемесячные получки Сани Измайлович и Маруси Беневской по 50 р., а также получка Зины Бронштейн и еще двухтрех по 25 р. в месяц. Большинство же получало нерегулярно, от случая к случаю, самыми разнообразными, подчас очень мелкими суммами. Все получаемые с почты деньги вручались нашему экономическому старосте. Деньги выдавал начальник тюрьмы, причем на почте довольствовались его расписками. Возможно, что такого рода получение денег без наших расписок сопровождалось некоторого рода злоупотреблениями.

Питались мы большей частью скверно, потому что—главное наше питание—казенная пища была по-настоящему несвежей, невкусной и несытной.

Официальная раскладка для приготовления пищи в тюрьмах Нерчинской каторги на одного человека (не работающего) в сутки показывала: хлеба—$2\frac{1}{4}$ ф., мяса—32 зол., крупы гречневой—

18 золотников, картофеля—24 зол., соли—8 зол., сала топленого—2¼ зол., луку репчатого—3 зол., чаю—1 зол., перцу—½ зол. на 10 человек, лаврового листу—¼ зол. на 10 человек, капусты—24 зол. Фактически же, кроме ржаного хлеба, казенная порция к обеду сводилась к щам из гнилой капусты с микроскопическим кусочком супного мяса, большей частью с душком. На ужин была гречневая кашица, скорее похожая на густой суп, а в холодном виде на кисель. Только по большим праздникам кашица заменялась пшенной кашей.

Баланда и каша изо дня в день сделались каким-то символом тюремной жизни, и вечницы нам рисовались всегда едящими баланду и кашу.

В постные дни, т.-е. в среду и пятницу, нам полагались на обед или гороховый суп или постная рыбная баланда из кеты, в которой плавали какие-то рыбные кости и жабры.

Кашицу мы все ели большей частью со смехом, побалтывая ложками, и кое-как насыщались ею, если до нее не было ничего своего. Пригоревшая кашица почему-то напоминала Марусе Беневской рисовую кашу на молоке и уплеталась ею с большим аппетитом.

Кухня была в руках уголовных, и, чтобы получить из общего тюремного котла суп, а не одну воду, нам приходилось итти на хитрости и посылать за ним на кухню вместе с дежурной еще кого-нибудь умеющего брать. В противном случае на наш стол попадала баланда со дна, а «сливки» шли уголовным.

Выдаваемый нам черный хлеб, несмотря на постоянный голод, мы ели очень мало, и большая часть этого хлеба шла уголовным. Мы его выносили на коридор, и уголовные его систематически разбирали. Но когда мы узнали, что уголовные этого хлеба не едят, а меняют его на что другое, мы начали его использовывать иначе.

Начальник тюрьмы предложил нам взамен ненужного черного хлеба выдавать в несколько раз уменьшенную порцию белой муки, которую мы отдавали печь за ограду тюрьмы крестьянам. Таким образом мы имели большое подспорье в виде 3-4 фунтов белого хлеба на человека в неделю.

К казенному питанию мы покупали на получаемые деньги приварок. На добавочное питание нам полагалось тратить по 4 р. 20 к. в месяц на человека. Выписка производилась нами один раз в две недели. Выписывали чай, сахар, картошку, иногда кету, изредка рис, яйца.

Однако, благодаря тому, что часть наших денег уходила на разного рода расходы, нам часто не хватало денег для израсходования полагавшейся нам нормы на питание в 4 р. 20 к. Деньги

уходили на покупку мыла, письменных принадлежностей, зубного порошка, тазов для умывания, на экстренные телеграммы, снаряжение малосрочных на волю, выписки для уголовных и т. д. Был даже случай, когда из общих денег была выдана значительная сумма одной из краткосрочных каторжанок для побега с поселения.

В разные периоды питание наше то улучшалось, то ухудшалось, в зависимости от количества получаемых денег и наличия сидевших в тюрьме. Большей частью жилось все-таки голодновато, и помнится долгий период,—что-то около года,—когда для нас самым большим лакомством была картошка.

Всеми денежными делами и закупкой продуктов ведал экономический староста. Экономическими старостами перебывало у нас несколько человек: Ольга Полляк, Рива Фиалка и Маруся Беневская, Елизавета Павловна Зверева и Надя Терентьева. Очень долго старостой была Елизавета Павловна Зверева, всегда серьезная, никогда не поддающаяся соблазнам момента и рассчитывающая надолго вперед. Благодаря этому мы могли более или менее равномерно прикупать приварок. Но от Ольги Полляк Елизавета Павловна получила портфель с большими долгами, и, чтобы восстановить равновесие, ей приходилось беспощадно урезывать выписку.

И вот однажды, помнится, сильное желание какого-либо разнообразия в пище и сытости в желудке привело к министерскому кризису. Нам показалось, что другой староста внесет какую-то новую струю в наше питание. Заменить Елизавету Павловну взялись Зина Бронштейн и Рива Фиалка. Дело было летом, и, к великому нашему удовольствию, мы в течение недели или двух получали зеленые огурцы, ягоды и другие вкусные вещи. Все шло хорошо, но через месяц выяснилось, что, благодаря экспансивности наших старост, в нашем бюджете опять произошел прорыв, и мы на некоторое время будем лишены необходимых продуктов. Так закончилось хозяйничанье Зины и Ривы, и Елизавета Павловна снова вступила в свои права, заглаживая дыру, получившуюся в результате политики момента.

Все выписываемые продукты—сахар, мыло, марки, табак и тому подобное—вначале совсем не делились по порциям, а расходовались по потребностям. Но, по мере увеличения нашего коллектива и урезки выписки, введены были порции на все предметы и даже на белый хлеб. Табак стали выписывать только для давно курящих.

Жизнь коммуной в Мальцевской тюрьме продолжалась до самого конца, хотя, помнится, были некоторые настроения от'еди-

ниться от коммуны, «индивидуализироваться». Такая попытка была сделана Зиной Бронштейн, которая и жила некоторый период на своем пайке, на что ей выдавалось 7 рублей в месяц. Остальные получаемые ею деньги шли в общее пользование. Такие же настроения были и у Поли Шакерман, но, насколько помнится, она из коммуны не выходила.

Большим подспорьем для нас было получение посылок с воли, большей частью приходивших к праздникам или к каким-нибудь семейным торжествам, в роде рожденья. Посылки были для нас особенно ценными не только потому, что на воле о нас заботились, но и потому, что они разнообразили наше питание. В посылках иногда получались продукты, которых мы никогда не имели возможности выписать, а также сладкое.

Содержимое посылок, за исключением носильных вещей, делилось поровну, если даже и приходилось делить на очень мелкие части. Бывали особенно трудные посылки, когда приходилось делить конфетку на 3 части. Но у нас были такие виртуозы-делители, которые на этом деле набили себе необычайный глазомер и делили до крайности точно. Иногда эта виртуозность доходила до того, что монпансье даже делилось по цвету.

Вспоминается один очень комический и показательный случай с посылкой. Однажды Маруся Беневская получила из Италии от своих родных прекрасный торт. Хотя каждому из нас достался микроскопический кусочек, но мы были довольны, так как этот кусочек торта показался нам очень сытным и, по мнению большинства, к счастью, «лег камнем в желудке». Через некоторое время Беневская получила длинный рецепт о том, как и сколько времени надо печь торт. Оказалось, что торт «лег камнем» потому, что мы по незнанию с'ели его сырым.

Больные и медицинская помощь.

К пайку, полагавшемуся для каждого из нас, для больных прибавлялись от казны фунт белого хлеба и кружка молока. Но такими больными, которым нужно усиленное питание, тюремная администрация считала немногих. Вообще с больными мало считались, и в Мальцевской тюрьме, где было сконцентрировано до 160 человек, политических и уголовных,—даже не было своего врача. В особо серьезных случаях больных увозили в зерентуйскую больницу, но таких случаев было крайне мало. Иногда, при серьезных заболеваниях, вызывался зерентуйский врач Рогалев, с которым политические были в прекрасных отношениях и через

которого шла переписка с Зерентуем. Однако регулярной медицинской помощи Мальцевская тюрьма все-таки не имела, и большей частью мы обходились советами и лечением Маруси Беневской, хотя она была только со 2-го или 3-го курса медицинских курсов.

Помнится, Аустра Тиавайс перенесла воспаление легких в общей холодной камере, и к ней, кажется, ни разу не был вызван врач. Вспоминается также случай, когда целая камера болела инфлуэнцой абсолютно без какой-либо медицинской помощи.

В течение долгого периода нас лечил ротный фельдшер Василий Никифорович, но, по правде сказать, от этого был только вред. Так, Сане Измайлович при выдергивании зуба он вырвал часть десны, Лиду Орестову он чуть не залечил от ревматизма салицилкой, давая ей такие дозы, что она впадала в обморочное состояние.

Были у нас и хронические больные. Ольга Полляк в очень сильной степени страдала астмой. У нее под рукой постоянно была кислородная подушка. За эту-то подушку Ольга Полляк, не выговаривавшая буквы «ш», была прозвана нами «подуской». Астмой болела и Надя Деркач. Катя Эрделевская страдала эпилептическими припадками, Поля Шакерман какими-то странными припадками, при которых она впадала в забытье, падала и билась. Вначале мы очень пугались всех этих припадков, но потом привыкли и научились справляться своими средствами. Почему-то часто бывало, что все наши хроники заболевали сразу. Билась Катя Эрделевская и Полечка, задыхалась Надя Деркач и Ольга Полляк. Происходило это, вероятно, потому, что припадки вызывались какой-нибудь общей причиной, общим волнением.

Помнится, однажды такие припадки были вызваны по следующему поводу.

Зина Бронштейн и Вера Штольтерфот спрятали книгу Достоевского «Записки из подполья». Они считали, что не всякий поймет ее по-настоящему, поэтому не всякий достоин ее прочесть. С одной стороны, это было ребячеством, а с другой—это был тот абсолютный подход к вещам, который царил тогда в Мальцевской. Книгу нашли спрятанной у Зины чуть ли не через полгода после ее исчезновения. И Зина и Вера мужественно признались в своих намерениях. Волнениям, прениям, обсуждениям не было конца. В этот же вечер мы были свидетелями целого ряда припадков.

Очень серьезной больной была Маруся Спиридонова. Время от времени она впадала в бредовое состояние и целыми сутками лежала в забытье без сознания.

В смысле заболевания был у нас в Мальцевской один поистине трагический случай. Одна из мальцевитянок, Фаня Ройтблат, еще до своего ареста была ранена в голову осколками взорвавшейся бомбы. Так как прошло около двух лет после взрыва и рана зажила, то никто из нас, да и она сама никогда не думали о каких-либо осложнениях от ранения. Мы привыкли видеть ее всегда здоровой, веселой и жизнерадостной.

Вдруг, однажды вечером, кажется летом 1909 года, в тюрьме поднялась тревога: с Фаней неожиданно случился странный припадок— она перестала видеть. Глядела широко раскрытыми глазами и ничего не видела вокруг себя. Маруся Беневская пересмотрела все медицинские книги, какие только были в тюрьме, предположила причину слепоты в повреждении зрительного нерва при ранении, но непосредственной помощи оказать не могла. Через день или два припадок слепоты кончился, Фаня опять увидела свет, но мы поняли, что дело может принять печальный оборот. И, действительно, через очень короткое время она совсем потеряла зрение. У нее попрежнему оставались прекрасные серые лучистые глаза, такие ясные и чистые, что по внешнему виду трудно было определить, что она слепая.

В течение долгого периода Фаня надеялась, что слепота пройдет, что все это временно, и ни за что не хотела приспособиться к своему новому положению. Она перестала совсем выходить на прогулку, молча сидела или лежала на кровати в своей одиночке в околотке и, уйдя в себя, углубленно думала о том ужасном, что над ней стряслось. Слепота так ее потрясла, что она хотела лишить себя жизни. Пока особо острый период не миновал, мы ни на минуту не оставляли ее одну.

Когда прошел месяц-другой и ничего не изменилось, она постепенно начала приспособляться к своему новому положению. Стала учиться читать по азбуке слепых без посторонней помощи и приучилась обслуживать себя. Так странно было видеть, как она, выйдя на прогулку, быстро ощупывала лица новеньких, которых она не знала зрячей. Веселье и жизнерадостность к ней не вернулись в прежней мере; она теперь больше ушла в себя.

Неоднократно к ней вызывались тюремные врачи, но их мнение долго сходилось на одном, что она симулирует слепоту.

Так она прожила в течение многих лет слепой, и только в 1913 году она была переведена в Читу для лечения. Оказалось, что ее слепота все-таки поддается лечению. Зрение ее не стало, конечно, вполне нормальным, но во всяком случае это уже не был тот полный мрак, в котором она жила столько лет.

Распределение дня.

Наш тюремный день начинался часов в восемь утра. Проверяли нас утром в шесть часов, в то время как мы спали. Надзиратель входил в камеру и считал издали количество тел на кроватях. Мы так к этому привыкли, что шум отпираемой двери не будил нас, и мы продолжали спать. Если бы вместо кого-либо из нас положили чучело, то утренняя поверка не могла бы этого выяснить.

Обслуживала каждую камеру своя дежурная, при чем дежурили по очереди. От дежурства освобождались только больные и слабые, к числу которых принадлежали Письменова, Езерская, Маруся Беневская, Окушко и др.

На обязанности дежурных было—встать раньше других, убрать камеру, вынести парашу, разделить белый хлеб и поставить самовар. В тюрьме было два больших самовара; один «Борис», названный по имени Моисеенко, другой «дядя», присланный дядей Нади Терентьевой. Кроме того, было несколько сибирских «бродяжек», напоминающих собой приплюснутый жестяной чайник, с ручкой и двумя отделениями—для воды и углей. Разжигается «бродяжка» так же, как самовар. Пользуются им обычно во время этапа в виду его портативности и большого удобства.

Утренний чай пили по своим камерам. После чая дежурная мыла чайную посуду, и в камере водворялась тишина. Конституция, то-есть часы молчания, по взаимному соглашению устанавливалась в камерах в утренние часы до обеда и в вечерние после того, как камеры запирались.

В первое время камеры в Мальцевской были открыты целый день, и благодаря этому прогулка не была ограниченной. Летом даже почти все время до вечерней поверки проводили на дворе. Однако постепенно эти льготы отменялись. В течение длительного периода, наиболее характерного для Мальцевской, 1908—1910 гг., мы гуляли в определенные часы два раза в день по 2 часа, перед обедом и перед ужином. В остальное время дверь, отделявшая нас от коридора уголовных, запиралась, и мы проводили большую часть нашего времени в камерах или в коридоре, куда выходили наши общие камеры.

Обед и ужин был у нас по звонку. Обедали мы в час дня, при чем обед представлял собой очень интересную картину. Дежурные приносили обед, и все сходились в одну камеру. Ели, большей частью, стоя, наспех, так как не хватало сидячих мест. Позже этот порядок изменился, и обед стали разносить по камерам. Посуды также не хватало, и мы обыкновенно об'единялись подвое для еды супа. Об'единение происходило не по дружбе, а по

любви к соли. Были пары «соленые», любившие здорово посолить суп, и «несоленые», об'единявшиеся на почве нелюбви к соли. И это вошло в такую привычку, что, когда прибавилось посуды, еще долго оставались «соленые» и «несоленые» пары.

После обеда дежурные мыли посуду, подметали камеры и освобождались до ужина. Ужинали мы зимой в 6 часов, а летом в 7, так как летом камеры закрывались на час позже. После ужина в наш коридор, где в углу висела большая икона Николая чудотворца, приходили уголовные и пели молитвы. Для уголовных это было обязательным. Пропев свои молитвы, они расходились по своим камерам, а мы высыпали в коридор и устраивали здесь прогулку.

Было очень людно, шумно и оживленно в эти последние минуты, и особенно летом нам хотелось отдалить время закрытия камер.

После поверки, производившейся по камерам, нас запирали, и вечерний чай мы пили уже в запертых камерах. Мытьем чайной посуды кончался день дежурной.

Наша учеба.

Главным содержанием нашей жизни были занятия. Занимались в Мальцевской самыми разнообразными предметами, от первоначальной грамоты до сложных философских проблем.

По своему образовательному цензу на Нерчинской женской каторге мы имели 24 человека малограмотных и с низшим образованием. Малограмотных обучали русскому языку, географии, арифметике и т. д., и некоторые из них ушли с каторги с знаниями в размере средней школы. Однако для этого потребовалась серьезная и интенсивная учеба в течение ряда лет. Занятия были групповые и индивидуальные. И так как большая часть из нас была с средним и незаконченным высшим образованием (43 человека—т.-е. 64%), то иногда на каждую из малограмотных приходилось по нескольку учительниц.

Особенно вспоминается, как, в буквальном смысле слова, накачивали, точно накануне экзамена, Фрейду Новик, первую уходившую на волю. С одной стороны, Фрейда ждала волю, считала месяцы, дни и часы, а с другой—торопилась и спешила впитать в себя возможно больше знаний. Последнее было так остро и сильно, что Фрейда, которая была очень малокровна и от истощения часто падала в обморок, едва прийдя в себя после обморока, тотчас же снова начинала учить географию, русский, арифметику со своими бесчисленными учительницами.

Интересные кружковые занятия вели Маруся Беневская по естествознанию, Надя Терентьева по истории и Саня Измайлович по литературе.

Слушательницы Сани (Лида Орестова, Маруся Крупко, Сарра Новицкая и Катя Эрделевская) изучали с ней историю литературы по Иванову-Разумнику, вели беседы о Чернышевском и Герцене и были очень довольны этими занятиями, считая, что Саня умеет как-то особенно разбудить мысль, остановиться на интересных моментах.

Более подготовленные из нас и получившие на воле среднее и отчасти высшее образование также спешили приобрести фундамент в различных областях знаний, изучить языки и т. д.

Из языков больше всего занимались французским, меньше—немецким и английским. На французском языке в нашей библиотеке было много книг, особенно новой беллетристики. Французские книги получались нами даже из-за границы от родных Маруси Беневской. Так, были получены многочисленные тома Ромена Роллана «Жан Кристоф». Занимались языками по-двое, по-трое, более сильные—самостоятельно, без учительницы, менее сильные—с учительницами. Наиболее авторитетными учительницами французского языка у нас считались Ира Каховская, Вера Штольтерфот и Лидия Павловна Езерская, при чем у последней была особая система занятий. Если ее ученица плохо знала урок, она заставляла ее по словарю зубрить очень большое количество слов, начиная с буквы «а».

Многие из нас занимались математикой, занимались с большим увлечением. Можно даже сказать, что в этой области было несколько фанатиков, которые постоянно решали задачи, мучительно думая, когда бывала какая-нибудь заминка. Помнится, по алгебре мы не могли решить каких-то задач. Целыми днями мысль билась вокруг них, и напряжение было настолько сильно, что кем-то из нас задачи были решены во сне.

На ряду с другими занятиями, очень большое место уделялось философии. Философией занималось в Мальцевке с большим увлечением довольно значительное количество лиц в одиночку, вдвоем и в кружке под руководством Зины Бронштейн.

Занятия по философии и психологии вызывали как-то особенно много споров и страстности. Целый ряд отдельных философских проблем тщательно прорабатывался в тюрьме. Так, помнится, коллективно был проработан вопрос о суб'ективном начале в древней философии.

Менее подготовленные начинали обычно чтение с Челпанова «Мозг и душа» и постепенно переходили к Виндельбанду «Исто-

рия древней философии». Читали Гефдинга «Введение в психологию», Геккеля «Мировые загадки» и пр. Некоторые из более подготовленных, кажется, целиком одолели десять томов Куно Фишера «История новой философии». Помнится, как Фаня Радзиловская и Вера Горовиц горевали, что, выйдя в вольную команду, они застряли на монадах Лейбница и не смогут дальше заниматься за неимением книг.

С приездом Иры Каховской, которая привезла Маха «Анализ ощущений», Авенариуса и Богданова, последние были прочитаны и проштудированы многими из нас.

Занимались в Мальцевской и экономическими науками, хотя меньше, чем философией. Вдвоем и группами в 3—4 человека прорабатывали политическую экономию, отдельные товарищи читали и фундаментальные книги по экономическим вопросам и штудировали Маркса.

Были еще у нас занятия практического характера. Сарра Наумовна Данциг вела кружок по массажу. Эти занятия были настолько успешны, что одной из ее учениц, Любе Орловой, удалось позже в Якутске жить на заработок от массажа.

В помощь к нашим занятиям мы имели прекрасную библиотеку из 700—800 экземпляров. Основанием этой библиотеки послужила часть книг, которую привезла в Мальцевку шестерка из Акатуя. Постепенно эта библиотека пополнялась присылаемыми с воли книгами, при чем особенно много книг получала Маруся Беневская.

В библиотеке нашей было неисчерпаемое богатство по различным разделам: философии, истории, социологии, истории культуры, экономическим наукам, беллетристике и т. д. Новейшая беллетристика получалась нами в сборниках «Альманахи» и «Знание». Особенно волновавшие тюрьму новинки иногда прочитывались коллективно вслух. Так были прочитаны «Мои записки» и «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева.

Иногда в тюрьме было повальное увлечение какой-нибудь беллетристикой. Помнится период, когда почему-то в очень большом ходу были приключенческие рассказы Дюма «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «10 лет спустя» и т. д. На эти книги была большая очередь, их глотали с жадностью и зачитывали до дыр, перенося в другую жизнь, такую непохожую на нашу тюремную. Вскоре это увлечение ушло так же внезапно, как и пришло.

Самым излюбленным местом для наших занятий был коридор. В коридоре всегда казалось светло и уютно, так как большие окна, выходившие во двор, давали много света. Вспоминается целый ряд маленьких скамеечек, густо усеянных по коридору, при-

жавшиеся кучки людей,—и кипит горячая учеба с самого утра, учеба группами, вдвоем, в одиночку. Можно только удивляться, как 20—25 человек умещались на этом небольшом пространстве и как они могли заниматься с таким увлечением и продуктивностью, при том гаме, шуме и разноязычии, которые стояли в коридоре.

Наиболее серьезными предметами, требующими углубленного и сосредоточенного внимания, занимались все-таки в камерах, где устанавливалась конституция, т. е. часы молчания, днем до обеда и вечером.

Эти занятия после вечерней поверки, когда камеры закрывались, были самыми интенсивными и углубленными. Но в этом отношении каждая из камер носила свой отпечаток. Особенно это относится к периоду 1908—1909 гг.

Пятая камера, где обычно сидело больше всего народу, была самая работящая. Почти сразу после поверки все садились вокруг большого стола и углубленно занимались при полной тишине до 11—12 часов ночи. Перерыв делали на очень короткий срок, чтобы согреться чаем, и опять садились за учебу. Очень засидевшиеся под'едали кашицу, оставшуюся от ужина. Тишину соблюдали очень аккуратно, и те, кому хотелось поделиться мыслями со своей соседкой или приятельницей, делали это путем переписки.

В шестой камере, наоборот, очень долго после поверки не могли угомониться. Для этого было много причин. Здесь жили Мария Васильевна Окушко и Татьяна Семеновна Письменова, которые были гораздо старше нас и которые не занимались.

Мария Васильевна, очень общительная, живая, не любившая никаких правил и не соблюдавшая их, не признавала конституции. Она была до того органична в своей любви к свободе, до того ей тягостно было в неволе, что она очень долго с протестом и буйством принимала запертую камеру.

Это было еще до Мальцевской, в Доме предварительного заключения в Петербурге, где из протеста против запертой камеры, в которой она чувствовала себя, как в клетке, она несколько суток непрерывно днем и ночью колотила в дверь чем попало. Вся тюрьма была в напряжении, а Мария Васильевна, кажется, на четвертые сутки была связана надзирателями и уведена в карцер, при чем во время ее сопротивления ей выбили зуб.

Из Литовского замка, куда ее перевели после Предварилки, Мария Васильевна пыталась бежать. Предполагалось, что она и еще одна вылезут на крышу, откуда по простыне спустятся вниз в переулок, куда выходил Литовский замок. На воле взялись помочь им в этом побеге. Как-раз это совпало с периодом свет-

лых лунных ночей, но Мария Васильевна не обратила на это внимания.

Ее спутница, выйдя на крышу и увидев, что в такую светлую ночь им не удастся бежать, ушла обратно в камеру, а Мария Васильевна, в своей жажде свободы, полезла на рожон. Она уже стала спускаться по простыне вниз, но была замечена внизу часовыми; торопясь все-таки спуститься, она нечаянно сорвалась с простыни и полетела вниз. К счастью, было не очень высоко, и она получила не очень серьезные повреждения. Постепенно Мария Васильевна несколько угомонилась, и в Мальцевской тюрьме вспышки и конфликты с начальством у нее бывали уже редко.

У Марии Васильевны было острое перо, и она писала целый ряд остроумных и ярких писем, которые она называла «письмами к тетеньке». В этих письмах высмеивалось увлечение философией и наша бесполовенность, преследовались идеи аскетизма, восхвалялось вполне законное желание еды, здоровая любовь к жизни и т. п.

Помнится, в одном из писем очень остроумно была высмеяна чрезмерная учеба. В письме изображалась смерть Стефы Роткопф, у которой, от чрезмерных занятий, при вскрытии были обнаружены перья, бумага и непрожеванные учебники.

К сожалению, тетрадь с «письмами к тетеньке» погибла. Она была переслана Марии Васильевне из тюрьмы на поселение по почте, но не дошла до нее. Очевидно, она застряла у начальника тюрьмы.

Эти «письма к тетеньке» обычно прочитывались после поверки, вызывая громкий смех и шум.

Татьяна Семеновна, тихая, уютная женщина, вносила совсем иное в четвертую камеру. После того как камера закрывалась и мы усаживались за чай, Татьяна Семеновна вытаскивала откуда-то запеченную картошку или поджаренный хлеб, что вызывало большое оживление и даже восторг в камере. Как ей удавалось делать эти сюрпризы, мы никогда не знали, но принимали еду с удовольствием.

Помимо всего, в шестой камере жила Марийка Бородюкова, которой тоже было очень трудно втиснуться в какие-либо рамки тишины и конституции. У Марийки всегда были очень занимательные истории из ее жизни, которыми ей хотелось поделиться с нами. Эти истории менялись и каждый раз рассказывались иначе, но всегда в них был основной стержень. Марийка, служившая одно время на воле прислугой, являлась тиранкой своей барыни, которую она била и заставляла делать по-своему.

Все это вместе отвлекало камеру от занятий, проходило добрых 1½—2 часа пока камера успокаивалась, и те, которые стремились к учебе и боялись потерять время,—садились за занятия и сидели за ними до поздней ночи.

Занятия в тюрьме носят совсем особый характер. Может-быть потому, что не отвлекает внешняя жизнь, что настоящая жизнь далеко и не так задевает, мысль работает особенно остро, давая неиз'яснимую радость. Пожалуй, из всех радостей в тюрьме—возможность углубленно мыслить и заниматься больше всего захватывала и волновала. Вспоминается, как сидишь вечером, кругом необычайная, какая-то отчетливая тишина, читаешь что-нибудь очень сложное и трудное, подчас крайне отвлеченное, и чувствуешь, физически ощущаешь острый процесс и радость мысли. Такое углубление в науку, такую радость занятий трудно, конечно, представить на воле, где сама жизнь требует огромного напряжения и отнимает и физические и психические силы.

Настроения в Мальцевской.

Большинство из нас были еще очень молодыми. 18 человек, то-есть 27%, попались в тюрьму несовершеннолетними—до 21 года, 37 человек, т.-е. 55%, были в возрасте от 21 года до 30 лет, и только 12 человек были старше 30 лет.

В силу этого революционный стаж до ареста у большинства из нас был очень незначительным, и почти 70% из нас работали в революции 1, 2, 3 года и попали в революционную волну 1904-5-6 годов. Правда, часть из нас имела значительный революционный стаж в 7, 9 и даже 16 лет революционной деятельности и начинала свою революционную деятельность в 90-х годах, но таких было сравнительно мало.

Может быть благодаря нашей молодости и малому революционному стажу,—в нас не было еще крепкой революционной закалки. На воле как-раз был период большой упадочности, аполитичности, распада партий, появления всевозможных группировок, богоискательства. Все эти настроения с воли просачивались к нам и воспринимались.

Оторванные за сотни верст от живой жизни, отрезанные от мира, в коллективе нескольких десятков человек, мы теряли почву прошлого, жадно переоценивали все ценности, ища новой почвы, новых устоев. А в тюрьме ведь желание дойти до корня вещей всегда бывает очень острым, и Мальцевка в этом отношении доходила до крайностей.

Каждый человек своей индивидуальностью вносил что-либо в тюремную жизнь, поднимал, муссировал вопросы, которые долго переживались и обсуждались потом в тюрьме.

Вопросы ставились остро и обнаженно. Доходили до крайности в вопросах недопустимости и отрицания насилия во имя каких бы то ни было целей, была тенденция даже отрицания необходимости революции и возможности дойти до общества будущего путем самосовершенствования человека. Было и богоискательство, искание какой-то божественной силы, которая движет мир. Вопросы материи и духа, суб'екта и об'екта, свободы воли, самодовлеющей ценности человека, коллектива и индивидуальности, роли личности в истории и тысячи других вопросов волновали до страстности, так что часами длились споры на эти темы. Случалось даже, что мы могли шептаться всю ночь, решая вопросы монизма и дуализма. При всем этом у нас очень усиленно развивалась критика всего и всех, и все измерялось с абсолютной точки зрения.

Особенно яркие настроения мистицизма, богоискательства и непротивленчества привезла с собой Маруся Беневская.

В Марусе было очень много привлекательного. Никогда ни в чем никому не отказать, дать другому книгу, которую хочется самой прочесть, постоянно отдавать себя другим—это было девизом Маруси, и выходило это у нее легко и радостно, так что от нее все легко принималось.

У Маруси не было одной кисти руки, двух пальцев на другой руке, и остальные три пальца были изуродованы. Потеряла она руку при взрыве бомбы у себя на квартире. Многие из нас по приезде в Мальцевскую очень долго не замечали ее инвалидности, потому, что она не была беспомощной, много работала, стараясь все делать сама, и потому, что инвалидность не убила ее жизнерадостности.

Очень привлекательная в общежитии, красивая, с лучистыми синими глазами, белокурыми кудрями, звонким жизнерадостным смехом, она привлекала многих своей личностью, и незаметно некоторые подпадали под влияние ее мировоззрения, тем более, что идеи, которые она воплощала, просачивались тогда с воли. Что ценнее—пассивное созерцание жизни, приятие жизни или активное участие в ней и борьба, непротивление злу или путь революции, рационализм явлений или иррационализм и т. д.—такие мысли на некоторый период завладевали некоторыми из нас для того, чтобы, переварившись, потом быть отброшенными.

Вообще хочется сказать, что вся эта переоценка ценностей, такая типичная для тюремной жизни, не была упадочничеством, а

являлась болезнью роста. Она не убила в мальцевитянках революционности и общественности, а помогла очень углубленной проработке целого ряда вопросов.

Может-быть потому, что мы так хорошо знали и чувствовали процессы, происходившие друг в друге, у нас создавалось острое ощущение близости, ощущение, которое на воле ослабляется и рассеивается расстоянием, занятостью и тысячью всяких мелочей.

И хотя многим из нас казалось, что мы надоели друг другу и хорошо бы вырваться из коллектива, на самом деле наш коллектив был чрезвычайно тесно спаян.

Такое особое ощущение близости и спайки коллектива создавало целый ряд странных явлений, абсолютно невозможных на воле. Так, например, практиковалось коллективное чтение вслух писем, получаемых с воли, писем, имеющих не только общий интерес, но и писем личных, интимных. Такое было впечатление, что у нас у всех — общие знакомые, друзья, близкие и родные. Мы с интересом следили за жизнью на воле этих общих друзей и родных и кровно были заинтересованы в судьбе каждого из них.

Очень характерными в смысле близости каждого из нас со всем коллективом были письма одной из наших с поселения. Уехавшая была в Мальцевской с одними более близка, с другими—менее, но, выйдя на поселение и переживая чрезвычайно интересный и острый период внутреннего разлада, она писала письма, обращенные ко всем мальцевитянкам. В этих искренних письмах она выворачивала наизнанку такие свои сокровенные переживания, о которых человек не всегда признается самому себе.

И долго еще по выходе из Мальцевской тюрьмы у всех нас было ощущение, что самые близкие люди на свете—это мальцевитянки. И гораздо позже это ощущение цельного, очень близкого коллектива распалось.

Самообслуживание.

В Мальцевской тюрьме оставалось много свободного времени для занятий и для личного общения между собой, потому что на физическую работу у нас уходило сравнительно немного времени и энергии. Мы занимались только самообслуживанием, и, кроме дежурств, на нашей обязанности была топка печей, мойка полов, побелка камер и стирка белья. Все три камеры отапливались со стороны коридора двумя большими кафельными печами, мало достигавшими цели и плохо согревавшими камеры. Обычная порция в 6—7 поленьев приносилась нам уголовными, а печи растапли-

вались дежурными. В четвертой камере, наиболее холодной, была еще железная печурка, для которой мы сами кололи дрова.

Воду нам привозили в бочке из соседней речки на двух бычках, буром и сером. Из большой бочки вода разносилась по камерам, где хранилась в кадках. Вначале это делали уголовные, и гораздо позже эта работа перешла к нам.

Полы мыли по очереди один раз в неделю в камерах и в коридоре. Мыли вдвоем, при чем обычно бывали твердо установившиеся пары. Вспоминается, как Ира Каховская привезла из Новинской московской тюрьмы новый способ мойки полов, очень упростивший и облегчивший нам эту работу. При мытье обычно пол заливался большим количеством воды, и стоило большого труда потом собрать эту воду. Некоторым, особенно неопытным, давалось это с большим трудом. Способ Иры заключался в том, что на мокрый пол расстилалась очень большая тряпка, которая впитывала в себя воду и потом выжималась. Таким путем пол очень быстро осушался.

Вспоминается большая фигура Иры, большими широкими жестами моющая пол по своей системе, при чем выходило у нее это как-то очень сильно и ловко.

Вообще Ира больше других выполняла физическую работу. Это потому, что она не только никогда не отказывалась ни от какой работы, но старалась и работу других также взять на себя. Она носила воду в околоток, выносила ряжки и, не щадя себя, нагружала себя всякой черной работой. Это, однако, не мешало ей много заниматься самой и обучать других.

Белили за время существования Мальцевской тюрьмы всего один раз, но эта побелка дорого досталась многим из нас. Щеток для побелки было очень мало, а так как рвение было очень большое и всем хотелось белить, хотя бы и без щеток, то многие белили тряпками, прямо окуная последние в известь. Чтобы выходило белее, старались возможно чаще макать тряпку. Кончилось тем, что после побелки у большинства руки до того были раз'едены, что не только пришлось освободить их от физической работы, но и еще ухаживать за ними,—одевать, раздевать и чуть ли не кормить с ложечки.

Самым большим трудом была для нас стирка, назначавшаяся приблизительно раз в месяц. Так как мы носили свое белье, то обыкновенно его накапливалось очень много. Для тюрьмы это бывало целое событие. Больные, которых было немало, исключались из этой процедуры, и все белье стиралось сообща здоровыми. Стирали по-двое в ванночках, которые брали у уголовных. За эти ванночки шла настоящая борьба, старались встать возможно раньше,

чтобы успеть получить ванночку, или с вечера сговаривались с уголовными.

С утра топилась баня, где происходила стирка, но это не мешало, чтобы через большие щели зимой проникал в баню ветер и мороз и чтобы местами на полу были куски льда.

При стирке происходила специализация: были полотенщицы, простынщицы, наволочницы и т. д. Новеньким обычно попадались чулки, которые они стирали в тазу, не будучи еще искушены в добыче ванночки. У новеньких, конечно, всегда было желание возможно скорее перейти от чулок на высшую квалификацию.

Была еще одна специальность—это кипячение белья. Почему-то больше других вспоминается Дина Пигит, казавшаяся сказочной личностью, со своим орлиным носом, в ореоле густых кос, закрученных вокруг головы, стоящая над котлом в облаках пара и большой палкой переворачивающая белье.

В этот день, в день стирки, старались снять с себя все, что только возможно, чтобы возможно больше выстирать, и потому представляли собой очень живописную картину.

Полураздетые, тесно сгрудившиеся, окутанные клубами пара, старающиеся развить возможно большую производительность труда и вместе с тем необычайно оживленные, мы чувствовали себя героинями дня.

Товарищи, которые не стирали, старались ублажить нас в этот день. Специально выписывалось для этого дня или, если не было денег, оставлялось от посылок добавочное питание.

Стирка обычно продолжалась целый день. Высохшее белье большинством из нас каталось, и только самые старательные гладили белье.

В позднейшее время общие стирки были у нас отменены, и стирали каждый для себя или небольшими группами, обслуживая при этом и больных. Постепенно наше белье таяло, исчезало, терялось, но мы это принимали безболезненно, так как стирка зимой была очень тяжелым трудом.

В середине 1908 г. к нашим работам прибавилась еще одна—переплет книг. К этому времени многие из наших книг, превратившиеся от интенсивной читки буквально в тряпки, требовали ремонта или переплета. Нами был выписан переплетный станок, цветная бумага и картон, и двое-трое знавших переплетное дело очень скоро обучили ему некоторых из нас. Сначала многие кинулись на эту работу, но наиболее настойчивыми оказались Надя Терентьева и Лида Орестова, которые и закончили переплет всей библиотеки.

В конце 1909 и в начале 1910 года некоторые из нас увлеклись сапожным делом. Одна из уголовных, занимавшаяся этим, стала обучать нас, и вскоре мы стали подшивать валенки кожей.

Уголовные и их дети.

Рядом с нами в трех общих камерах, выходивших в соседний с нами коридор, жили уголовные. Они составляли совсем особый мир, и жизнь их была построена совершенно иначе, чем у нас.

Благодаря переполненности тюрьмы, в их камерах была большая скученность, доходившая до 35—40 человек в камере. Кроватей у них не было, и спали они на нарах. В то время как мы занимались только самообслуживанием, они целый день выполняли тюремные уроки, вязали варежки и шили рубахи на мужские тюрьмы, сучили пряжу на казну, выполняли работы за оградой тюрьмы, стряпали на всю тюрьму и т. д.

Главная масса уголовных женщин попадалась за убийство своих мужей и незаконнорожденных детей. Живет себе крестьянка в деревне, терпит побои и бесправность существования, несет тяготы жизни и вдруг в один прекрасный день, сама не зная, как это происходит, убивает топором своего мужа. Или родит девушка ребенка и, боясь вернуться с ним в дом, боясь общественного презрения, разделывается с ребенком.

Уголовные профессионалы, воры и убийцы, обыкновенно кичились своей профессией, держали себя обособленно, рассказывали всякие небылицы о своих похождениях и были заправилами среди массы уголовных. Но такие профессионалы насчитывались единицами. Главную же массу составляли простые крестьянские женщины, тянувшие в течение долгих годов лямку и осужденные на каторгу за то, что им невтерпеж стало продолжать такую жизнь. Но еще задолго до Мальцевской некоторые из этих женщин меняли свой облик. Дело в том, что каждой из них приходилось пройти очень большой искус в виде этапа, который коренным образом менял у многих из них психику.

По отношению к политическим женщинам создалась определенная традиция как со стороны уголовных, так и конвоя, и никаких попыток или поползновений по отношению к нам не практиковалось. Уголовные же женщины, которых по сравнению с мужчинами всегда было во много раз меньше, подвергались натиску с двух сторон—со стороны уголовных, шедших на каторгу, и конвойной команды, провожавшей этап. Мужчины уголовные считали своим неот'емлемым правом во время этапа, ведшего их на долгие годы тюремной жизни, сближаться с уголовными жен-

щинами. Сопротивление женщины считалось у них отсутствием товарищества, нарушением тюремной этики.

Конвоиры же чувствовали свою власть над женщиной и путем целого ряда притеснений и давления принуждали их к сожительству. Так, сопротивлявшуюся лишали во время долгого пешего пути подвод, что для женщины было крайне тяжело, так как переходы от одной этапки к другой равнялись 40—45 верстам и этап шел обыкновенно очень быстро. Был целый ряд мелочей, которыми конвойные осаждали уголовную женщину, и она, теснимая со всех сторон, сдавалась.

Таким образом женщина-крестьянка, жившая всю свою жизнь со своим мужем, попадала в тяжелую обстановку этапа, где ею пользовались и конвойные и уголовные, при чем обычно на этап в десятки человек бывало всего несколько женщин, и многие из этих женщин после этапа выходили совсем с другой психикой, чем жили всю свою прежнюю жизнь. Трудно было многим из них потом остановиться, и, будучи на каторге, многие из них шли по пути, начатому во время этапа.

Самым ужасным примером эти женщины становились для детей, которых было много в уголовной женской каторге. Эти дети рождались, как грибы, и матери зачастую не знали, кто их отцы. Приезжавший на каторгу начальник Главного тюремного управления никак не мог понять, каким образом у уголовных каторжанок, долго сидящих на каторге, имеется такая уйма маленьких детей.

Эти несчастные дети рано узнавали изнанку жизни. Не раз и не два мы заставали девочек и мальчиков за нашим главным корпусом, подражающих тому, что они видели и чему научились у взрослых. Восьмилетний Яша, живя с отцом и матерью в вольной команде, должен был часами стоять на стреме у дверей хаты, чтобы предупредить мать, принимавшую гостей, о приближении отца. Девятилетняя Васеночка, с голубыми ясными глазами, изменилась до неузнаваемости через 1½—2 года жизни в вольной команде с матерью, сводившей ее с солдатами. Сколько таких детей были втянуты в омут и изнанку тюремной жизни, сказать трудно,—во всяком случае их было не мало.

С уголовными женщинами у нас были довольно хорошие отношения. В самом начале мы даже не были обособлены от них и часть времени проводили с ними вместе. В течение короткого периода времени нам были даже официально разрешены занятия с уголовными. На коридор был вынесен большой стол, за которым собиралось очень много уголовных. Но эти занятия длились не-

долго, так как вскоре они были запрещены. Приходилось заниматься с уголовными уже урывками, тайком от администрации, и не с группами, а с одиночками. Постепенно, по мере того как дверь, отделяющая наш коридор от уголовных, стала запираться и наши прогулки большею частью стали устанавливаться в разное время, у нас стало меньше поводов для встреч и общения с уголовными.

В смысле материальном мы не имели возможности оказывать им большую помощь. Когда наши финансовые возможности улучшались, мы иногда делали для них выписку. Особенно это практиковалось в период, когда начальник нашей тюрьмы Павловский делал нашу выписку не в Нерчинском заводе у Коренева, а каким-то контрабандным путем у китайцев, доставляя нам продукты, особенно сахар, по очень дешевой цене.

Чаще всего мы обслуживали уголовных в смысле писания всякого рода заявлений и прошений. Сейчас трудно установить, куда и по какому поводу писались эти прошения, но их было бесчисленное количество. Писала их большею частью Маруся Беневская. К ней, главным образом, обращались уголовные с просьбой писать их, и Маруся никогда не отказывала им в этом. Писала она эти прошения ровным, размашистым и красивым почерком, несмотря на свою инвалидность.

С детьми уголовных возилась, главным образом, Саня Измайлович. Зачастую Саня выписывала для них с воли одежду, мыла и вычесывала им головы, занималась с ними гимнастикой, играла с ними в разные игры и обучала их. Вспоминается Саня с бритой головой, в каком-то голубом ситцевом халате или яркой желтой юбке, стоящая посреди двора, окруженная ребятами. Саня часто наказывала ребят за нарушение всевозможных правил. А правил было немало, и главное из них—это запрет ходить по грядкам посаженных цветов. Дети старались выполнить Санины правила, но иногда среди них попадались очень непокорные, и Сане было много возни с ними.

Однажды приехал к нам со своей матерью татарченок-горец Мухтарка, мальчик лет 6—7. Смуглый, с жгучими черными глазами, подвижной, гибкий, он сразу почему-то почувствовал себя в клетке и затосковал по воле. Глаза у него были печальные, он ходил по двору, часто простаивал около ворот, очевидно надеясь, что его выпустят за ворота. Отчаявшись в этом, он решил итти наперекор установленным для детей правилам. Каждое утро, встав раньше других, он выбегал на двор, безжалостно пробегал по оберегаемым Саней грядкам, оставляя на грядках следы своих маленьких быстрых ножек. Истоптав грядки, показав свою независи-

мость, переступив порог запретного, он успокаивался и печальный бродил по двору.

Даже странно было видеть такого маленького мальчика, тоскующего по независимости. Сколько ни читали ему нотаций, ни уговаривали его, он все-таки каждый раз старался проявить свою волю и сделать наперекор всем правилам.

Иногда этим детям, так мало видевшим радости, мы устраивали праздники. Так, однажды был устроен костюмированный детский бал. Костюмы были сделаны из тонкой цветной бумаги. Здесь было проявлено много вкуса, даже искусства, особенно со стороны Нади Терентьевой, Иры Каховской и Дины Пигит. Ира сделала для Макарки, чудесного мечтательного мальчика лет 4—5, костюм мухоморчика. Из бумаги были сделаны штанишки, блуза и шапочка, на которые были наклеены очень изящно нарисованные мухоморы. Надей Терентьевой был сделан костюм боярышни с кокошником для девочки лет 7—8.

Что нас иногда особенно сближало с уголовными и давало общее настроение,—это тюремные песни и пляски. Бывали такие дни, главным образом летом, когда перед ужином уголовные, сидя на крылечке, запоют заунывные тюремные песни. Мы, сгрудившись, слушаем их, и в это время и мы и они чувствуем себя ближе,—сближают общие мысли и острая тоска по воле.

И вдруг заунывная песня прерывается буйным мотивом излюбленного на каторге куплета: «две копейки, три копейки—пятачок», или «Володимир, Володимир удалой—через каторгу на задоргу домой», либо «Бриченька-молодешенька».

Сначала эти куплеты поются медленно, потом все быстрее и быстрее, так что слова летят, сливаются и обгоняют друг друга. При первых же звуках несколько женщин пускаются в пляс, танцуют русскую, тоже сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Танцуют некоторые из них артистически, с темпераментом, горячо. Особенно хорошо танцовала одна цыганка и Дубровина, главная стряпуха по кухне, осужденная по крупному воровскому делу. Веселье бывало буйное, дикое. Обычно танцы и песни прерывались ужином, после которого быстро наступала поверка, и камеры запирались. В такие летние вечера особенно тесно казалось в запертых камерах, не хотелось заниматься, тянуло на волю, за стены тюрьмы.

В такие вечера мы приставали к Насте Биценко, прося ее петь. Бывало, все сгрудимся у решеток окон, чтобы лучше было слышно Настю из всех камер, а Настя, стоя у окна, поет. Были у нас особенно любимые песни, это «Поле, поле чистое, отчего,

скажи, жать уж мне не хочется колосистой ржи?..» или из «Садко» «Есть на чистом море»...

Почему-то летом всегда тяжелее сидеть, всегда больше мыслей о воле, планов о побегах. И в такие вечера пение еще углубляло эту тоску.

Попытка к побегу из Мальцевки.

Мысли о побеге у многих бродили в Мальцевской, но, большей частью, это были платонические мысли. Для того, чтобы бежать из Мальцевки, нужна была организованная помощь и длительная подготовка с воли, так как выбраться из тюрьмы и добраться до железной дороги без посторонней помощи было почти невозможно.

Такой организованный побег готовился в течение продолжительного времени приезжавшим специально для этой цели Аркадием Сперанским, жившим в Нерчинском заводе по нелегальному паспорту в одной семье в качестве учителя.

Бежать должна была Маруся Спиридонова. К этому же побегу была притянута надзирательница Софья Павловна Добровольская, на имя которой должны были получаться деньги и все необходимое. Предполагалось, что дочка Софьи Павловны, Нина, будет мыться в тюремной бане, а Маруся, накинув ее шубку,—выйдет вместо нее. На воле ее должен был ждать Аркадий Сперанский с экипажем. Свою дочку Софья Павловна надеялась потом вывести незаметно из тюрьмы. Побег Маруси можно было скрыть в течение нескольких дней, так как Маруся часто хворала и во время ее болезни надзиратели ее не тревожили и не входили к ней в камеру. Но дело это не выгорело, так как в Зерентуе весной 1910 г. была вскрыта посылка, в которой пересылались деньги, револьвер и яд. Софья Павловна была тотчас же уволена. До сих пор не совсем ясна картина,—какую роль в этом провале играла сама Софья Павловна.

Из всех нерчинок удалось бежать с каторги только одной бессрочнице—Марусе Школьник из Иркутской тюрьмы, куда она была перевезена на излечение весной 1911 г. Остальные бессрочные и долгосрочные досидели до амнистии 1917 г. Краткосрочные же, отбыв каторгу, недолго засиживались на поселении и, в большинстве случаев, бежали.

Режим.

В смысле режима, установленного для каторжан, мы имели целый ряд поблажек и незаконных вольностей. Установилось это само собой, без особой договоренности.

Держали мы себя с начальством гордо и независимо, но никакой тюремной борьбы не вели, поскольку наше начальство не давало для этого поводов. Так, к нам ни разу не была применена унизительная команда «встать», никто никогда не обращался к нам на «ты», ни разу не были применены репрессии, карцера, нас не заставляли петь молитвы и т. д.

Новенькие, приезжавшие из России, где обычно в тюрьмах шла суровая борьба с администрацией, недоумевали, попав в мирную, тихую обстановку, без всякой борьбы. Многим вначале казалось, что они попали в золоченую клетку, где убивают мысль о борьбе.

Однако в соседней с нами Зерентуйской мужской каторжной тюрьме был также ряд вольностей, но когда до тюрьмы докатилась волна зажима и Высоцкий захотел сломить тюрьму и показать свою власть над политическими, зерентуйцы дали суровый отпор и пошли на все, вплоть до лишения себя жизни. Ясно, что если бы к нам была применена тактика Высоцкого, мы пошли бы по той же дороге борьбы, как и наши зерентуйские товарищи. Но этого не случилось, и сейчас очень трудно отыскать причины, почему нас в тюрьме более или менее щадило начальство.

Однако, допуская мелкие вольности, наше начальство все-таки было всегда настороже, начеку. Так, однажды, в связи с провалом нескольких серьезных писем, у нас, по распоряжению из Зерентуя, был очень тщательный обыск, рылись под карнизом пола, в уборной и т. д.

В смысле вольностей, в течение длительного периода мы имели многое. Как упоминалось уже, в течение дня у нас камеры в коридор не запирались, в самих камерах был далеко не казенный вид, и кровати покрывались своими одеялами. Наши бессрочницы не носили кандалов, как им полагалось, и кандалы валялись где-то, ожидая экстренного случая. Из казенной одежды нам полагались коты на ноги, суровые холщевые рубахи, серые суконные юбки, бушлаты и халаты из серого солдатского сукна. Мы пользовались, большей частью, только бушлатами и халатами, в которых мы выходили в холодные дни на прогулку. Белье, обувь и платье мы носили, большей частью, свое, и многие из нас ходили обычно в цветных платьях.

Но как только с Зерентуйской горы показывалась тройка лошадей с начальником каторги Забелло или с другим каким-нибудь приезжим начальством, в тюрьме поднималась тревога. Шло спешное переодевание, цветные вещи относились в цейхгауз, собственные одеяла покрывались сверху казенными одеялами солдатского типа, и надзирательница спешно бежала закрывать наши

камеры. Мы так привыкли прятать все незаконные «вольности», что не проходило и пяти минут, как все окрашивалось в серый казенный цвет и тюрьма принимала завинченный вид.

Связь с внешним миром.

Несмотря на вольности в тюрьме и занятия, которыми, главным образом, заполнялось наше время, наша жизнь была чрезвычайно бедна впечатлениями.

Ближайшими нашими соседями были администрация (начальник тюрьмы, надзиратели, надзирательницы) и уголовные. С администрацией мы имели мало соприкосновений, да и не хотели этого. Все дела от лица тюрьмы вел наш политический староста, которым большей частью была Настя Биценко. Все недоразумения и переговоры с начальством шли исключительно через старосту. С некоторыми надзирательницами у нас установилось большее знакомство благодаря тому, что мы с ними чаще сталкивались и в каждодневной жизни видели в них больше обывательниц, чем тюремщиц. Наиболее тесные отношения у нас установились с Александрой Михайловной Зеленской, которая иногда оказывала нам кое-какие услуги.

Кроме администрации и уголовных, в районе Мальцевской возле тюрьмы находилась конвойная команда, которая несла наружный караул, и небольшая деревушка, в которой жило до 100 крестьян. Но ни с крестьянами, ни с солдатами мы не имели никакой возможности встречаться.

Таким образом с внешним миром мы совершенно не сталкивались и жили в узком тесном кругу, благодаря чему каждое маленькое происшествие и событие приобретало для нас большее значение, чем оно имело в действительности. Посмотреть в глазок больших деревянных ворот, что было строго воспрещено, выйти за эти ворота в будку возле самой тюрьмы за посылкой, получить сюрприз от своих товарищей к какому-нибудь юбилейному дню—все это являлось почти событием в нашей жизни.

Жить кому-либо постороннему в районе Мальцевской запрещалось. Разрешение на свидание приходилось брать через генерал-губернатора, и получить его было трудно. К тому же отсутствие железной дороги на протяжении 300 верст делало приезды чрезвычайно затруднительными.

За все время существования Мальцевской в течение нескольких месяцев в деревушке возле тюрьмы жил по особому разрешению Моисеенко, муж Маруси Беневской, раз или два приезжал отец Зины Бронштейн, постоянно живший в Чите, да некоторый

период в Нерчинском заводе жила мать Иры Каховской, ездившая к Ире на свидание.

Сношения же с внешним миром мы имели почти исключительно через письма, проходившие, конечно, цензуру начальника тюрьмы.

Получка и писание писем были для нас целым большим делом. Получали мы письма не в определенные сроки, а по приходе почты, и каждый раз письма вносили большое оживление в нашу жизнь. Писать письма полагалось два раза в месяц.

Большинство мальцевитянок писало много, с воодушевлением. Редким исключением было несколько человек, которые не любили писать и завидовали тем, кто делал это умело и с удовольствием. Особенно отличалась в этом отношении Ривочка Фиалка. Вспоминается, как она сидит, вперив взор в грифельную доску, на которой она обычно писала начерно. На доске начертаны два слова «дорогой папочка», и поставлена запятая. Двадцать раз стирались и снова писались эти слова, и, в то время как у других были уже исписаны страницы, у нее дальше «дорогого папочки» дело не шло.

Довольно деятельная переписка шла у некоторых из нас с нашими ближайшими соседями Зерентуйской каторжной тюрьмы. Эта переписка вносила оживление в тюрьму, так как зачастую из Зерентуя получалась информация о воле, которую мы не могли иметь. Переписка шла, конечно, нелегальными путями. Письма передавались через уголовных женщин, выходивших за ограду тюрьмы и имевших свидание с уголовными мужчинами в Зерентуе, и через зерентуйского тюремного доктора Рогалева—ближайшего друга политических.

Рогалев, приезжая в Мальцевку, обычно заходил в околоток, где оставлял свою шубу. Когда, уходя, он надевал шубу, она уже бывала полна записок и писем. На всякий случай, для большей конспирации, он перекладывал записочки в шапку, надевая последнюю, и так выходил из тюрьмы.

Однажды, забыв, что у него в шапке письма, он, зайдя к начальнику тюрьмы Павловскому, снял шапку. Каково было удивление Павловского, когда ему бросилось в глаза содержимое шапки. Только дружеские отношения Рогалева с Павловским спасли положение дел.

Большим впечатлением вошли в нашу жизнь несколько спектаклей, устроенных своими силами. К спектаклям готовились долго и скрывали их от большинства, чтобы преподнести их в виде сюрпризов. Играли отрывок из «Снега» Пшибышевского, «Смерть Озе» из «Пер Гюнта», «Женитьбу», Гоголя и др. Бронку

из «Снега» играла Маруся Спиридонова, Пер Гюнта—Саня Измайлович, мать Озе—Маня Горелова.

В тюрьме эти спектакли показались нам верхом искусства, несмотря на то, что многие из нас выросли в больших городах и видели первоклассных артистов. Кроме нас, на этих спектаклях присутствовали уголовные и старший надзиратель—Иван Евгеньевич.

Многие из них никогда в жизни не были в театре, и вспоминается, как Иван Евгеньевич, пожилой толстый казак, сидел зачарованный и никак не мог оторваться и уйти по своим служебным делам, несмотря на то, что начальник тюрьмы несколько раз вызывал его.

Лето в Мальцевской.

Летом жизнь в Мальцевской разнообразилась, и в нашу жизнь врывался целый ряд впечатлений, связанных с ощущением природы. Суровая и длинная зима кончалась, в мае температура поднималась до 30 градусов и выше, горы очищались от снега, и глаз, уставший за долгую зиму от однообразного белого снежного покрова, отдыхал на яркой зелени, которой покрывались горы вокруг тюрьмы.

Мальцевская тюрьма стоит в низине и со всех сторон окружена горами-сопками, которые в этом районе тянутся непрерывной волнистой цепью. Если встать на возвышенное место и оглянуться кругом, то всюду, насколько хватает глаз, вы видите горы, подтянувшиеся одна к другой и сплотившиеся вместе. Форма этой гряды гор, разметавшихся в прихотливо-разнообразных группах, поражает своим сходством с морскими волнами, внезапно застывшими.

Прямо перед тюрьмой высокая сопка с большими каменными глыбами, покрытыми ярким зеленым мхом и густо поросшим кустарником, особенно манила нас к себе. За ней начиналась дорога, ведущая из тюрьмы на волю. Мрачная черная гора с правой стороны, с крестом посредине, носила у нас название «Вечный Покой» (по Левитану) и навевала другие настроения, чем жизнерадостная гора, ведшая к воле.

Горы кругом покрывались цветами, чрезвычайно разнообразными и яркими по своим краскам, о которых мы в центральной и даже южной России не имеем понятия. Яркие кроваво-красные саранки на высоких стеблях, дикие орхидеи всевозможных цветов, называющиеся в тех местах «кукушкины слезки», длинные

болотные ирисы, розовые заросли смолистого богульника, красные пионы, под названием «марьины коренья», и целый ряд других цветов—ромашка, мак, подснежники—всякими путями проникали к нам в тюрьму, и наши камеры благодаря им теряли тот убогий вид, какой они имели зимой.

Но нам казалось этого мало и хотелось иметь цветы, посаженные нами самими. Инициатором этих посадок всегда была Саня Измайлович. Она вовлекала в это дело довольно большое количество лиц, и однажды было назначено даже соревнование на лучшую клумбу во дворе. Здесь было проявлено много творчества, всем хотелось выдумать что-нибудь очень красивое. Саней было припасено множество различной рассады, и нами были посажены златооки, незабудки, душистый горошек, табак, резеда и много всяких других цветов. Все эти грядки были посажены перед околотком и вдоль наружной стены тюрьмы, где мы гуляли. Одна Аустра Тиавайс устроила маленькую узкую грядку возле кухни, грядку, на которую никто не обратил внимания, так как по форме она ничем особенным не отличалась и заслонялась корпусом кухни. Но когда на этой грядке выросли нежные белые левкои и необычайно выделились своей белизной и чистотой на фоне кухонного фасада, мы безоговорочно признали Аустрину грядку самой лучшей.

Необычайно комично проходили всегда Санины заботы об удобрении. Навоза у нас не было, так как лошади к нам во двор не в'езжали, а бычки, привозившие воду, приезжали раз в день не на долгий срок и не давали нужного количества навоза. Приходилось искать человеческого навоза. И Саня, чтобы не пропустить нужный материал, следила за каждым из нас, упрашивала и умоляла нежелающих постараться и необычайно радовалась, когда натыкалась на клиента.

Летом вся наша жизнь несколько менялась и в смысле занятий. Мы больше гуляли и меньше занимались углубленными серьезными предметами. Хотелось больше полениться, погреться на солнышке, полежать с книжкой в цветнике, посмотреть при закате солнца на сибирские красивые краски, которые там действительно изумительные, благодаря чистому, ясному воздуху.

Но лето в Забайкалье очень короткое. Зной в 30—40 градусов сменяется осенними ветрами, почти ураганами, которые так типичны для Забайкалья. Горы желтеют от груды осенних листьев осины, в изобилии растущей на горах.

Очень рано начинались заморозки, а потом и снег, и жизнь снова менялась на зимний лад.

Встречи и проводы.

Из всех впечатлений, разнообразивших нашу жизнь, самыми значительными были для нас приезды новеньких. Каждую среду, часа в 4—5, приезжала партия, которую мы ждали с нетерпением. Летом, поджидая партию, мы усаживались на крылечке кухни, откуда видна была Зерентуйская дорога. Новенькие рассказывали нам о других тюрьмах, приносили нам вести о наших товарищах, которых они встречали по этапу, в тюрьмах и в дороге, делились кое-какими вестями с воли, просачивавшимися в российские тюрьмы. Главное же, чего мы ждали,—это, что новенькие внесут новую струю в нашу жизнь.

Таким же большим событием для нас были и проводы наших товарищей, уходивших на волю. Первой ушла на поселение Фрейда Новик, а вскоре вслед за ней Стефа Роткопф.

Почему-то особенно остался в памяти от'езд на поселение Ривочки Фиалки в самом начале мая 1909 г. Одна из первых каторжанок, привезенная в Акатуй в числе первой шестерки, она уходила на волю двадцати одного года. Перед ней впереди была целая жизнь. Помнится раннее утро, какие-то совсем розовые горы от восходящего солнца. Мы все прилипли к воротам, за которые сейчас уйдет Рива. А мы все с ней так сжились. Рива уходила взволнованная, радостная и вместе с тем печальная. Очень тяжело уходить из тюрьмы и оставлять товарищей, которым предстоит сидеть долгие, долгие годы.

Но недолго Рива пользовалась баргузинской «волей». Как оказалось потом, к ней неправильно была применена 23 статья досрочного освобождения, сокращавшая ей срок на 7—8 месяцев. Она прожила в Баргузине всего 12 дней и в начале июня, согласно телеграфному раз'яснению Сената, была в числе других политкаторжан отправлена обратно на каторгу досиживать свой срок. Снова полуторамесячный этапный путь, снова пеший путь в 13 дней—и Ривочка опять в Мальцевской тюрьме.

Нам казалось, что Рива вернулась с настоящей воли, потому что тот запас впечатлений, который она нам привезла, был неисчерпаем. Часами рассказывала она о встретившихся людях, о баргузинской жизни, баргузинской природе, о новых книгах, о новых настроениях на воле. Только после долгой тюрьмы может быть такая восприимчивость к жизни, такое отношение к повседневной жизни, как к чему-то необычайному, очень сложному и крайне интересному.

Среди нас было очень много краткосрочных, т.-е. отбывавших четырехлетний срок каторги; к тому же целой группе лиц по

«богодульству», т.-е. по инвалидности, был сокращен срок сидения. Благодаря этому, в 1909 и 1910 годах проводы из Мальцевской сделались более частыми. Богодулками были признаны Маруся Беневская, у которой не было одной кисти руки и двух пальцев на другой, М. В. Окушко, у которой при попытке побега из Литовского замка был поврежден копчик, и Лидия Павловна Езерская, жившая почти без обоих легких.

Особенно много волнений вызвал в Мальцевке уход в вольную команду в сентябре 1909 года сразу 15 каторжанок.

Начальник тюрьмы Павловский.—Приезд Сементовского.

После ухода наших в команду в камерах стало гораздо свободнее, но в общем жизнь в Мальцевской текла попрежнему, и только в 1910 г. случился ряд событий, перевернувший все вверх дном. Началось это с приезда инспектора тюремного управления Сементовского. Нагрянул Сементовский неожиданно, так неожиданно, что ни мы, ни наша администрация не заметили его приезда. Таким образом он застал тюрьму врасплох. Начальник тюрьмы Павловский едва успел схватить шашку, и стал пристегивать ее уже по дороге, идя с Сементовским осматривать тюрьму. Надзирательница, почти при Сементовском, бегала и закрывала наши камеры. Поверх цветных платьев мы успели накинуть казенные юбки и прятать все недозволенное под кровати и под матрацы. Но Сементовский не постеснялся приподнять одеяла и просмотреть кровати, которые ему показались подозрительными. Под кроватью были цветы, под матрацами—цветные не казенные вещи, под казенными одеялами—свои одеяла и т. д.

Непосредственным следствием визита Сементовского был перевод начальника тюрьмы Павловского, как виновника патриархальных нравов в тюрьме, в Кадаю. До Павловского в Мальцевской тюрьме было несколько начальников (Фищев, Островский, Покровский), но Павловский был дольше всех, да, пожалуй, в самый характерный период Мальцевской тюрьмы, и о нем стоит сказать несколько слов.

С одной стороны, он очень высоко ценил политических каторжанок и старался создать с ними хорошие отношения, допуская всякого рода вольности, с другой—он изо всех сил тянулся перед высшим начальством, выставляя себя хорошим начальником. Бывали случаи, когда он выдавал в вольную команду нераспечатанными письма, желая показать свою либеральность, за что ему могло здорово влететь. И вместе с тем, очень часто, через стар-

шего надзирателя, он старался отменить им же самим установленные льготы. При об'яснении с ним по этому поводу, он начинал лебезить, уверял, что надзиратель напутал, что он рассеет недоразумения и т. д. Косил он на оба глаза, никогда не смотрел прямо на человека, и при разговоре с ним всегда чувствовалось, что он хитрит, что думает он одно, а говорит другое.

Казенное имущество и уголовных каторжан он считал своей неот'емлемой собственностью. Уголовных он эксплуатировал для себя, как только мог. Они постояно были у него на посылках по его личным надобностям, они делали ему мебель и все, что ему нужно было для его домашнего обихода. Им же был организован казенный мыловаренный завод, в котором варка мыла производилась трудом уголовных. Этот завод должен был приносить определенный доход казне. Но при переезде из Мальцевской за Павловским тянулись бесчисленные возы с мебелью, сделанной для него уголовными, и чуть ли не сорок возов мыла, оказавшегося его собственностью.

И, вместе с тем, хочется его помянуть добром за один поступок. При побеге с поселения в 1912 году, Фаня Радзиловская и Рива Аскинази наткнулись на него в поезде по направлению к России. Павловский моментально сообразил, в чем дело, и, отвернувшись, сделал вид, что не узнает их.

Последний период Мальцевской тюрьмы.

Вместе с от'ездом Павловского начался период завинчивания тюрьмы. После Павловского за короткий период сменился целый ряд начальников тюрьмы—Эпов, Антипов, Каблуков и Егоров. Из них дольше всех оставался Егоров, и политика его была очень определенной. Началось завинчивание тюрьмы. Камеры целый день оставались запертыми, прогулки сократились, общая выписка была отменена, увеличились работы по самообслуживанию, стали сами разносить воду по камерам и т. д.

Перелом, начавшийся после приезда Сементовского, особенно усилился в связи с зерентуйскими событиями при приемке тюрьмы Высоцким. События в Зерентуе, порка, самоубийство Созонова и покушение на самоубийство ряда товарищей как-то зловеще нависли над нашей тюрьмой. Прекратились занятия, в камерах была тишина, было несколько собраний по поводу происходившего в Зерентуе, и был момент, когда для некоторых из нас была ясна мысль—нужно быть готовыми к смерти. Смерти никто не боялся, думали и обсуждали вопрос о протесте, но после смерти Созонова выяснилась бесцельность новых жертв.

Этот период был последним периодом Мальцевской тюрьмы. Начальник Главного тюремного управления Хрулев приезжал с целью реорганизации каторги, общего перепланирования и переустройства тюрем. Приезд Сементовского, заставшего развинченную и вольную тюрьму, обострил и ускорил эту реорганизацию.

Вскоре после от'езда Сементовского стали ходить упорные слухи о нашем переводе в Акатуйскую тюрьму. О дне нашего от'езда мы узнали только за неделю. Сборы наши были очень несложными, так как с собой мы взяли только по две смены казенного белья, чехлы для сенников, часть посуды и продукты на дорогу. Главной же нашей заботой была упаковка библиотеки. Нам не хотелось расстаться с книгами, и мы старались забрать каждый печатный клочок.

В этап должны были заковать в кандалы бессрочных, но нашему начальству, очевидно, не особенно этого хотелось. Помощник начальника каторги Языков специально вел переговоры с нашим старостой, обещая не заковывать в кандалы при условии с нашей стороны не бежать с дороги. Такого обещания мы ему не дали. Несмотря на это, начальник тюрьмы Егоров распорядился не заковывать, представив всех бессрочниц, как больных. Утром 27 апреля 1911 г. мы вместе с вольнокомандками в количестве 28 человек были отправлены в Акатуй.

Мы надеялись, что нас поведут через Горный Зерентуй, но нас повели каким-то другим путем. По дороге нам часто попадались какие-то заброшенные безвестные могилы. Трудно было сказать, кто здесь похоронен, но мы знали, что многие из каторжан погибли в этом краю, так и не увидев свободы, и думали, что эти могилы, о которых никто не заботится,—могилы наших товарищей.

Помнится, как в полутемной этапке Александровского завода, сгрудившись на нарах, мы проговорили последнюю ночь, ожидая, что в Акатуе нас могут раз'единить. Мы все знали, что легкая жизнь в Мальцевке—позади, и что впереди нас ждет суровый режим Акатуя.

С этого периода Мальцевская женская каторжная тюрьма была ликвидирована и была преобразована в мужскую богодульскую (инвалидную) тюрьму. После революции 1917 г. Мальцевская каторжная тюрьма, как и все здания бывших нерчинских каторжных тюрем, была передана в распоряжение волисполкома для культурно-просветительных и хозяйственных целей, что явилось лучшим памятником тем товарищам, которые погибли в нерчинских каторжных тюрьмах.

И. К. Каховская

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

Это было в марте 1908 года. Из карцера Дома предварительного заключения, где шестнадцатилетняя анархистка Зоя Иванова и я отсидели по семь суток за попытку к побегу, нас непосредственно перевели в Петербургскую пересыльную тюрьму. Там было уже несколько человек политических каторжанок, ожидавших этапа. Иванова провалилась с перепиленной решеткой за день до меня—и очутилась в пересылке тоже днем раньше. После восьмидневной разлуки мы встретились в новой обстановке и не сразу узнали друг друга.

Она сидела на своей койке—бледная, маленькая, утонув в нелепом халате, и своей стриженой головой и совершенно юным насмешливым личиком напоминала мальчика-подростка. В камере никого больше не было, и Зоя, очевидно, поджидала новую соседку на незанятую койку. На ногах у нее были кандалы.

— На кого вы похожи, господи, на кого вы похожи!—зазвѐнела она мне навстречу детским смехом.

Я даже сконфузилась. Впервые пришлось мне оглядеть «критически» свой костюм.

Не даром плакала и крестилась, глядя на меня, добродушная надзирательница предварилки, когда провожала меня из карцера в «собачник» [1]. Наряд был поистине шутовской: короткое, по колена, полосатое платье, гигантские коты поверх холщевых бесформенных чулок, на голове огромный платок из грубой ткани, завязанный под подбородком, потрепанный жалкий суконный халат с тузом на спине. Каждая часть одежды рассчитана была на то, чтобы обезобразить, унизить, сделать арестанта как можно меньше похожим на человека.

[1] Фургон для перевозки арестантов.

Если мой вид был весьма комичен, то Зоина болезненная фигурка, закованная в прохочущие, неумело подтянутые кандалы, производила трогательно-грустное впечатление, несмотря на озорной огонек в глазах и неунывающий юмор, с которым она относилась к своему положению.

— Я вчера ликвидировала голодовку, а вы как?

В карцере мы в виде протеста не принимали пищи, а есть, по правде сказать, очень хотелось. По дороге я не раз вспоминала о горячем молоке, бульоне, белом хлебе, которым администрация Дома предварительного заключения снабжала нас обычно по окончании наших 3—4-дневных голодовок. Сейчас, кроме черных корок, у нас в камере ничего не было, а обед только-что прошел.

— Вы попробуйте, постучите,—лукаво посоветовала Иванова.

На стук явилась надзирательница.

— В чем дело, женщины?—спросила она.

«Женщина» об'яснила, что она семь суток ничего не ела и хочет ликвидировать голодовку.

— Здесь не гостиница,—последовал ответ,—будет ужин—получите кашу.

Резко царапнуло по сердцу с непривычки. «Это тебе не предварилка, где двухдневная голодовка политических вызывает целый переполох»...

За этим первым каторжным штрихом последовал ряд других. Каждый час вычерчивал какую-нибудь характерную деталь в нашем новом быту; в несколько дней мы вполне сбросили свою наивность, отучились от баловства и с гибкостью, свойственной молодости, перестроили свою психику на новый лад.

Жизнь вдвинулась в рамки унылого, бездушного режима. Ограниченное чтение, ограниченная переписка, ограниченная передача, укладывание и вставание в определенные часы, постояное «женщины, тише!» при малейшем повышении голоса, грубоватый, не допускающий возражений тон приказаний—все это должно было служить переходом от политического клуба, каким была предварилка, к «лишенному всех прав» ссыльно-каторжному состоянию.

Мы знали, что пробудем в пересыльной недолго, и за режим не боролись, подчиняясь всему. Но неукрощенная еще молодая радость прорывалась на каждом шагу и портила казенный покаянно-ханжеский стиль, поддерживаемый начальницей и приезжавшими с религиозными книжками христиански-филантропическими дамами.

Каждый вечер Наташа Климова, наша соседка по камере, отплясывала под ритмический звон кандалов всякие причудливые танцы. На прогулке Зоя Иванова изводила надзирателей своей бе-

готней по мосткам, где полагалось ходить «по кругу, не оборачиваясь и не разговаривая». Из камер то-и-дело раздавались не в меру громкие слова, но самым непобедимым и страшным врагом оказался прекрасный, необычайно заразительный смех А. Карташевой. Она оглашала пасмурное, молчаливое здание неудержимо-радостными раскатами, заставляя улыбаться даже засушенных молчаливых надзирательниц,—поднимался переполох, шипенье, в волчок сыпались угрозы, двигалась на усмирение сама начальница женского отделения, чопорная седая особа с аристократическими манерами, похожая на начальницу института для благородных девиц.

— Вы послушайте, послушайте только, что он пишет,—совала Карташева оторопевшей даме насмешившую ее страницу.

Мегере приходилось ретироваться, как сове перед солнцем.

Нас было человек 10—15, рассаженных в нескольких небольших камерах; в течение дня мы не встречались, но по ночам вели через стены длинные разговоры. В абсолютной тишине уснувшей тюрьмы мы заменяли стук легкими мазками пальца по стене, и приложенное с другой стороны чуткое ухо улавливало звук. Так завязывались волнующие беседы, и, бывало, не дождешься ночи, чтобы продолжать прерванное перестукивание.

Серьезного чтения в эту пору неопределенности и постоянного ожидания отправки быть, конечно, не могло, но мысль напряженно работала, в душе шла громадная перестройка. Вместе с вольной одеждой, свободными личными свиданиями с близкими, широкой нелегальной перепиской рвались одна за другою все нити прошлого,—как-будто прозрачная, но непроницаемая преграда встала между вольным душевным укладом, который мы сохраняли целиком в предварилке, и новым. Это была как бы грань, перевал, после которого сразу не стало видно позади, и глазам открывался совсем другой мир. Стерлись внезапно яркие впечатления суда, боль от неудавшегося побега, дорогие мелочи вольной жизни; домашние воспоминания оборвались, как недочитанная книга, как недодуманная мысль. Не было даже острого горя от того, что надолго, может быть, навсегда отрываешься от революционной работы, товарищей.

«Тот, кто хочет, чтобы тени исчезали, пропадали, кто не хочет повторенья и бесцельности печали, должен сам себе помочь, должен властною рукою бесполезность бросить прочь»,—сентенциозно стучала мне в стенку из Бальмонта в ответ на мои ламентации по этому поводу бессрочная Н. Климова. Полгода назад она пережила казнь самых близких ей людей, Петропавловку и смертный приговор. Тюрьму нужно было принять, как суровую

неизбежность, усмирить собственный органический бунт против нее и всеми силами постараться обратить ее себе на пользу. Будущее не представлялось страшным. На первых порах молодости хотелось новых необыточных впечатлений, манили интересные встречи со старшими, ушедшими раньше нас товарищами, и если бывало очень тяжело, то только при мысли об оставляемых близких людях.

Большое место в нашей пересыльной жизни занимали свидания. Они бывали очень мучительны — иногда трагичны. Мы расстраивали родных своим необычным видом, ужасными костюмами, осунувшимися лицами. Через две решетки в присутствии надзирателей нельзя было сказать тех нежных прощальных слов, которые хоть немного смягчают разлуку, ободрить, рассказать, как легкомысленно и весело мы пока что относимся к нашему «каторжному состоянию». Все невыговоренные утешения, ласковые убеждения приходили в голову потом, когда уже кончалось свидание, и долго мучаешься, лежа на койке и перебирая каждую фразу бывшего разговора.

В последней заботе о нас матери готовили нам в дорогу белье, форменные капоты, дорожные мешки, которые разрешались собственные, вкладывая все свое горе и нежность, а иногда последние гроши в это грустное приданое. Нам их передавали перед от'ездом. Белье было белое, капоты чистые и удобные, но для того, чтобы уничтожить в них всякое подобие вольной одежды, администрация тюрьмы догадалась поставить на каждом шве уродливое, величиной с чайное блюдце, круглое клеймо.

По огромным черным пятнам на парусиновой одежде можно было издалека отличить каторжанку.

Для отправки пока что в Москву нас разделили на две группы. Мы с Зоей попали во вторую, которая уехала позже на несколько дней. Зою перед отправкой, после медицинского осмотра, расковали.

Был май. Все цвело. Станции пестрели публикой. Решетчатый вагон с белыми клеймеными девушками внутри обращал на себя всеобщее внимание. Везде нас провожали сочувственные взгляды, иногда—смелые приветствия. Конвой подобрался на редкость сознательный и относился к нам с чисто братским вниманием. Мы жадно знакомились друг с другом, беседовали с солдатами, любовались зеленью и летней нарядной толпой на вокзалах, проникнутые праздничным весенним настроением.

Потом настала белая ароматная ночь, полная под'ема и возбуждения. Пели, делились воспоминаниями, строили планы, шутили, дышали сквозь решетку весенними запахами, на какой-то

маленькой станции слушали соловья, радовались жизни и весне, как-будто поезд нес нас к счастливому, беззаботному будущему. В каждой из нас было сознание нетронутых, неутомленных больших сил, готовность ко всяким испытаниям, полудетская гордость своим высоким званием политической каторжанки и громадная, душу затопляющая нежность к товарищам.

Так, именинницами, приехали мы в Москву и, переночевав одну ночь в Бутырках, веселой гурьбой, перебрасываясь шутками, переступили порог Новинской каторжной тюрьмы.

Новинская тюрьма, недавно выстроенная, с грудами неубранных кирпичей и всяких обломков во дворе, несмотря на свое название, была заполнена арестантами самых разнообразных категорий, исключительно уголовными. Они жили довольно свободно и шумно. Задачей администрации было создать для маленькой группы каторжанок специальный режим и изоляцию.

Нас приняли по всей форме. Детальнейший обыск и опять переодевание в еще более нелепое, чем в пересыльной, одеяние. Отняли все собственное—вплоть до носового платка и гребней. Тон — грубый, безапелляционный, с непривычки — невыносимо оскорбляющий. Перед самой поверкой мы, наконец, очутились в камере вместе с прибывшими до нас товарищами. Тут же находились человек десять уголовных каторжанок. Климова, уехавшая с первой партией, тоже была уже раскована.

Кандалами и милым лицом она, очевидно, завоевала сердца, и уголовные относились к ней с нежностью и почтением, явно выделяя ее из остальных.

Они приняли нас с хозяйской приветливостью, напоили чаем, который сохранялся теплым после ужина под грудой бушлатов, накормили черными сухарями.

С непритупленным еще привычкой сознанием унизительности этой процедуры, мы выстроились на поверке. Затем надзиратель открыл замок, запиравший длинным болтом поднятые к стене койки, и дверь снова захлопнулась.

Тяжело было смотреть друг на друга после этой первой поверки. На наших лицах было написано: «Должны ли мы были выстраиваться? не уронили ли мы себя в первый же вечер?»...

Нужно было ложиться: нечистый брезент, натянутый на железную раму, соломенная подушка, нечистое суконное одеяло; один конец койки привинчен к стене, другой опирается на «собачку», в которой лежит все арестантское имущество — полотенце, мыло, книга—и которая днем служит для сиденья.

Расположившись по возможности ближе друг к другу, мы открыли совещание, чтобы сговориться относительно своего пове-

дения в будущем и чтобы завтрашний день не застал нас врасплох, как только-что поверка.

Сейчас, вспоминая это ночное совещание, я проникаюсь его наивной торжественностью.

Прибывшие раньше нас товарищи описывают нам условия новинской жизни. До сих пор здесь политических не было—мы первые. Администрация еще не знает толком, как ей держать себя с нами. От нас самих во многом зависит создать то или иное к себе отношение и определить условия, в которых, может быть, долго еще придется жить нам и следующим за нами товарищам.

Надо сразу же высоко поднять престиж политических, сразу же осадить все поползновения унизить нас и лишить возможности вести в тюрьме осмысленную жизнь. Мы совещаемся немногословно и устанавливаем тот минимум обеспечивающих нам достойное человеческое существование прав, который мы намерены отстаивать всеми силами и не уступим ни за что.

Наиболее ультимативно стоял для нас вопрос о книгах. Без книги тюрьма становится страшной. Наиболее бесчеловечный режим скрашивается книгой; с другой стороны, самое сытое и спокойное существование в тюрьме без возможности чтения обращается в пытку.

Это хорошо всегда знали тюремщики, отнимавшие у политических заключенных книги.

Первое и главное, за что мы решили бороться, это—книги; мы будем добиваться свободного получения их с воли, потому что вернуться к жизни мы должны подготовленными, знающими, сильными, а не отупевшими, заживо разложившимися без умственной работы... Само собою разумеется, мы не позволим называть себя на «ты», командовать «встать!» при появлении начальства, будем резко реагировать на всякую недопустимую грубость и унижение. Остальные условия примем, как каторжный режим, который до нас по всем каторжным тюрьмам приняли товарищи.

Это коротенькое совещание сразу подняло дух: мы почувствовали себя немножко «в работе», как на воле, а не выброшенными за борт, никому не нужными жертвами.

Как сейчас, стоит перед глазами освещенная приспущенной лампой маленькая группа: грустное, матерински озабоченное лицо старшей из нас—Сарры Данциг; обаятельный, всегда вдохновенный облик Н. Климовой, со спущенной наперед косой; маленькая большеглазая Ривочка Аскинази, прижав колени к подбородку, в неудобной позе сидящая между двумя койками,—яркий, пышный цветок среди камерного убожества; сияющая радостной решимостью и улыбкой А. Карташева; озорной взгляд мальчика-

подростка Ивановой, и тихое, всегда невозмутимо ясное, тонкое лицо рыжеволосой Веры Королевой. Остальные фигуры тонут в полутьме под серыми одеялами...

Потянулись однообразные дни. Каторжанкам была предоставлена длинная, узкая 15-я камера, полутемная, благодаря единственному и неловко поставленному окну. С отдельной лестницей и отдельным ходом на кухню, она жила особой от остальной тюрьмы жизнью. Нам видно было, как гуляют во дворе следственные и срочные уголовные, но общения с ними мы не имели никакого. Работ не было. В камере царила невероятная духота, вонь испорченного «лидваля», который был тут же в камере. Мы томились бездельем, неустроенностью, теснотою и чувствовали себя опять в каком-то переходном состоянии. С первого же почти дня начали создаваться планы побега, который казался легко осуществимым и, действительно, впоследствии блестяще удался.

Администрация то выпускала когти, то делала вид, что игнорирует нас. Благодаря нашей общей жизни с уголовными, трудно было решить, что относилось к нам, что — к ним. Общекамерная борьба становилась невозможной.

Тюрьмой непосредственно ведала опять дама—княжна Вадбольская; вообще жалкая и трусливая, она с лишенными человеческих прав заключенными была высокомерна и привередлива. Она требовала поклонов, титулованья, придиралась к пустякам и была похожа на капризную всевластную барыню, третирующую своих горничных. Несказанное мальчишеское удовольствие доставляло нам при встрече с ней, вместо почтительного поклона, пропеть ей в самый нос песенку... Каторжанок вообще она побаивалась, как «отчаянных людей», с нами в борьбу сама вступать не решалась и в камере она демонстративно обращалась только к уголовным, словно мы были «не ее прихода».

Так прошло благополучно несколько недель. Кое-какие внешние неудобства сгладились: нам выдали отнятые носовые платки и полосатые платья (вначале мы ходили лишь в белье и суконных бушлатах—несмотря на жару); кое-как урегулировали и переписку, прогулки, свидания с приехавшими из Петербурга родственниками. Все же в камере было так тяжело от плохого питания и ужасного воздуха, что мы по уговору с либеральным доктором ходили по очереди парами на недельный отдых в лазарет.

На втором, кажется, месяце наше относительное благополучие рухнуло. Приехало начальство. По команде «встать!» наша публика дружно уселась на «собачки». Разразилась гроза. Политических отделили от уголовных. Введено было карцерное положение в камере на месяц и семидневный темный карцер для каждой

в отдельности. Это мы приняли с легким сердцем, но при карцерном положении отняли, разумеется, книги, а этого, согласно нашему решению, мы допустить не могли.

Началась голодовка за возвращение книг, которые должны были быть, по-нашему, неприкосновенны. В сущности, наши книги были все время бельмом на глазу у начальства, которое всячески ограничивало их количество и строго определяло качество. Мы все время чувствовали, что они на волоске; теперь мы имели основание полагать, что и после снятия карцерного положения книги не вернутся, и потому решили протестовать сразу и энергично. Голодали в карцерах попавшие туда в первую очередь, голодали в камере, голодали из солидарности отдыхавшие в лазарете и не подвергшиеся наказанию.

Княжна перепугалась не на шутку. Через фельдшерицу и надзирательницу она передавала нам, что не ожидала, что у политических «хватит жестокости так ее мучить», закатывала истерики, посылала к нам доктора в день три раза. Когда у кого-нибудь пульс поднимался выше 100, доктор снимал с себя ответственность, и голодающего товарища увозили в бутырскую больницу. Аскинази и Климова сдались последними. Я помню, как они, обнявшись, стояли у окна и махали нам в лазарет тюремной азбукой, что они чувствуют себя бодро и хорошо. Если не ошибаюсь, на одиннадцатые сутки все товарищи, кроме трех человек, оставшихся в новинском лазарете, оказались в Бутырках. Книги торжественно были возвращены—с гарантией не отнимать их в Новинках, и голодовка, таким образом, окончилась победой.

Пока товарищи поправлялись в Бутырках, меня взяли из Новинской для отправки на Нерчинскую каторгу. Я так и не простилась с ними.

Уже в Мальцевской я узнала, что задуманный еще при мне побег вскоре осуществился, и 12 каторжанок бежали. Из них Карташева и Иванова были почти сразу же вновь арестованы и, закованные по рукам и ногам, заперты в бутырские одиночки. Там, по словам товарищей, Шура К. потеряла свой румянец, свой необыкновенный смех, свое цветущее здоровье. Она вышла оттуда в 1917 году тяжело больная, с совершенно расстроенной нервной системой, и умерла очень скоро после освобождения. Немного раньше ее умерла в эмиграции Наташа Климова, уже собираясь после революции в Россию. От короткого моего знакомства с нею я сохранила какое-то особенное светлое воспоминание. На редкость красивая и внешне и духовно, она поражала своей гармоничностью. Радостная, смелая, с широкой инициативой—и вместе серьезная, сосредоточенная в своей богатой внутренней жизни,

она, казалось, одним своим присутствием способна была украсить окружающим какое угодно мрачное бытие. В любом наряде, в любом положении ей сопутствовали очарование и поэзия, захватывавшие и друзей и врагов. Разговаривать с ней было удивительно интересно. В пору нашего знакомства ее теоретические взгляды были довольно странно обоснованы на пантеистической философии, но мысли ее были всегда совершенно самостоятельны, оригинальны, просто и изящно выражены. Спорила она умело.

После известия о побеге я много думала о Наташе, жизнь которой мне всегда представлялась какой-то необычной по размаху и достижениям. От нее веяло талантом и силой.

По словам людей, близких ей в эмиграции, она кончила глубоким душевным надломом...

К каким берегам прибила жизнь остальных новинских товарищей,—я не знаю.

Я шагала между двумя конвоирами по московской мостовой в своем полосатом капоте, со связкою книг через плечо, любовалась листвою бульваров, наблюдала публику и подбирала медные и серебряные монеты, которые бросали мне прохожие, со смешанным чувством и неловкости и удовольствия. Столько сочувствия и доброты было в долгих провожавших меня взглядах жертвователей, что пренебречь милостыней было бы стыдно, но нагибаться за деньгами было тоже мучительно неловко. К концу пути у меня набралась целая горсть. Я передала деньги конвоиру, и он великодушно разделил добычу, взяв себе медяки «на махорку», а мне передав серебро.

Я оказалась в Часовой башне Бутырок, в самой нижней камере, среди каторжанок-прачек,—впервые без товарищей, оторванная от родной новинской семьи. Прачки с утра уходили на работу, и в тишине круглой полутемной камеры я много раздумывала над тем, какую удивительную силу придает человеку его причастность к коллективу, как сразу он духовно слабеет в одиночестве. «Что если бы заперли меня тут одну на весь срок с уголовными без своих? Какова бы я была? На миру и смерть красна, а вот тут, одна, повоюй-ка, а главное, сохрани свою жизнерадостность, бодрись в этой гнилой, темной яме, в этих иссушающих буднях»... От этой мысли становилось жутко и тяжело, и хотелось столкновений, чтобы проверить свои силы. Но столкновений никаких не было. Была только скука и удручающее безобразие обстановки.

Маленькие башенные окна, низкий сводчатый потолок, кривые стены, непросыхающая даже летом сырость, спертый ужасный воздух, теснота... Женщины, молодые и старые, заперты сюда на

многие годы, навсегда. Кроме грязной непосильной работы, их жизнь не заполнена ничем. Между собой они не связаны, отвлечься от действительности нечем. Прогулка в крошечном треугольном дворике, где нет ни кустика, ни травинки, ни веяния свежего воздуха в высоких стенах, никого не привлекает. Родные большею частью далеко, забыли, гнушаются, не пишут и ничем не помогают материально. Единственная радость этой живой могилы — «крутеж». Где-то при проходе мимо мужского корпуса, под взглядами сопровождающего надзирателя, завязываются через окна романы, совершенно платонические, но питающие воображение и потребность в нежности отверженных волею людей.

Шли дни, все одинаковые, как капли воды, и все более и более возмущающие и неприемлемые. Утром зевающий надзиратель пересчитывал нас в постелях, и, едва одевшись, женщины шли на работу. Даже утренний кипяток они пили в прачечной. Камера пустела до обеда. В обед они возвращались усталые, с мокрыми подолами, пахнущие мылом и грязным бельем, наспех ели какой-то черный вонючий суп, казавшийся помоями даже после новинской, далеко не питательной баланды, и отдыхали на отстегнутых для отдыха койках, как убитые. Через час снова уходили до вечера. Вечером сушили портянки, юбки, распялив их на койках и скамейках, пили кипяток с черным скверным хлебом, иногда лакомились собственной селедкой и чаем, чинили «барахло», переругивались из-за «крутельщиков», играли по углам в запрещенные, невероятно засаленные карты. На вечерней поверке—грубейшая шутка распущенного надзирателя и подобострастный смех заключенных. Приходила ночь. Тускло горела лампа в железной клетке, изо всех щелей выползали клопы. Камера засыпала в смрадном удушливом воздухе тяжелым сном.

В нескольких шагах от нас жила шумной жизнью летнего вечера Москва; иногда сквозь открытые щелеобразные башенные окна доносился трамвайный звонок, над головами гуляющих, верно, горели звезды, цвели деревья в садах, играла на бульварах музыка.

В борьбе с клопами я долго прислушивалась к сонным вздохам, вскрикиваниям, храпу и, наконец, засыпала сама.

Никакого участия в общекамерной жизни, в вечерних разговорах и перебранках, в «крутеже» не принимала Маруся Ш-ва, молоденькая девушка с умным, интеллигентным лицом. Она почему-то на работу не ходила и целый день сидела у стола, уткнувшись в одну точку. Она вяло хлебала в обед черную баланду, вяло ходила вдоль стены на прогулке, в глазах у нее было не горе, не тоска, а какое-то брезгливое безразличие, поражавшее на юном

лице. Она, видно, ни о чем не мечтала, решительно ни на что не надеялась и, придавленная страшным несчастьем, жила по инерции, потому что не умела умереть. Ее осудили на 20 лет каторги за экс, в котором она принимала случайное и косвенное участие. Она считалась уголовной. Ее товарищи по делу, назвавшие себя анархистами, были казнены. На свидание к ней никто не приходил, передач она не получала, сжиться с сокамерницами не могла. Мне она казалась тогда погребенной безнадежно. Протянет год, другой и либо умрет от истощения, либо наложит на себя руки, либо отупеет, сольется с каторжной массой, развратится и опустится на самое тюремное дно[1]. Случайность и бессмысленность этой гибели делали ее особенно трагичной.

Прачки все же зарабатывали и имели удовольствие несколько раз в день пройтись через ряд тюремных дворов из камеры в прачечную, завязать при этом знакомства, узнать тюремные новости—у других не было и этого; все же они страшно тяготились обстановкой, всегда бывали удручены, раздражены, голодны, и каждая мечтала об отправке в Сибирь, как об единственном выходе из этого адского существования.

О привольной жизни Нерчинской каторги складывались целые легенды, тем более, что там для уголовных была «вольная команда»—вторую половину срока можно было при «хорошем поведении» отбывать за стенами тюрьмы, пользуясь относительной свободой. Там можно будет начать жить сначала, там есть надежда соединиться со своим крутельщиком, завести семью, хозяйство. Об отправке в Сибирь гадали на картах, видели сны, молились богу...

Дни текли так медленно, будто время остановилось в нашей забытой богом и людьми башне, куда и тюремный начальник никогда не заглядывал.

Мне стало уже казаться, что меня забыли и потеряли в этом огромном, набитом всякими категориями арестантов тюремном лабиринте. Но пришел, наконец, день,—и меня в числе прочих отправляемых в этап вызвали в приемную, обыскали, осмотрели, опросили и втолкнули в ряды двинувшейся за ворота пестрой, шумной партии.

---

[1] Судьба М. Ш. сложилась иначе. Вскоре после моего от'езда ее перевели в Новинки. Она попала к нашим, ожила, стала читать, заниматься и принимала участие в побеге 12 каторжанок. Арестованная вновь на другое же утро, она снова сидела и, насколько знаю, умерла в тюрьме.

Среди провожавших родственников, толпившихся у ворот тюрьмы, я искала глазами свою мать. Ее не было, и сиротливое детское чувство сжало сердце.

По приходе на вокзал, грубо произвели посадку, распихав нас кое-как по вагонам. Конвойные преувеличенно волновались, кричали, махали шашками. Долго нас возили по всяким путям, заставили в тупик; опять приходили родственники. Конвойный офицер давал свидания, принимал передачи. Матери не было, и до самого третьего звонка я ждала и надеялась.

Должно быть, простой небрежностью следует об'яснить то, что ей дали в тюрьме неверные сведения относительно моей отправки, указав неправильно вокзал и час от'езда. Мать узнала правду, лишь когда мы уехали, и с тем, что было на ней и у нее в кошельке, она кинулась догонять меня, надеясь застать на дневке в Самаре. Туда она приехала тоже слишком поздно и, совсем больная от пережитого волнения, вернулась в Петербург, так и не простившись со мною.

Партия ехала вольно. Главное ядро ее составляли поляки, административно высылаемые в Челябинск. Польская молодежь всевозможных партийных толков обратила вагон в шумный клуб: шли споры, разбирались с азартом какие-то старые конфликты, тюремные недоразумения, играли в шахматы, декламировали.

В Н.-Новгороде нас пересадили на пароход.

Сверкающая Волга, луга, чайки, белые пароходы мелькнули лишь на минутку. Арестантская камера была в трюме. Там, плотно сбитые на нарах, мы могли видеть в иллюминаторы только бурлящую у парохода воду. Было очень досадно. Публика поворчала, повздорила с солдатами и снова принялась за дебаты и декламацию. Зато на прогулку нас выпустили как-раз против Жигулей. Мы стояли на палубе, сбившись в проволочной клетке, отделявшей нас от борта и от вольной публики, и любовались берегами. Промелькнул Ставрополь, село Отважное—все места, близко знакомые по революционной работе, исхоженные вдоль и поперек; «Бахилова поляна», где дедушка Лукич прятал оружие и скрывал гонимых революционеров: вот виден его домик, пасека и даже трехногая собака Волчок прыгает на берегу... Знакомые вершины, знакомые тропинки, ущелья; село Морквоши, известное по всей губернии своим революционным духом, с пустым учительским домиком на самом краю. Сестры-учительницы давно где-то в ссылке...

Два года назад здесь везде кипела революция, пылали леса, пикеты, усадьбы, по деревням ходили крестьяне-книгоноши с революционными листками и книжками в сумках. Сейчас деревни казались притихшими, смирившимися, опустелыми. Сколько кре-

стьян ушло отсюда в Сибирь на каторгу, сколько должно быть заколоченных изб...

В Самаре—дневка: можно помыться, отдохнуть. Неожиданно вспыхивает, очевидно, разбуженное волжскими картинами, страстное желание бежать. Вся наладившаяся было тюремная психология, вся готовность года сидеть в тюрьме, учиться, забыть о воле, раз это нужно, разлетается в прах: тюрьма кажется невыносимой, немыслимой, ужасной. Нужно итти туда—в знакомые избы, восстановить разрушенные связи, сделать одно, другое, третье... все кажется живым, близким, доступным, как мираж путнику в пустыне. Спешно строится в голове нереальный, нелепый план, делается попытка задержаться в тюрьме, снестись с волей. Все, разумеется, кончается неудачей и жестоким разочарованием.

В Челябинске состав партии изменился почти целиком. Высадили административных, набрали ссыльнопоселенцев и каторжан. С новым конвоем резко изменился и вагонный режим: нависли целые облака площадной ругани, посыпались толчки, угрозы, и арестантская братия начала зорко караулить своих женщин от покушений конвоя. В душной тесноте вагона как бы два враждебных лагеря: у одного—закон, оружие, сила безнаказанности, произвола; у другого—кандалы, настороженная злоба, отчаяние и многочисленность. Сидим, не двигаясь: нельзя подойти к окну, пересесть на другое место, пройти без спросу в уборную.

Моими соседями оказались крестьяне-аграрники Пензенской губ.—муж и жена Данилушкины. Его обвинили в убийстве урядника,—из толпы кидали камни, и суд определил, что именно его камень убил начальственное лицо. Его жена, пробывшая после убийства год на воле, исходившая все инстанции и выплакавшая все слезы, была вызвана в суд как свидетельница; затем тут же была привлечена как сообщница, и теперь шла на каторгу; муж на 8 лет, она на 4 года.

Он был высокий, исхудалый, нервный человек, на которого год предварительного заключения и тяжкий неожиданный приговор наложили неизгладимую печать; он был раздражен и озлоблен. Она, хранившая следы былой красоты, очень моложавая мать шестерых детей, которые остались дома одни, ласково и кротко смотрела из-под косынки своими голубыми, как незабудки, глазами; в них отражались застенчивость и недоумение.

Муж страшно мучился вольным по отношению к женщинам поведением солдат и всю ночь, лежа на верхней полке, не спускал лихорадочных глаз с лежащей внизу жены. Та чувствовала его тревогу и украдкой кончиком косынки утирала слезы. Действительно, в ночной духоте, при тусклом свете огарков, мерцающих

в фонарях, над спящими арестантами нависал какой-то тяжелый кошмар. Мы не чаяли, когда, наконец, сменится конвой. Поезд шел страшно медленно, как товарный, подолгу останавливаясь в тупиках; в больших городах нас уводили на ночь в тюрьму.

Нето в Иркутске, нето в Красноярске я встретила в тюрьме несколько политических каторжанок, ждавших отправки. Тут же я впервые встретила Лию Борисовну Бронштейн, печальницу Нерчинской каторги, любимую и почитаемую всем нашим поколением политических каторжанок—общую нашу «тетушку»[1]. Она поручила мне нарвать по дороге к Зерентую полевых цветов и передать их от ее имени Егору Созонову. Это была после Новинок первая встреча со своими и первое влияние Нерчинской каторги.

В Иркутске к нам присоединилось четыре политических каторжанина, следовавших в Горный Зерентуй. Фамилий их я не помню. Двое были раскованы вследствие «болезни ног».

От Сретенска начинался пеший тракт, тот самый, что подробно описан Мельшиным в «Мире отверженных». Ничто в нем не изменилось с мельшинских времен: те же екатерининские версты в 750 сажен, те же полуразрушенные клоповники-этапки за забором из палей, те же специфические нравы.

Июльское солнце пекло по-забайкальски, обжигая кожу до волдырей. Мы шли степью и тайгой. Конвой, убедившись, что партия «порядочная», т.-е. в ней нет никаких особо страшных преступников, что, повидимому, опасаться бунтов и побегов не приходится, повел нас без особой суровости, и за первые дни нашего тракта мы, действительно, отдохнули душой и телом от двадцатидвухдневного путешествия в вагоне.

Мы выходили на расовете; последние звезды гасли на небе, и солнце поднималось из-за холмов на востоке. Степи оживлялись на наших глазах; быстро высыхала роса. И к полудню, отмахав больше полпути, мы делали привал где-нибудь у реки. Великолепный отдых на траве, иногда купанье; мужчины разводят костры, приготовляется нехитрое варево из принесенных крестьянами продуктов; пьем чай, угощаемся голубицей, набранной на дороге; засыпаем ненадолго — и, освеженные, снова пускаемся в дорогу. Все буквально ожили от воздуха, света, простора, которых ли-

---

[1] Две семьи Бронштейн чрезвычайно много делали для Нерчинской политической каторги, снабжая партии полушубками, валенками, продуктами, давая приют и помощь многим преследуемым и нуждающимся революционерам. Лию Борисовну ссылали в Якутку, держали в тюрьме, хотя непосредственного участия в революционной работе она не принимала.

шены были уже многие месяцы и с которыми прощались теперь на многие годы, а некоторые—навсегда.

Тягостны были только короткие ночевки. По приходе—надо натаскать воды, вскипятить куб, подлечить натертые неудобной обувью и кандалами ноги. Клопы и теснота не сразу дадут уснуть, а чуть светает — надо вставать... В дороге мы были все время в полной власти конвоя со «старшим» во главе, и все наше благосостояние зависело от того, в каком настроении были солдаты и, главным образом, старший. Положение женщин (нас было трое: Данилушкина, пожилая Селифантьева—за поджог и я), конечно, очень осложнялось,—особенно в тех этапках, где женщин помещали отдельно от мужчин и где нам много и основательно приходилось внушать солдатам, что мы «не такие», и с трудом отделываться от их ухаживаний. Обычно в женское помещение, в качестве «бесполых» существ, подбрасывали «боящихся» или «боящих», как их называли солдаты и арестанты. Это были легавые тюремные доносчики. Они боялись мести товарищей. В дороге их положение было очень опасно, и конвойным вменялось в обязанность беречь их и изолировать на ночь от остальных арестантов. В нашей партии их было двое. Это были каторжные вдвойне. Их презирало и третировало начальство, и со стороны арестантов они были обречены. Помню, при приеме партии офицером, они бросились к его ногам, обнимая его сапоги. Он оттолкнул их ногой с отвращением. Когда их впускали к нам, они занимали место где-нибудь в углу, всячески старались нам не мешать, беспрерывно извинялись за беспокойство. Смотреть на них было невыносимо тяжело, но мысль об их гнусной роли не давала зародиться сочувствию. Под гнетом общего презрения они уже сами не считали себя людьми.

На третий день пути один из товарищей серьезно заболел. До Зерентуя нельзя было мечтать о какой-либо медицинской помощи. Его везли на телеге, и он мучительно страдал от жары, пыли и тряски. Второй шагал бледный и хмурый, ни с кем не разговаривая, а остальные двое — рыжеволосый огромный дядя, которого звали Володя, и другой худенький, подвижной, с фамилией на К.—были полны задора и бодрости и своими раскованными «больными» ногами уходили далеко вперед, рвали огромные охапки веток голубицы в придорожных кустах, боролись, смеялись, а на остановках, сидя спиной к остальным, внимательно изучали маленькую двухверстную карту местности, нарисованную на тончайшей папиросной бумаге. Они твердо решили бежать и ждали только удобного момента. Все их имущество состояло из трех рублей денег (к тому же неразменянных), иголки и этой

маленькой карты. Знакомых ближе Иркутска не было, и успех побега был более чем сомнителен. Но Володя рассказывал, что ему случалось живать в этих краях, что он хорошо знает Байкал и горы, и был он силен, как медведь. Они надеялись прожить рыбой, ягодами и где-нибудь за работу сменить одежду. Все таежные участки были точно обозначены на карте.

Пошли дожди—забайкальские июльские ливни, обращающие ручьи в бурные глубокие потоки и заливающие дороги. Путь шел все время в гору; мы безмерно уставали, вытаскивая при каждом шаге ноги из грязи, промокшие до костей, шатая почти без отдыха с утра до ночи. Нельзя было уберечь от воды даже табак и спички.

Солдатам было не легче. Они проклинали Забайкалье, нас, собственную собачью долю. Жизнь конвоиров была, действительно, немногим легче каторжной. Обреченные прожить года в страшной глуши, провожая взад и вперед партии, вечно настроенные и озлобленные против арестантов (за побеги строго отвечал караул), они ждали конца службы с не меньшим нетерпением, чем каторжник ждет конца своего тюремного срока, и утешались лишь повальным пьянством, картежом, развратом на всех стоянках с уголовными женщинами, с деревенскими девицами. По ночам, когда партия тяжело спала после дневного перехода, солдаты, разогретые водкой, в помещении, отделенном от нас досчатой перегородкой, устраивали настоящие оргии, после которых отсыпались днем на телегах, предназначенных для вещей и отдыха арестантов. Молодые, нетронутые деревенские парни через год конвойной службы становились неузнаваемыми. Но попадались и в этой развращающей обстановке крепкие, все выдерживавшие натуры, застрахованные от грязи мечтой о возвращении в родную деревню, иногда—мыслью об оставленной семье, влиянием хорошей прочитанной книги и знакомства с проходившими этапом политическими. Такие всегда льнули к политике, бывали мягче с арестантами, старались меньше браниться и сохранить человеческое достоинство.

На последней дневке нас принял довольно приличный конвой. Несколько солдат постарше задавали тон. Осенью кончался срок их службы и предстояло возвращение в деревню домой. О революционном движении в России они знали только со слов политических. Вопросы политики их сейчас живо интересовали.

Особенно запомнились мне искреннейшие разговоры с маленьким веснущатым солдатиком Шарковым. Он братски заботливо относился ко мне, жалостливо вздыхал над моей молодостью и, наконец, собравшись с духом, попросил рассказать ему «программку». Целыми днями он обмозговывал новые мысли, задавая время от

времени тот или иной вопрос, и решил записать названия книжек, которые достанет, когда вернется домой. С этим «домой» у него связывалась перспектива необычайного благополучия и радости. Все его некрасивое, славное лицо освещалось при мысли о том, что он, наконец, уедет из этой проклятой страны, от этой собачьей службы.

Вчуже становилось радостно за него.

Другой—Петров—с умным открытым лицом, какой-то весь чистенький и изящный, был много сознательнее, кое-что читал и даже определил себя как социал-демократ. К политическим он относился с огромным уважением, помнил имена многих прошедших с ним каторжан и, улыбаясь, говорил, что может-быть и сам когда-нибудь пойдет под конвоем по этой дороге.

Настал, наконец, ясный день. Солнце жарило с утра, и от одежды, не просохшей за ночь, валил пар. Грязь затвердела кочками. На следующий день к вечеру мы должны были быть в Зерентуе.

Местность была особенно хороша в этот день, небо особенно чистое; листья и травы блестели.

Володя и К. заметно волновались. К вечеру на пути—последний участок тайги. Завтра пойдет сплошная степь... На привале, лежа в высокой траве, мы тихонько обсуждали в десятый раз шансы побега. Их было так мало, что, казалось, ребята колеблются, и, когда мы двинулись, я была убеждена, что они не решатся.

После привала мы сразу почти вошли в лес. Здесь часто бывали побеги,—солдаты насторожились. Дорога—узкая, идем по четверо в ряд, в плотном кольце солдат. Кругом обступил густой молодняк—не продерешься...

Партия, которой передается напряжение солдат, шагает молча, только кандалы звенят. Проходим версты три-четыре. На дороге пестрым ковром расселась целая стая бабочек... Они, очевидно, ищут влаги в не совсем еще просохшей земле. При нашем приближении они вспархивают, поднимаются облачком, садятся нам на плечи, на лицо. Все смеются, отмахиваясь. Идем дальше; настороженность конвойных начинает ослабевать, некоторые из них отстают, садятся на телеги. И вдруг две белые фигуры отделяются от рядов и, прорвав кольцо караула, кидаются в зеленую стену и исчезают из глаз. Секунд десять партия продолжает итти по инерции, как-будто ничего не случилось; потом так же внезапно и беззвучно отделяются от цепи несколько человек и ныряют в кусты. Громовое «партия, стой!», и мы замерли, сгрудившись в жалкой, испуганной куче. Кругом—бледные, исполненные

ужаса лица арестантов, еще более бледные до неузнаваемости лица солдат... и гробовое молчание с обеих сторон.

К. меньше ростом, его не видать. Володина же белая фуражка, которую он не догадался сбросить, мелькает в зелени кустов и служит прекрасной мишенью... Первый же выстрел уложил его на месте. Его вытащили на дорогу. Мускулистое большое тело, за несколько секунд перед этим полное жизни, лежало под жаркими лучами. Раны не было видно,—только рубашка на плечах была забрызгана кровью, и мухи сразу тут же насели на кровяные пятна.

С час продолжались поиски К. Потные бледные солдаты с искаженными испугом и злобой лицами один за другим возвращались из тайги.

Володю взвалили на телегу, и в хмуром угрожающем молчании мы тронулись к этапке. Чтобы наверстать время, приходилось почти бежать, и, когда мы пришли, уже зажглись на небе звезды.

Нас втиснули в маленькое помещение,—мужчин и женщин вместе,—поставили огромную парашу; загремел засов. Разматывая портянки, перевязывая тряпками потертые ноги, голодные, переволновавшиеся арестанты перекидывались вполголоса короткими, мрачными фразами. Все сходились на том, что на следующий день, а может быть, и сегодня ночью нам предстоит жестокое избиение.

Солдаты, чтобы не нести ответственности за бежавших, могут представить дело в виде всеобщего бунта, во время которого удалось скрыться лишь одному. Приводились в пример аналогичные истории. Завтра могут быть раненые и убитые. Что бить и гнать нас будут нещадно, не сомневался никто... «И чтобы эта сволочь, политические, не смели рассуждать; подчиняться беспрекословно—иначе всем крышка»,—в этом замечании был опыт и верный инстинкт самосохранения... «Из-за политики страдаем..., а тоже за народ стоят»,—раздавались частью провокационные, частью искренние негодующие замечания. Но усталость брала свое, разговоры постепенно смолкали, и скоро слышалось уже только сонное дыхание да перешептывание совещавшихся о чем-то конвойных... Володя лежит теперь, верно, под навесом, где дрова, К. пробирается, как затравленный зверь, по тайге... У кого из них была карта? У кого деньги? Что-то будет завтра?..

Среди ночи в наше помещение ворвались с грубой бранью и криками солдаты:

— Выходи, такие-сякие, с вещами во двор!

На дворе, в темноте безлунной ночи под звездным небом, производили обыск, сыпались удары, ругательства...

— Заходи!..

Трудно было снова уснуть после этой встряски. На заре опять разбудили:

— Ну, выходи, стройся!

И опять без еды, не умывшись, партия зашагала свой последний,—коротенький, к счастью,—станок.

Теперь уже все мечтали о тюрьме, как о безопасном убежище,—только добраться бы живыми.

Первый час шли бодро, быстро, с напряженными нервами, подгоняемые зловещим молчанием солдат. Некоторые склонны были уже успокоиться насчет расправы, как откуда-то сзади раздалось неистово:

— Гони их, сукиных детей, в болото!

Под свирепыми ударами прикладов, партия свернула налево в топкое, травянистое болото. Здесь каждый шаг стоил усилий. Ноги порой погружались по колено в черную грязь, снимались и увязали коты, за потерю которых арестанта ждали в тюрьме карцер, а может быть и розги. Люди падали, спотыкались о кочки, а удары все сыпались и сыпались. Солдаты разделились на две партии: одни отдыхали, шли по дороге, ехали на телегах; другие бежали рядом с нами по болоту и били, не жалея сил, били прикладами в спину, в шею, по ногам. Далеко отстали телеги с багажом, с рыдающими Селифантьевой и Данилушкиной, с безмолвным больным товарищем и отдыхающими солдатами. На все мольбы, призывы, убеждения женщин солдаты только грубо огрызались и вновь замахивались. Я смотрела на голубоглазого Шаркова, метавшегося с искаженным лицом и занесенной винтовкой, на изящного Петрова с социал-демократическим уклоном, дико выкрикивавшего какие-то ругательства, и никак не могла соединить эти зверские лица со вчерашними—мягкими, полными достоинства и человечности.

Я попробовала заговорить с Шарковым, подойдя к телеге, когда он отдыхал после избивания.

— Что вы делаете, разве вам не жалко людей? Чем они виноваты, что те бежали?

Вначале он как-будто смирился и отвернул глаза, хмуро слушая мои увещания в течение нескольких минут.

— А нас-то они пожалели?.. Нас-то за что? О нас-то они подумали, а тоже политики... Нам теперь дисциплинарный, а ведь думали д о м о й!—сорвался его голос, и померк вспыхнувший бы-

ло сознательный и участливый свет глаз. Он кинулся с телеги и с новым остервенением стал опять бить, бить, бить...

Особенно помню фигуру пожилого высокого татарина; его почему-то били больше всех. После каждого удара в спину он падал с каким-то коротким кряканьем навзничь; его поднимали ударами сапога в лицо, и он снова бежал и снова падал. Многие были окровавлены, некоторые плевали кровью.

Наконец солдаты измучились. Мы снова вышли на дорогу, и вскоре был об'явлен привал. Мы освежили лица, напились и легли на земле.

Второй кусок пути шли медленно, останавливаясь каждый час. Избитые сидели и лежали на телегах. Конвойные молчали и не глядели на нас и друг на друга, испытывая, видно, тяжелую реакцию после бешенства.

Наконец показался Горный Зерентуй, и через час мы вошли через широко распахнутые ворота тюрьмы во двор, где за столом сидело, приготовившись к приему, тюремное начальство.

Не знаю, в каком виде представил конвой дело начальству, но на заявление партии об избиении последовал только грозный окрик.

Нескольких человек пришлось сразу же положить в больницу.

Поручение «тетушки» о цветах для Созонова я вспомнила долго спустя.

Смертельно бледный Данилушкин простился с плачущей женой, и нас троих сейчас же повели с зерентуйским конвоем дальше—в Мальцевскую женскую тюрьму, по ту сторону сопки. Оставалось пять верст.

С верхушки горы увидели мы в ямке между сопок белый квадрат заплота и несколько серых деревянных домиков за ним. Это была Мальцевка. Уже с половины склона можно было разглядеть группы белых фигур во дворе, и вскоре оттуда замахали платками, узнав, очевидно, по блестевшим на закатном солнце солдатским шашкам спускавшуюся партию.

— Это политика на кухонном крыльце встречает... Каждую среду вот так новых к себе ждут,—об'яснил, добродушно улыбаясь, конвоир.

Через 10 минут предстояла встреча с товарищами. Тут были все те, которых мы, революционная студенческая молодежь, привыкли чтить и любить заочно, — террористки 1906 — 1907 гг., старые партийные работники, чью участь разделить казалось незаслуженной честью.

Мы все в Новинках были так молоды, и каждый из нас считал себя, да и был на самом деле неопытным новичком в револю-

ции. На Нерчинской каторге—мужской и женской—были лучшие революционеры, на чьих примерах мы учились стойкости, преданности делу, чьи имена произносили с благоговением. Сердце билось взволнованно, сильно, как перед экзаменом.

Данилушкина плакала.

— Горы-то, горы, Иронька, куда же завезли нас, господи?

Синие глаза смотрели вниз, как в могилу.

Мальцевская встретила нас запросто. Пока начальник, не злой и стесняющийся политических, Павловский, разглядывал наши документы,—к решетчатому окошечку ворот то-и-дело прикладывались чьи-то любопытные лица:

— Политические есть? Как фамилия?

Без дальних церемоний нас впустили в калитку. Данилушкину и Селифантьеву надзирательница повела к уголовным, а я, не помню как, очутилась на скамье перед столом в шестой камере, где были политические.

Кто-то ставил самовар, кто-то натягивал простыню-ширму, чтобы я могла помыться с дороги, тащили ванночку, доставали из каких-то мешечков и корзинок чистое белье. Сыпался град участливых вопросов, глядели ласковые, любопытные глаза. Переход от грубых окриков, ругани, ударов, озверелых или окровавленных лиц к этой чистой обстановке нежности и заботы был так резок, что нервное напряжение последних дней прорвалось.

В воображении встало мертвое лицо Володи, фигура падающего татарина...

— Товарища убили вчера,—могла только я вымолвить и закрыла лицо руками, чтобы не расплакаться самым малодушным образом.

Мальцевская женская каторжная тюрьма представляла собою одноэтажное деревянное здание, серое и длинное, как ящерица. Своими покривившимися стенами, развалившимся крыльцом, трубами и неровными окнами она выглядела каким-то заброшенным унылым бараком.

Внутри—длинный коридор, разделенный на две части всегда закрытой дверью; ближе к выходу—три камеры уголовных, в глубине—три камеры для политических.

Вследствие тесноты, уродства стен с бугорчатой штукатуркой, безобразных окон с черными покосившимися рамами и ржавыми решетками, разнокалиберных громоздких деревянных кроватей, камеры являли вид весьма непривлекательный. В них не было ни казенного холодного порядка тюрьмы, ни уюта свободного человеческого жилья. Стремление заключенных к комфорту выражалось в том, что у каждой койки висела самодельная полочка для

книг и стояла крошечная плетеная табуретка—вольнокомандцев. Сидя на такой табуретке, заключенные занимались у своих кроватей, обращенных при помощи фанерных досок в письменный стол.

Обедали за длинным столом, за неимением посуды—по нескольку человек из одной миски.

И обстановка и питание были крайне убоги.

Первое время было трудно, но потом каждый привыкал, и часто, выбелив стены, вымыв пол и повесив какую-нибудь яркую открытку у изголовья, мы чувствовали себя даже порядочно и уютно.

Обед—всегда один и тот же—состоял из картофельной баланды; на ужин давали гречневую кашу, иногда взамен ее—латышскую, или «голубую» кашу, названную так за пристрастие к ней товарищей-латышек и голубой цвет, который она получала от железного котла. Из хлеба мы приготовляли особые тончайшие сухари, заменявшие нам пирожное...

Периоды голодания чередовались с полосами относительной сытости, когда приходили посылки, делалась «выписка» на все разрешенные 4 р. 20 к., и дежурные прибавляли к казенному столу какие-нибудь овощи, картофель, кулагу, кашу. Для больных иногда покупалось молоко, мясо, масло; обычно же их питание сводилось к общему.

В общем, по сравнению с позднейшими акатуйскими годами, питание в Мальцевской было сносно, тем более, что большая часть публики была молода и здорова и гналась, главным образом, за количеством, а не за качеством пищи.

Политических в момент моего приезда было 33 человека—«33 урода»,—как мы называли себя шутя в честь нового нашумевшего тогда произведения З. Гиппиус.

Они жили по 8—10 человек в камере, размещаясь по желанию, выбирая себе наиболее подходящих товарищей и камерный уклад.

В шестой, куда я попала, жили в этот год наши две старушки, М. В. Окушко и Т. С. Письменова, и мать с двухлетним ребенком—Роза Майденберг. Это придавало камере семейный, домашний тон.

В четвертой камере, самой светлой и чистой, всегда царили тишина, серьезность и мир.

Зато средняя, пятая, самая тесная и неуютная, со вдоль и поперек поставленными кроватями, с растянутыми на них вкривь и вкось суровыми простынями, которые отгораживали желавших уединиться от прочего суетного мира,—была «изюминкой» в нашем однообразном быту,

Здесь спорили, ссорились, мирились, вечно поднимали волнующие вопросы; отсюда шла беспощадная критика мальцевских авторитетов, здесь создавались мальцевские репутации, произносились парадоксы, вокруг которых отчаянно дебатировала потом вся тюрьма, бичевались и жестоко высмеивались наши пороки. Это, одним словом, был центр нашей общественности. Состав камер часто менялся, но каким-то образом случалось, что общий тон, камерные традиции сохранялись те же.

Несколько человек жили в околотке. Это было небольшое на 4—5 одиночек строение; к нему примыкала аптека, обслуживаемая абсолютно невежественным ротным фельдшером, который безоговорочно признавал превосходство наших медицинских познаний.

В околотке жили больные—те, кому по тем или иным причинам тяжело было многолюдство и теснота общей камеры, кому необходимо было временно повысить питание, отдохнуть нервами. В одиночках жили по-двое; с ними всегда бывал кто-нибудь из здоровых товарищей в качестве няни и уборщицы.

Первое время околоток был облечен для меня особенно привлекательной, немного таинственной дымкой. Лица, выглядывавшие из окон одиночек, казались особенно значительными, а жизнь, шедшая там, особено углубленной и серьезной.

Режима в тюрьме никакого не было. Запертые в своей половине, мы в ее пределах делали все, что хотели. Администрацию мы видели только на поверке; все неизбежные переговоры с нею у нас велись исключительно через политического старосту,—персональных об'яснений избегали даже в тех случаях, когда дело касалось отдельных лиц.

Этим достигалась большая выдержанность общей линии поведения с администрацией даже в мелочах и полнейшая в этом смысле организованность.

Но, в общем, недоразумений было мало. Высокие каменные стены с солидным караулом за ними и бесконечными горами кругом, 300 верст от железной дороги и наша «женская беспомощность» служили достаточной гарантией того, что мы не убежим, а это только и нужно было начальству в те годы. Связь наша с волей, выражавшаяся в переписке и посылках, регулировалась исключительно начальником тюрьмы и зависела от бесчисленных перемен этих начальников. В посылках мы получали почти все, что хотели и что имели возможность выслать нам родственники,—вплоть до фотографического аппарата, красок, музыкальных инструментов; переписываться же можно было лишь в пределах личного, абсолютно не касаясь общественных вопросов.

Первое время заключения всегда бывает самым тяжелым. Так и тут—после простора и движения дороги даже относительно свободное заключение чувствовалось каждым очень тяжело. Путь был кончен; напряженное ожидание нового сменилось мучительным чувством неприспособленности к заточению, невыносимым сознанием, что ничто не изменится теперь в течение долгого ряда лет; что внешних событий для нас не будет, и если жизнь цветет и шумит вдали, то до нас не долетит теперь ни один ее отголосок.

Весь мир заключен в четырех стенах. Надо суметь сделать его большим, содержательным, надо чем-то заменить широкие горизонты, деятельный простор, разнообразие знакомств и встреч. Отсутствие природы, общественной деятельности, борьбы надо компенсировать чем-то равным по значительности. Иначе жизнь и развитие пойдут назад, и выйдешь на волю духовным калекой. Почву для этой компенсации можно было найти только в среде товарищей и в мире книг. В течение многих лет этот двойной мир являлся неисчерпаемым источником жизни, радостей и заботы, но первое время приходилось либо бесконечно шагать во время прогулки вдоль каменного заплота, упорно вспоминая с необычайной яркостью выплывающие картины воли и природы, упорно мечтая о несбыточных побегах, либо писать и рвать длиннейшие письма друзьям на волю, либо решать одну за другой алгебраические и геометрические задачи, только чтобы не думать и как-нибудь убить время, а ночью—видеть яркие, удивительно реальные, вольные сны.

Совершенно не верилось, что в таком однообразии можно прожить годы...

О мальцевской жизни писать трудно именно потому, что в ней решительно ничего не происходило. Обычно мы привыкли в описании тюрем царского режима выявлять ряд страшных эпизодов, резких конфликтов, образы мрачных тюремщиков, мученичества и героизма заключенных. Женская каторга лишена кровавого драматизма мужских тюрем, а наша Мальцевская, в частности, отличалась изумительно ровной, буквально ничем не волнуемой извне жизнью. Администрация если и бывала тупа и раздражала мелочностью, то никогда не проявляла по отношению к нам особой жестокости; с надзором, представленным добродушными старухами, мы были в лучших отношениях и сами на каторге далеко не являли собою мученических, поражающих воображение фигур. Поэтому интерес в содержании мальцевской жизни—исключительно психологический, при полном отсутствии фактов и новизны.

Новыми были только—новые прочитанные книги, новые мысли и изредка новое лицо, иногда мало заметное, иногда яркое, привлекающее все взоры.

Оригинальность и сила многих женских фигур проявлялись только в мелких штрихах внутрикамерных отношений, где характер человека выдерживал тысячи испытаний и выявлялся иногда больше, чем в крупных жертвах.

Когда-нибудь более умелой рукой будет зафиксирован ряд интереснейших образов женщин-революционерок, прошедших через Мальцевку; моя задача—дать только очерк нашей обстановки и рассказать, из чего сложилась жизнь нашего небольшого коллектива.

Пришла зима с ее жестокими холодами. Здание, полусгнившее, построенное из пористого лиственничного дерева, промерзало насквозь. Пролитая на пол вода замерзала тут же. Окна покрывались слоем льда толщиною в несколько пальцев; лед был на углах, под кроватями, по стенам. Печи, старые, испорченные, едва согревали камеры до 0°, а остальное тепло мы нагоняли железной печкой, которую дежурная топила утром при вставании и вечером перед сном. Укрываться не хватало одежек. Мы жестоко мерзли ночью, мерзли днем, отогреваясь чаем (огромный ведерный самовар-«дяденька» кипел чуть ли не весь день) и беготней по двору во время прогулки на сорокаградусном морозе или по промерзшему насквозь коридору, и, хотя мысли стыли в голове, все усердно занимались: кто—лежа в кровати под одеялом и бушлатом, кто—на своей скамеечке у кровати, кто—в ледяном коридоре, который во все времена года с утра обращался в настоящую школу.

В глубине коридора, около большого образа Николая-чудотворца, наряженного в выцветшую гирлянду из бумажных цветов, анатомичка препарирует где-то раздобытого голубя; рядом изучают ассирийскую древность, сличая Рагозину с библейскими текстами. Дальше переводят «Жан-Кристофа», решают задачи, пишут под диктовку, читают группами Тэйлора, Неймайера, Дарвина. Группы меняются: переходят от одной учительницы к другой, поиному группируются ученицы. Занятия систематизированы, часы строго рассчитаны, ни одна минута не пропадает,—разве забежит кто в камеру к «дяденьке» налить кружку горячего чаю, когда уже очень проберет холод; так—до обеда. Обед с'едается обычно стоя, наспех, к великому негодованию Марии Васильевны Окушко, которая в своих ежедневных «письмах к тетеньке» (на манер Щедрина) всячески высмеивала нашу учебную лихорадку и вредное для здоровья «мгновенное проглатывание пищи». Потом неистовая прогулка по бесснежному дворику, и вновь учение—вплоть до ужина.

После вечерней поверки в запертой на ночь камере строжайшая конституция предписывает абсолютное молчание, и каждый

углубляется в свое дело, не тревожа соседей: тут и приготовление заданных учительницей на завтра уроков, и философия, и история, и перечитывание классиков,—только и слышен шелест страниц да скрип перьев.

Сосредоточенные укутанные фигуры вокруг стола, керосиновая лампа посредине... Часы идут. Мало-по-малу редеет круг читающих, стол пустеет. Огородив лампу, чтобы свет не мешал спящим, тесно прижавшись друг к другу для тепла, укутанные общим одеялом, два человека склонились над Герценом. Шептать нельзя—спят. Чтобы поделиться мыслями, надо писать—длинный лист покрывается фразами, на бумаге разворачивается целый разговор. На дворе мороз, трещат бревна, пар от дыхания стоит в воздухе; страшно высунуть из-под одеяла согревшуюся руку, а голова так чудесно работает, столько ответных мыслей вспыхивает на каждой странице герценовской исповеди, и так радостно делиться ими с таким же возбужденным и так же наслаждающимся товарищем... В эти минуты мертвой тишины, оторвавшись от чтения, с необычайной отчетливостью чувствуешь расстояние, отделяющее тебя от живого мира, могильное молчание скованных морозом сопок, степей, тайги, всю страшную изолированность нашего крошечного мирка. Возбужденная мысль поглощает все существо целиком, и, когда приходишь в себя, часы показывают четыре. Утром первое смутное воспоминание чего-то хорошего, бывшего вчера: «Ах, да, Герцен»... А вечером думаешь: «А ведь предстоит Герцен»... После поверки добросовестно садишься расшифровывать авенариусовские формулы, а когда все уснут, мы опять вдвоем за чудесной книгой. Наверное только заключенные, погребенные в далекой, совсем изолированной тюрьме, знают всю настоящую цену книги.

Книги были, конечно, главным содержанием жизни, ее оправданием, смыслом, целью. Мы получали их в достаточном количестве с воли, главным образом—научные, и подобрали небольшую, но систематическую и ценную библиотечку по разным отраслям знания. Преобладали история и философия, и совершенно отсутствовали политические и экономические науки, строго запрещенные тюремными правилами. Заманчивые книги в ярких обложках 1905 г., попавшие в тюрьму во время свобод, были сложены в огромную корзину, принадлежавшую некогда Гершуни, с большой черной надписью «Гершуни» на крышке, и снесены в цейхгауз.

Редко попадала к нам и новая художественная литература. Классики, русские и иностранные, перечитывались и переживались заново (особенно Достоевский). Приходили альманахи—«Шипов-

ник», «Земля», «Знание» и др. Был весь вышедший к тому времени Ромен Роллан по-французски.

Большую сенсацию производили всегда новые вещи Л. Андреева—«Проклятие зверя», «Мои записки», «Тьма». Вокруг них возникали горячие споры, высказывались с большим задором отчаянные ереси, заставлявшие правоверных перевооружаться, наново обдумывать принятые за аксиому верования, подыскивать более основательные аргументы к казавшимся неопровержимыми положениям.

В книгах открывался новый огромный мир идей, блестяще аргументировались и художественно развивались положения, противоречащие всему нашему складу мыслей, пестрели неразрешенные вопросы.

Для всех, кто начинал серьезно заниматься и думать, ясной становилась необходимость пересмотреть весь свой духовный багаж, продумать все с самого начала и серьезно и добросовестно, камень за камнем, воздвигать незыблемый фундамент для своего мировоззрения.

Все мы, молодежь, пошли в революцию, инстинктивно захваченные волною движения; на воле все теории складывались в голове наспех, для непосредственного практического применения; зачастую та или иная партийная принадлежность обусловливалась случайными знакомствами, влиянием друзей, ближайшей средой. В этом смысле наше поколение каторжанок, конечно, значительно отличалось от прежних героических одиночек, которые с трудом самостоятельно выбились на революционный путь, вопреки всему окружающему.

К чести нашей, однако, надо сказать, что мы глубоко сознавали свою неподготовленность. В высшей степени дурным тоном считалось какое-нибудь безапелляционное суждение. Малая его обоснованность сразу выводилась на чистую воду. В стремлении обосноваться, в умственных и моральных поисках, выдвинута была вся артиллерия идеологических противников.

Прочитывались и изучались Ницше, Достоевский, библия, индусская философия, Вл. Соловьев, Метерлинк, Паскаль, сектанты, читали Льва Толстого, Мережковского. Все это было очень интересно, рисовало вещи с другой стороны и заставляло работать мысль. Только тот получал патент на право называть себя убежденным социалистом и атеистом, кто не споткнулся ни об один камень метафизики и, мало того, кто в личной жизни проводил принцип до конца, со всеми вытекающими из него последствиями.

Надо сказать, что серьезное, почти порабощающее влияние из всего перечисленного имел только Достоевский, у которого были

свои фанатики и который многим стоил бессонных ночей и внутренних драм. Но и Достоевский для каждой прошел полосой. В общем же, конечно, господствовал позитивизм, стремление к положительным знаниям, добросовестная, беспретенциозная учеба. Надо было спешить узнать побольше, чтобы лучше, правильнее жить и бороться на воле. Это особенно относилось к малосрочным.

Насчет вопросов общежития, товарищеской и революционной морали тоже приходилось проверять себя с азбуки и практически разрешать проблему «личности и общества» в камерном быту.

Непрерывная в течение многих лет общая камера, необходимость быть всегда на людях, жить по регламенту, молчать и говорить не тогда, когда тебе этого хочется, а когда требует «конституция», т.-е. устав жизни, принятый каждой камерой по общему соглашению, беспрерывно, ежечасно подчинять свои желания общим, не давать воли настроениям, обуздывать для других самые невинные и элементарные потребности,—все это порождало иногда инстинктивный протест в наиболее активных натурах. Человек раз в год пришел в хорошее настроение: он весел, полон возбуждающих мыслей—хочется петь, болтать с товарищами, смеяться; но весь столь редкий и освежающий порыв замирает, гаснет в вынужденном молчании...

Две фигуры шепчутся в темном углу: чья-то одинокая душа раскрылась сегодня навстречу другой. Говорится так, как, может быть, не будет говориться больше никогда... И вдруг раздается упрек занимающегося у стола:

— Товарищи, конституция! Ваш шопот не дает заниматься.

Сконфуженные собеседники расходятся.

С течением времени вырабатывалась, конечно, взаимная приспособляемость, и взаимоотношения личности и коллектива становились все более гармоничными. Это происходило, главным образом, потому, что тюремная жизнь настраивала всех приблизительно на один и тот же лад молчаливости и сосредоточенности; вольные индивидуальные порывы становились все более редки и никому не запрещались,—наоборот, приветствовались, как освежающая струя; это особенно относится к последнему акатуйскому периоду нашей жизни. В общем можно констатировать, что тюрьма, общая камера почти во всех убивали непосредственность, тем более, что аналитический бес подвергал самому тщательному разбору и критике всякий шаг, всякий самый простой и естественный поступок товарища.

«Ты помогаешь мне в работе, уступаешь мне свой кусок—думаешь, хорошо делаешь? А нет ли тут остатков гнилой, лицемерной филантропии, унижающей товарища, а может быть, и жела-

ния возвыситься в общем и своем собственном мнении? Почему же ты другому не позволяешь сделать для тебя того же? Значит, ты считаешь себя сильнее, выше, благороднее».

Слово было найдено, и всякое проявление добродетели клеймилось одно время словом «благородство», с соответствующими производными глаголами и прилагательными, произносимыми в презрительных кавычках. Наиболее задорные и прямолинейные для того, чтобы ярче подчеркнуть свое презрение к «благородству», возводили в принцип и проявляли намеренное «неблагородство», что выходило очень забавно и никого не вводило в заблуждение относительно истинной подкладки того или иного поступка.

Всякое индивидуальное геройство, из ряда вон выходящий поступок, всякий признанный, окруженный ореолом подвиг вновь проверялся с точки зрения его чистоты. Не было ли в нем элемента тонкого тщеславия, какого-нибудь личного, весьма неуловимого и неосознанного мотива? Никакое имя, никакой авторитет не ускользали от анализа. Тут бывало много драм, разочарований, много произносилось неосторожных приговоров.

Во всем этом сказывался здоровый молодой задор, прямолинейность, страстность в поисках абсолютной моральной чистоты— и, с другой стороны, болезненное копание в себе, вызванное затворничеством.

Убивалась часто непосредственность, но зато никакой пошлости, самоуверенности, мелким самолюбиям, лицемерию не было житья в нашей маленькой общине. Она во многих из нас воспитала умственную добросовестность и критическое отношение к мнениям и людям, а также терпимость к чужому искреннему убеждению.

Коррективом к этому рационализму могла бы послужить работа, но ее, кроме самообслуживания, не было никакой.

Мы усердно мыли, скоблили, белили, устраивали грандиозные стирки, от которых с непривычки уставали до смерти, с увлечением дежурили,—но это, конечно, совершенно не могло удовлетворить нашей потребности в целесообразном производительном труде и движении. Впоследствии мы были «вознаграждены» с избытком в этом отношении.

Второй половиной нашего мира были наши взаимоотношения. Интерес друг к другу не ослабевал, а, кажется, рос с годами, хотя состав заключенных менялся мало: 4—5 новеньких в год, а потом—и того меньше. А уж как мы ждали этих новеньких! Каждую среду с крыльца кухни, откуда видна была Зерентуйская дорога до самого верха горы, мы ждали по вечерам партию, и, если судьба

посылала нам нового человека, общая радость не знала пределов. Камеры спорили из-за удовольствия принять новичка у себя. Была даже установлена для справедливости очередь. Целый месяц новенькая бывала предметом самого назойливого внимания и любопытства. Она приносила нам «свежие» новости, которым бывало по многу месяцев отроду, так как прежде, чем попасть к нам, нужно было вдоволь насидеться в разных пересылках и этапках; но все же только через новеньких нам удавалось получать кое-какие сведения о настроениях на воле, о партийной работе, о заключенных близких товарищах, о жизни в других тюрьмах. Кроме того, каждый новый человек был ценен сам по себе, вносил свою нотку в общую жизнь, обогащал ее собою.

Партийный, социальный, даже национальный (русские, еврейки, латышки, грузинки, польки) состав заключенных был очень пестрый.

Главное ядро у нас, как и по всей, впрочем, царской каторге, составляли с.-р.; за все время перебывало человек 9—10 с.-д., вдвое больше анархисток, две максималистки. Надо сказать, что политические вопросы, могущие создать групповой и фракционный антагонизм в нашей среде, насколько я помню, не возбуждались вовсе.

Страшно обострившаяся на воле между с.-р. и с.-д. полемика по аграрному вопросу, в которой мы, конечно, тоже принимали горячее участие, когда были на воле, не поднималась у нас никогда, потому что общеупотребительная цепь аргументов, принятая с той и другой стороны во враждебных спорах, была слишком хорошо известна и давно исчерпана, а материала для серьезного изучения вопроса у нас не было.

Вообще легковесное оружие полемических уколов и передергиваний, такое употребительное в политической практике, было тогда противно. Политические разговоры тогда совсем смолкли, тем более, что ни одна весточка с воли не питала их. Росла, углублялась ненависть к режиму; при каждой вести о каком-нибудь новом тюремном насилии крепла воля к будущей борьбе; конечно, только мыслью о ней стимулировалась жизнь,—но это было «подразумеваемое», о котором мало говорилось, как о само собою разумеющемся...

Общего в психическом укладе у всех нас было достаточно, и фракционность совсем не отразилась на внутренних отношениях и группировках заключенных.

То же можно сказать и о социальном составе тюрьмы, как ни был он разнообразен.

Общий быт, а главное, общая социалистическая идеология,— совершенно нивеллировали всех членов коммуны. Все остатки избалованности, барских привычек были окончательно забыты. Жизнь на принципах полнейшей социализации всего нашего имущества, где никто не знал и не интересовался тем, кто получает, кто не получает денег и посылок, где все шло в общий котел, в бесконтрольное и полное распоряжение «экономического» старосты, не давала пищи никаким неловкостям и обидам. Та же социализация проводилась и в области духовных богатств. Книги, конечно, являлись общим достоянием, без малейших отсюда отступлений. Общим достоянием должны были стать и знания, неравномерно распределенные на воле между нами. Те, кому в жизни посчастливилось получить их больше, отдавали большую часть своего времени на занятия с менее знающими.

Сколько я ни напрягаю память, я не вспоминаю в мальцевской, не говоря уже о дальнейшей акатуйской жизни, никаких шероховатостей на почве социального неравенства. В этом смысле наше общежитие представляло собой уголок будущей общественной жизни.

Эта почти полная свобода от обывательщины, абсолютное уничтожение всех общественных перегородок, разделявших людей на воле, расчистили почву для роста особенно чистых, близких товарищеских отношений на почве общих умственных интересов, увлечений, дружбы, горячей и серьезной, какая редко расцветает на воле.

Насмешливый бес подобрался, конечно, и сюда, беззастенчиво высмеивая всякую тень сентиментальности, клеймя именем «мочальства» всякое выпячивание исключительных привязанностей в ущерб товариществу, коллективу, одергивая всякие чувствительные проявления. Ценность человека, как и ценность книги, бесконечно подчеркивалась тюрьмой. Сколько может дать человек человеку, удалось многим из нас изведать только благодаря каторге.

Как колючие кустарники в пустыне научаются извлекать необходимую влагу из песка и камней, так в психике долго сидящих в тюрьме людей вырабатывается способность извлекать красоту и гармонию там, где для вольного, сытого взгляда они незаметны. Я помню, какое огромное наслаждение находили мы иногда в обыкновеннейших видовых открытках, как наслаждались, выделывая искусственные бумажные цветы, каждым удачным розаном, каким изумительно мелодичным казался звук задетой струны нашей полуигрушечной цитры. Там же, где к нам прони-

кало действительно красивое,—настоящие цветы, настоящая музыка, хорошая гравюра,—оно действовало потрясающе, до боли.

Между ужином и поверкой мы обычно гуляли по запертому коридору. Не хотелось заходить в камеру, которую сейчас закроют на ночь. Эти сумеречные часы были всегда как-то особенно интимно окрашены. Тут завязывались самые интересные разговоры, лучше всего мечталось, думалось в одиночку. Иногда, очень редко, одна из наших—единственная наша певица—пела нам грустные и красивые вещи. У нее был удивительно красивый по тембру, сильный, полный страстной выразительности голос и исключительно хороший, серьезный репертуар. Иногда, вдохновленная нашим напряженным вниманием, сумерками, собственной тоской, она увлекалась сама и захватывала нас целиком. Резкий крик «поверка!» нарушал очарование. Песня обрывалась на полуслове. Это ощущалось каждый раз, как оскорбление...

После бесконечной зимы приходила бурная забайкальская весна с ее ветрами и журчанием весенних потоков, стекающих с гор. Высунешь ночью голову в форточку—и слушаешь-слушаешь шум падающих вод. Стечет вода—начинаются пали. Крестьяне жгут прошлогоднюю траву, чтобы лучше росла новая. При этом, конечно, загораются кустарники и леса. Эффектные огненные ручьи бегут по сопкам, воздух наполняется ароматным дымом, и ночью луна багряно светит сквозь дымную завесу. Сначала горы одеваются нежно-голубым и лиловым ковром ургуя, потом вспыхивают розовыми цветами богульника. За ними чередой покрывают склоны красными и белыми пятнами «марьины коренья» (пионы), огненные саранки, лилии и, наконец, осень одевает кусты и травы в свои цвета. Чередуются и запахи: нежный, бесподобный запах распускающихся лиственниц, смолистый запах богульника и пр. Так, отгороженная от нас высокой стеной, природа все же проникает к нам и держит нас звуками, красками, ароматами в курсе всех творящихся в степи и тайге дел...

Первые годы все это дразнило и мучило. Вернешься после прогулки в камеру, уткнешься носом в подушку—и долго приводишь свои чувства в порядок. Позднее все, что давала природа, воспринималось спокойно, благодарно... У себя во дворе мы тоже пытались завести «природу». Под окнами околотка был разбит маленький, но очень красивый цветник, из которого мы извлекали удовольствия не меньше, чем вольные люди из роскошных парков и цветущих садов. Цветник разрешили, зато каждая свободно выросшая на каменистой почве травка выскребалась беспощадно, и двор был совершенно обнажен. Раз мы засеяли квадратную сажень рожью вперемежку с васильками и маком. Она пышно

взошла и собиралась уже цвести. В одно прекрасное утро мы застали ее срытой, уничтоженной до основания. Также почему-то преследовались и животные. Повадилась было лазить через каменную канавку под заплотом голодная собака,—но ее зарубили на наших глазах лопатами надзиратели. Она пришла с воли и казалась подозрительной.

Вообще с воли никто к нам не приходил. Огромным, поэтому, событием бывали редчайшие приезды родных. С громадным трудом добивались разрешения в'ехать в район каторги, и, потратив массу усилий, проехав много тысяч верст, получали всего лишь 2—3 свидания матери, мужья, братья.

Через год после моего заключения приехала моя мать. Она поселилась в Александровском заводе и приезжала за 20 верст каждое воскресенье, укутанная в несколько шуб, натруженная передачей. Все приезжие делались общим достоянием. Вся тюрьма волновалась в ожидании гостей, вся тюрьма переживала впечатления свидания, мельчайшие подробности о которых передавались всем товарищам. Свидания происходили в крошечной привратницкой за воротами, в присутствии старшего или начальника тюрьмы, и содержание разговора было строго ограничено «домашними делами». Общественных тем нельзя было касаться даже намеками.

Наша изоляция была бы еще более полной, если бы не связь с Горным Зерентуем. Группа товарищей,—первая шестерка [1], сидевшая еще вместе (6 месяцев) с мужчинами в Акатуе, и другие, имевшие там сопроцессников и знакомых,—вела с зерентуйцами интенсивную переписку через уголовных, и, конечно, известная доля этой переписки становилась общим достоянием. Мы всегда были в курсе зерентуйских дел, и бурной внутренней жизни, совсем не похожей на нашу, и всевозможных перипетий их внешней политики.

Иногда в переписке возбуждались теоретические споры, и я помню ряд писем Е. Созонова о Савинковском «Коне бледном», прочитанных вслух. В общем, если бы зерентуйцев перевели куда-нибудь, в нашей жизни сразу обнаружилась бы заметная пустота...

Под одной кровлей с нашей протекала совсем иная, мрачная, ничем не украшенная жизнь уголовных. По сравнению с Бутырской башней, здесь был, конечно, рай. Работа—летом на огородах и в поле, зимой вязанье варежек—была не слишком тяжелой.

---

[1] М. Спиридонова, А. Измайлович, А. Биценко, М. Школьник, Л. Езерская и Фиалка. Ред.

Питание, скудное, правда, но все же здоровое, летом улучшалось, благодаря овощам и ягодам, которые женщины приносили из-за стен.

Но изоляция, которая переносилась нами сравнительно легко, для уголовных была худшей пыткой. «Завезли нас за высокие горы, и света божьего мы тут не видим»,—писали тульские, рязанские, самарские крестьянки письма родным. Крестьянки, сосланные за убийство мужей, поджоги и всякие иные деревенские преступления, составляли 80% и больше и определяли собой состав каторжной массы, а родные писали редко, забывали, как забывают покойника, и мало-по-малу человек оставался один—без опоры, без надежды, выбитый из привычного уклада, ничем не утешаемый.

Стиснутые на нарах (в камере, кроме нар, не было никакой мебели), на 50% больные—они жили только ожиданием писем, мыслями о покинутой семье, мечтой о манифесте; затем либо озлоблялись и развращались под влиянием настоящих бывалых уголовных, либо смирялись в тупой покорности.

Об уголовной женской каторге, кажется, никто никогда не писал, а она представляет явление, заслуживающее внимания не только криминалиста, но, главным образом, как яркое отражение условий быта дореволюционной деревни. В Мальцевской были пожилые женщины, считавшие свою каторжную жизнь раем по сравнению с тем, как они жили на воле... Об уголовной каторге надо писать тому, кто хорошо знает ее и сумеет передать весь ее трагизм. Я упоминаю об уголовных лишь постольку, поскольку наши жизни, протекавшие рядом, не могли не соприкасаться. Если бы не безусловное запрещение сношений между политиками и уголовными, которое проводилось у нас довольно строго, мы, конечно, проникли бы к ним с книгой и культурным влиянием, и это обогатило бы жизнь и их, и нашу.

Вначале возникла было школа грамоты; но она очень скоро была запрещена, и с тех пор наши отношения поневоле ограничивались филантропией.

Мы старались лечить их по мере сил и знаний, так как медицинской помощи для уголовных уж никакой не было; делали всякие массажи, компрессы и т. п. (выхлопотав соответствующее разрешение или пользуясь попустительством надзирательниц); старались материально помочь самым нуждающимся и больным, давали им бумагу и марки и всегда писали им (почти поголовно неграмотным) письма домой.

Все это делало нас по отношению к уголовным женщинам «барышнями» и «барынями», к которым они относились с деревенской почтительностью, благодарностью и ставили нас в фаль-

шивое по отношению к ним положение. Это был как бы постоянный стыд нашей жизни, сознаваемый каждой из нас, но от которого уйти некуда было, так как это могло создать опасный прецедент в смысле уничтожения корпорации политических, как таковых, что уже было проведено в российских централах и что в пору репрессий было впоследствии проведено и на Нерчинской каторге.

Если что и было серьезного и ценного в этой области, так это работа А. Измайлович с детьми, которую она вела при помощи одного товарища упорно и успешно в течение нескольких лет.

В первой «детской» камере было много ребят, начиная с грудных и кончая старшим, дошкольным возрастом.

В спертом воздухе, обсыпанные насекомыми, вечно избитые, часто развращаемые чуть ли не с трехлетнего возраста, они копошились на нарах и под нарами, всем мешали, раздражали матерей, которые все горе и обиды срывали на них.

Конечно, большим и нужным делом было извлечь на свежий воздух этих малышей, придать им человеческий вид, накормить, занять, а старших научить грамоте.

Летом с раннего утра до вечерней поверки А. И., загорелая, как сапог, стриженая, в какой-то доисторической толстой юбке по колена, возилась на самом пекле со своей голой загорелой командой.

Цветник весь обрабатывался и поливался детскими руками. Играли в тени забора, купались в нагретой на солнце в деревянных ванночках воде, рылись в песке, делали гимнастику, слушали сказки—словом, проводили время здорово и весело. Зимой дело было хуже. Старшенькие толкались у нас в коридоре с мешечками, где у каждого была азбука, а по воскресеньям очередная камера освобождалась под детские игры на целый день. Выносились койки, изгонялась публика, и камера обращалась в детский сад. Происходило торжественное чаепитие с молоком и белым хлебом, пение, игры—и лишь к поверке они уходили в свою камеру, нагруженные кулечками с белым хлебом и сахаром. Два раза, тайно от начальника, нам удалось поставить спектакли: детский—басни в лицах, сценки, декламации—в уголовной камере, и спектакль для взрослых—у себя.

Спектакль состоял из ряда общепонятных сценок из Гоголя и Островского. Сюда же наши артисты вставили «Смерть Оле» из «Пер Гюнта», сюиту Грига исполняли голосом. К нашему общему удивлению, эту сцену заставили повторить, и часто уголовные вспоминали потом, «как мать умирает».

Из таких элементов складывалась наша жизнь. Чередовались полосы тоски и возбуждения, беспричинного ожидания хороших перемен и спокойного сознания предстоящей еще долгой, долгой скуки.

Иногда всю тюрьму охватывала тревога за какого-нибудь серьезно заболевшего товарища.

Каких только болезней не было у нас: астма, эпилепсия, активный туберкулез, невралгия, слепота, острые желудочные заболевания. Врач Рогалев приезжал из Горного Зерентуя в очень редких случаях, и единственным медицинским работником была у нас, наш же заключенный товарищ, фельдшерица Сарра Наумовна Данциг. Сама она умерла почти тотчас же после революции, возвратившись из Сибири, от запущенной в каторге тяжелой болезни.

Ее благородный грустный облик запечатлелся в душе дорогим воспоминанием. Многим из нас она согрела и украсила жизнь тонкой добротой и нежной заботой. Совсем молодая еще, она, благодаря сдержанности, степенности, казалась старше, чем была, а, может быть, еще и потому, что ее отношения к товарищам бывали всегда окрашены материнским бескорыстием. Она никогда не говорила о себе, ничего не рассказывала о своей личной жизни, не упоминала о своей смертельной болезни и всегда была целиком отдана нуждам, недомоганию и горю других.

Ее помощь всем казалась естественной, а ровное, разумное и мягкое отношение заставляло забывать, что она обречена. Только в области принципиальных вопросов, касавшихся революционной и тюремной морали, в ней проявлялась какая-то суровая нетерпимость.

Она не спорила, не убеждала, но резко рвала с самыми любимыми.

Несмотря на обилие больных, смертных случаев в Мальцевской среди нас не было.

Так невозмутимо дожили мы до осени 1910 года.

В ноябре тяжелой грозой пронеслись над Нерчинской каторгой зерентуйские события, унесшие Созонова и других товарищей.

О сгущавшихся над Горным Зерентуем тучах мы узнали от лечившихся в зерентуйской больнице М. Ш., переведенной туда для операции, и П. М., которая жила с ней в качестве сестры милосердия. С ними мы вели все время нелегальную переписку и от них узнали о предполагаемом приезде Высоцкого и о толках по этому поводу. Повеяло недобрым—обычный ход жизни резко нарушился, все мысли в бессильной тревоге сосредоточились вокруг

судьбы зерентуйцев. А там каждый шаг приносил новое, и по коротеньким записочкам Павлы видно было, что атмосфера сгустилась до предела.

После полученной утром записки об обходе Высоцким камер мы целый день ждали худшего, и, действительно, к вечеру после поверки рука надзирательницы протянула в волчок смятую коротккую записку, где уже перечислялись имена погибших.

Подробности катастрофы мы узнали позднее.

Что пережила вся тюрьма и каждый в отдельности, рассказать я не сумею. Это были очень страшные и очень тяжелые дни.

Первая мысль—мысль о протесте—отпадала сразу же. Достойно реагировать на происшедшее можно было только массовым самоубийством, но после жертвы Созонова, резко оборвавшей издевательства, оно было бы практически бесцельным и только увеличило бы на радость правительству список выбывших из строя врагов.

Этот вопрос даже не обсуждался коллективно, но я ясно помню кем-то укоризненно произнесенную фразу—«Хороший памятник воздвигли бы мы им этой новой гекатомбой!»—когда молодой товарищ заговорил о позоре жить после того, что произошло в Горном Зерентуе. В еще только формировавшейся тогда молодой психике зерентуйские события оставили неизгладимый выжженный след.

Весной прекратилось наше благополучное существование. В общей перетасовке заключенных, начавшейся после смерти Созонова, женщин весной перевели в Акатуй.

Романтическая мальцевская юность уступила место суровому трудовому и еще гораздо более замкнутому акатуйскому совершеннолетию.

П. Ф. Меттер

СТРАНИЧКА ПРОШЛОГО

В последних числах апреля 1907 года я и моя сопроцессница А. Ф. Тиавайс прибыли в Читу, областной город Нерчинского округа. Поезд стоял часа два на вокзале. Перед нашим вагоном стояла группа людей—женщин, детей; между ними была пожилая женщина. Она пыталась подойти к нашему вагону, хотела сказать или спросить нас о чем-то, но часовой отгонял ее и грозил прикладом. Вдруг к нам в вагон привели молодую девушку с большими черными живыми глазами. Энергичная, подвижная по своему темпераменту, она засыпала нас вопросами: откуда мы, сколько сроку и так далее. Это была Зина Бронштейн. Расспросив нас, она подошла к окну и заволновалась, так как ее мать и прочих провожавших ее часовой прогонял с платформы. Зина сказала, что ее мать—Лия Борисовна—хочет добиться того, чтобы ее арестовали и затем вместе с нами итти этапом до самой Мальцевской тюрьмы.

В это время к нам пришел на цыпочках конвойный офицер и шопотом сказал, что в нашем вагоне едет генерал Ренненкампф, производивший зверскую расправу над железнодорожными рабочими, бастовавшими в то время по всей железнодорожной линии. Он повесил восемь рабочих на пригорке близ города на глазах всего городского населения. Было видно, что эта казнь так терроризировала город Читу, что имя этого зверя наводило ужас на простых обывателей, а на военных тем более, как ему подчиненных. Офицер сказал, что Лию Борисовну не только не пустят с нами ехать в одном вагоне, но что она и в наш поезд не попадет. Вся наша партия (с нами шли только уголовные), как и конвой, говорила шопотом, боялась вставать с места. Так мы ехали до г. Сретенска, где кончалась железная дорога и начинался пеший тракт. Лию Борисовну мы увидели на следующий

день, когда отошли верст двадцать от Сретенска. С большим трудом она попала в последний вагон нашего поезда, доехала до Сретенска, там взяла лошадей и уехала ночью какой-то окольной дорогой,—чтобы не попасть на глаза зверю Ренненкампфу,—в деревню, через которую мы должны были пройти. Лия Борисовна боялась за нас, так как в нашей партии не было политических, с одной стороны; с другой—перед нашей партией шла в Мальцевскую тюрьму Верочка Штольтерфот, и с ней была история с конвоем. Мы шли пешком, Лия Борисовна местами, где ее подпускал к нам конвой, шла с нами, остальное время ехала на лошади, которая была нагружена корзинами, ящиками с передачей для всей тюрьмы. На некоторых этапах Зине давали свидания с матерью, но только там, где не было офицера: конвой это делал нелегально. На привалах, которые делались нам в половине станка, Лия Борисовна нам приносила из деревни молока, калачей — все, что можно было купить на скорую руку для нашей партии, а также и для конвоя.

Конвой шел с нами грубый, невежественный, сознательных не было ни одного человека. На первой полуэтапке [1] конвой не подпускал Лию Борисовну даже к ограде; она уехала дальше, должно быть, в ближайшую деревню. На следующий день мы думали, что она уехала обратно в Читу, так как мы не встретили ее за всю дорогу. Думали, что ей запретили ехать следом за нами.

Была ранняя весна. Цвели ургульки, душистый сибирский богульник, распускалась ароматная сибирская лиственница. Хотелось больше и больше вдохнуть свежего, ароматного весеннего воздуха после душных этапок и арестантских вагонов, в которых мы ехали около двух месяцев. Жизни и энергии было много, не чувствовалось даже усталости от пройденных за день 30—40 верст, не хотелось думать о том, что ждет нас там, куда мы идем. Зина с присущей ей живостью говорила много, рассказывала, что она знает некоторых каторжанок, которые ушли уже в Мальцевскую.

Ко второй полуэтапке мы пришли, когда было уже темно. Нас троих поместили в маленькую каморочку; за перегородкой, не доходившей до потолка, находилось караульное помещение. Уголовных мужчин поместили в другую половину, далеко от нас. После чая нас выпустили на двор за парашей. У ворот стоял часовой и говорил с кем-то. Зина узнала голос своей матери.

---

[1] Полуэтапками называются те этапки, где нет конвойного начальства, барак стоит обыкновенно версты две не доезжая деревни или за деревней.

Она просила передать нам передачу и деньги. Ни передачи, ни денег мы не получили, а на эти деньги конвой напился пьяный. Нас не замкнули, и солдаты приходили к нам с разговорами. Зина все порывалась ответить им резко, а мы с Аустрой ее одергивали, боясь озлобить пьяных солдат. Они заводили разговоры на тему: зачем нам ехать на каторгу, мы-де все молодые, вышли бы замуж за солдата и получили бы права. (Был такой закон раньше на Сахалине, что если каторжанка выходила замуж за солдата, то ей возвращались крестьянские права). Мы решили вызвать старшего конвоира и спросить, почему нас не замыкают. Пришел старший, нас запер и положил ключ в карман. Мы успокоились. Через перегородку мы услышали, что группа конвоиров во главе со старшим ушла гулять в деревню; оставшиеся же солдаты продолжали пьянствовать, пели крикливыми пьяными голосами, ругались и безобразничали. Глубокой ночью мы услышали, как они стали собираться перелезать через перегородку к нам. Мы сжались в уголке на нарах, тесно друг к дружке, пришли в отчаяние. Кричать было бесполезно, барак далеко за деревней, ни души кругом, уголовные и те были далеко от нас. Зина положила около себя, вытащив из-под нар, обгорелое полено. Было жутко и смешно самим над собой и над своей беззащитностью, с этим рядом лежащим поленом. Но вдруг мы услышали ругань сменившегося с поста подворотного конвоира: «Ходит, как тень, вокруг забора, старый чорт! Хотел пристрелить, да чорт ее знает, отвечать придется. Знатная видно. Вон, чего на возу везет, видно, тем крамолам в тюрьму».

Солдаты притихли и перестали двигать нето стол, нето скамейку к нашей стене. Они, должно быть, струсили, почуяв, что где-то за стеной есть свободный человек, который чутко прислушивался в эту темную ночь к тому, как в отчаянии бились наши сердца. Скоро пьяные и усталые солдаты захрапели. Начало уже рассветать.

На следующей этапке мы встретили большую партию уголовных, человек 70. Их гнали на работу на какие-то прииска. Уголовных всех поместили в одну камеру, набив ее ими, как сельдями бочку. С ними шла одна уголовная женщина; ее поместили к нам в отдельную маленькую каморку. Она направлялась на работу в прислуги к какому-то начальнику. Напившись чаю, уставшие от дороги и от предыдущей ночи, мы легли спать и заснули крепким сном. Ночью мы проснулись от выстрела. Соскочив с нар, мы бросились к дверям, к волчку; в коридоре суетились конвоиры. Мы пытались узнать о происходящем, но к нашему окошечку никто не подходил, и мы ничего не узнали. Утром, когда

мы выходили за кипятком, у котла стоял часовой и пропускал по очереди за горячей водой.

Дорогой уголовные мужчины нам рассказали ночную историю. Уголовные хотели ночью разобрать перегородку, отгораживавшую нас от них, и забраться к нам. Одни были против, а другие — за. На этой почве поднялась ссора и драка, в ответ на что часовой, стоявший на посту, начал стрелять. Утром один лагерь хотел отомстить другому, и насыпали какой-то отравы в кипяток, но так как обыкновенно у уголовных всякая организация проваливается из-за «легавых»[1], то дело дошло до начальства, которое распорядилось поставить у котла часового.

Остальная часть дороги была без особых приключений. Стали подходить к Горному Зерентую. Из окон второго этажа товарищи махали красными платочками, доносились звуки марсельезы. Настроение изменилось у всех: кругом пробуждающаяся весна, а перед нами стояла грозная, мрачная тюрьма. В ней погибало столько молодых борцов, стремящихся к жизни, воле и борьбе.

Партия подошла к конторе тюрьмы, откуда мы услышали бодрые голоса товарищей. Они шли из конторы в тюрьму с полученной посылкой или выпиской. Они перебросились на ходу с нами несколькими словами, предложили нам чаю и еды, но мы отказались, так как конвой сказал, что мы пойдем дальше в женскую тюрьму, находящуюся в пяти верстах отсюда.

К Мальцевке мы подошли, когда было уже темно. Старший надзиратель, принявший нас, повел нас в тюрьму. Мы вошли в ограду тюрьмы; за нами захлопнулись большие тяжелые ворота. От этого стука в душе, словно эхо, прозвучало: прощай жизнь и свобода на долгие годы. За захлопнувшимися воротами осталась весна, лес, поля, товарищи, демонстрации, которыми нас встречали и провожали, когда мы в арестантских вагонах проезжали через всю Россию. Глаза мои уперлись в длинный деревянный корпус с железными решетками на окнах, круглый тюремный двор, высокую серую каменную ограду. Нас встретила надзирательница и группа из восьми политических каторжанок. Это были шесть с.-р. террористок, Маруся Беневская и Верочка Штольтерфот. Среди них мне бросилась в глаза очень молодая, почти детская кудрявая головка с очень красивыми вьющимися кольцами волосами; это была Ривочка Фиалка. Все они встретили нас приветливо, по-товарищески; мы пошли в камеру № 6 в конце коридора. В камере нас встретила Саня Измайлович, дежурившая в

[1] «Легавыми» называются доносчики, провокаторы.

тот день. На столе стояло несколько чайных чашек, у печки на табуретке кипел самовар, в углу за серой тряпкой, в роде занавески, был умывальник. У дверей стояла параша. Посередине стоял длинный стол, по обеим сторонам которого скамейки и пять деревянных коек. В камере жило пять человек. Трое жили в одиночке. Нас заперли. Товарищи засыпали нас вопросами о дороге, о новостях на воле и прочем, после чего мы пошли по очереди за занавеску умываться. Я хотела поискать в своих казенных вещах что-либо чистое, чтобы переодеться, но Саня Измайлович сказала:

— У нас коммуна, вот тут находится белье,—и указала на большую корзину.

Вечер прошел в разговорах: говорила больше всего Зина, так как у ней были знакомые, общие товарищи по воле с находящимися здесь каторжанками. Я больше молчала, потому что почти не знала русского языка, об'ясняться я могла на немецком языке только с Марусей Беневской и Лидией Павловной Езерской. На следующий день пустили к нам просто в камеру на несколько часов на свидание Лию Борисовну. Она принесла большую корзину передачи. Я, как новенькая, наблюдала картину, тронувшую меня да самой глубины души. Передача была общая, но в этой общей корзине было положено для каждого по индивидуальному пакету. Было видно, какой любовью и глубоким пониманием тоски сидящих за решеткой обладал тот, кто составлял эту передачу. Сама Лия Борисовна была очаровательна. Скажу одно, что это была счастливая мать среди большой революционной семьи, с которой она переживала все неудачи и радовалась ее победам.

С приходом новой партии и посещениями Лии Борисовны, жизнь в тюрьме оживилась. Каждый новый пришедший в эти стены вливал живую струю кипящей на воле жизни. Но прошло несколько дней, Лия Борисовна уехала обратно в Читу, у нас троих новеньких иссяк наш небольшой дорожный запас новостей, и жизнь стала холодная, серая, как каменная стена, отделявшая нас от всего, что находилось за железными воротами.

Лия Борисовна, по возвращении в Читу, была вскоре арестована за участие в убийстве начальника каторги Метуса. Она просидела долгое время до суда, а потом получила три года ссылки в Якутскую область. Муж ее должен был жить нелегально в Монголии; детей разбросали по родственникам. Младший сынишка Ароша (шести или семи лет) заболел тяжелой формой суставного ревматизма, отчего впоследствии у него развился порок сердца. Он умер от разрыва сердца двадцати шести лет, — в 1928 году.

Несмотря на то, что в момент нашего прибытия группа, которая была уже в Мальцевской, жила полной коммуной, в которую влились и мы, духовно группа эта жила замкнуто, и вновь прибывшие чувствовали себя какими-то отщепенцами, одинокими; особенно остро переживала это я, так как я была одна пролетарка среди группы интеллигенток. Несмотря на то, что у нас была полная коммуна и товарищи относились ко мне хорошо, я все же чувствовала себя страшно одинокой. Почти все товарищи были заняты чтением больших, толстых томов философии Канта, Лаврова, Михайловского и других научных книг. Я ходила по двору большей частью отдельно, за корпусом, и старалась выяснить, во-первых, причину этого одиночества, во-вторых, чем и как заполнить жизнь, которая будеть течь не дни и не недели, а целые годы в этой тюрьме. О коммуне я имела понятие из маленьких брошюр Кропоткина и популярных кружковых лекций; проводить в жизнь коммуну нам на воле не приходилось. Коммуна тяготила меня тем, что я в нее внести ничего не могла. Прочие товарищи получали деньги, посылки, я же не получала ничего, так как была оторвана от родных и товарищей большим расстоянием и незнанием русского языка. Письма пропускались только на русском языке.

В скором времени я выяснила причину своего одиночества, поняла что это—классовая рознь. В разговорах и беседах с некоторыми товарищами я прямо говорила, что они шли за одно, а мы, рабочие,—совсем за другое. Когда меня товарищи спрашивали, в чем же различие, я не могла тогда им этого об'яснить, хотя всем своим существом чувствовала и знала, что это так.

Егор Созонов писал большие письма из Горного Зерентуя к нам в Мальцевскую в момент разделения большой и малой коммуны [1]. Письма эти читались мне, и я их так хорошо понимала: та же пропасть, что и у нас, была и там; разница была только в том, что там находилось больше массовиков и менее интеллигентов, а у нас—наоборот; потому там переживалось это острее, чем у нас.

В коммуну я решила внести свой труд: я буду работать,—готовить и убирать,—а они пусть сидят за толстыми томами философии. Решив так и никому не сказав об этом, я провела это в первое свое дежурство, но товарищи этого моего подхода не

[1] Б. коммуна состояла из массовиков,—солдат, матросов,—м. коммуна на интеллигентов. Раскол был вызван группой тюремных махаевцев, Морозовым и другими, и очень болезненно пережит Зерентуем; после 8—10 месяцев существования отдельных коммун—они слились в одну общую, изжив разногласия.

приняли и поставили вопрос на обсуждение общего собрания, на котором я узнала, что Маня Школьник — тоже работница. Ко всем товарищам этой группы я относилась с большим уважением, да и они своим поведением были достойны этого. А Маню Школьник я стала ненавидеть, так как она все время проводила с ними и, как мне казалось, старалась подделываться к ним. Маня Школьник была близка с группой этих товарищей, но близость эта носила какой-то личный характер. Повидимому, духовной пищи она тоже не получала: по их примеру она бросалась, как эсерка, то на Михайловского, то на политическую экономию, на книги по аграрному вопросу, и, видно, не имея подготовки ко всем этим наукам, ничего не понимала, бросала и страдала той же духовной пустотой. После общего собрания некоторые из товарищей стали пытаться завести дружбу, сблизиться со мной, но чем больше они это делали, тем дальше я уходила от них. Я чувствовала в них что-то неискреннее, искусственное и не видела никакой возможности сближения. Я видела много достоинств и заслуг за этими товарищами, но пропасть была и осталась между нами. С Маней Школьник, после одного резкого разговора, в котором я ей высказала свою ненависть к ней за то, что она подделывается к группе интеллигенток, после многих ею сказанных доводов и причин, мы подружились.

Это первый период 1907 года, с 9 мая, когда мы прибыли в Мальцевскую тюрьму. Далее стали прибывать все новые, как интеллигентки, так и пролетарки. Что касается пролетарок, прибывших летом 1907 года, то все они переживали такой же духовный голод, как и я. Я усердно засела за русский язык. Первой моей учительницей была Зина Бронштейн. Она хотела быстро научить меня читать и писать, но чем больше она горячилась, тем хуже я ее понимала. Уходила я с этих уроков в отчаянии, что я никогда не пойму этот русский язык. К осени, с приездом Елизаветы Павловны Зверевой и Нади Терентьевой, жизнь нас, пролетарок, изменилась. Они составили список элементарных учебников русского языка, арифметики, географии, истории и истории культуры и прочих. Список этот был послан товарищам, которые имели возможность прислать нам все эти книги. По русскому языку стала со мной заниматься Надя Терентьева. Через два месяца я уже стала читать и писать на русском языке, а также понимать книги. С этого момента наша жизнь резко изменилась.

Приехавшие в конце 1907 года уже не так остро переживали одиночество и духовную пустоту, потому что мы тоже жили духовной жизнью, без которой в тюрьме жить невозможно. Занятия были персональные и групповые. Некоторые из товарищей

отдавали все свое время своим ученикам. Другие делились частично своими знаниями, оставляя вечер и ночь для пополнения своих собственных знаний. Но были и такие, которые, имея большой запас знаний, не считали нужным делиться им с нами. Многие малограмотные почерпнули большой запас знаний, расширили свой кругозор во всех областях. Я лично через год совершенно свободно говорила, писала и читала на русском языке.

С 1907 по 1909 год мои занятия шли отрывочно, так как в виду отсутствия медицинской помощи мне приходилось их часто прерывать на длительный период. Нашу тюрьму обслуживал ротный фельдшер, да и тот был занят больше своим хозяйством, чем должностью, которую он нес при тюрьме. Он целыми неделями не являлся в тюрьму, а если его вызывали, то подворотный надзиратель просто заявлял, что это бесполезно, так как он на покосе, в поле, в огороде и т. д. А больных было много. Особенно страдала от тяжелых сердечных припадков Надя Деркач; ее припадки были длительны и мучительны как для нее самой, так и для окружающих, которым приходилось около нее дежурить. Дежурство это несли я, Сарра Наумовна Данциг и Катя Эрделевская. Ольга Полляк страдала тяжелой сердечной астмой. Одну зиму, по нашему требованию, начальство освободило большую четвертую камеру, уплотнив нас и уголовных, чтоб ее поместить отдельно, так как она буквально задыхалась в общей камере. Одиночек нехватало, так как там были больные, постоянно нуждающиеся в больничном положении, как Лидия Павловна Езерская, страдающая сердечной астмой, и Маруся Спиридонова, страдающая нервными припадками. Более двух месяцев дежурили мы с Марусей Беневской около больной Ольги Полляк; Маруся Беневская делала назначения [1], а я исполняла эти назначения, так как она не могла впрыскивать камфару и морфий за отсутствием на правой руке пальцев. Больная находилась длительный период под этими двумя наркозами. Мы с Марусей Беневской опасались, что наступит момент и больная задохнется, так как пульс был с перебоями. Такими же тяжелыми припадками страдала Лидия Павловна Езерская, которая от них и умерла по выходе в ссылку в Якутской области. Маня Школьник, хотя не числилась у нас больной, была очень худа, малокровна, с организмом, истощенным до последней степени. Дружба наша с ней завязалась вероятно потому, что она была пролетаркой и происходила из самой бедной еврейской семьи, жизнь и условия которой мне были очень хорошо понятны, так как я выросла на Западе среди еврейской бедноты. Маню Школь-

---

[1] **М. А. Беневская—медичка по образованию.**

ник я временами даже боготворила, как одну из тех, которые, подняв красное знамя, вышли на защиту бесправных и обездоленных. При царском самодержавии было много униженных и отверженных, но кто знал жизнь бедных евреев, населявших местечки Виленской, Ковенской и Могилевской губерний, тот согласится со мной, что это были страдальцы, которых не сравнишь с другими пролетариями, потому что они страдали не только от недостатков материальных, а еще и потому, что имели несчастье родиться евреями. Когда урядник, приходивший к бедному крестьянину, выводил последнюю корову за недоимки, этим дело кончалось, но тот же урядник, пришедший в дом бедного еврея, собирал также все, что имело ценность, не считаясь с нуждой его самого, и, кроме того, издевался над его семьей, стариками, оскорблял их за их национальность.

Когда в 1909 году стали говорить о вольной команде, я, хотя тоже была в числе тех, которые имели право выходить за стены тюрьмы, не могла решить этот вопрос лично для себя. Мечта всякого заключенного, особенно бессрочника,—это побег; я, малосрочница (я имела восемь лет каторги), считала, что, живя в команде за стеной тюрьмы, смогу быть чем-либо полезной для осуществления этой мечты бессрочниц. Не вышла бы я лично для себя потому еще, что мне страшно хотелось заниматься, а мы в то время подошли с нашими занятиями к древней истории, к древнему востоку, истории русской мысли и прочему.

Нас вышло семь человек в первой группе. Помещения не было, а поэтому некоторые стали строить землянки, покупать старые бани на снос, так как жить нам разрешалось близ тюрьмы на виду у начальства. Некоторые поселились у надзирателей, сняв у них комнаты за перегородкой, я же, по многим соображениям, решила поселиться отдельно от других и ни в коем случае не у надзирателей. Из тюрьмы мне дали денег из конспиративного фонда, и я купила на снос старый деревянный сарайчик, который и поставила на пригорке напротив дома начальника тюрьмы. Из старого сарайчика сделали хату с большой русской печью. Осмотрев положение за воротами и взвесив все, я написала об этом Мане Школьник.

В команду нас выпустили под честное слово, с угрозой, что если из нас кто убежит, то выход в команду будет упразднен для всех политиков не только Мальцевской тюрьмы, но и для мужских тюрем. Кроме того, мы знали, что в случае побега пострадали бы все вольнокомандцы, так как освирепевший конвой перестрелял бы нас всех, потому что за побег конвоиров отдавали в дисциплинарные роты.

Через некоторое время ко мне в хату вышла из тюрьмы Машенька Горелова; совместно с ней мы организовали в моей хате хлебопекарню. Мы в тюрьме очень страдали от отсутствия белого хлеба, особенно те, у которых были больные желудки, а катар желудка был почти у всех. Я приведу одно обстоятельство, рисующее состояние нашего здоровья. После ухода доктора Рогалева из Горного Зерентуя его заменил врач, фамилии которого я не помню, кажется, Богданов. Он приезжал раза три к нам в Мальцевскую. Если к нему кто-либо обращался за лечением, то он очень обижался и говорил:

— Чем и как вас лечить, когда у вас у всех больные желудки, а вы сидите на черном хлебе и казенной баланде? Порошки тут не помогут.

Раз он приехал к нам зимой в большие морозы, одетый в доху. Подворотный надзиратель не хотел его пустить в дохе в тюрьму, но он отстранил подворотного, говоря ему:

— Нет, нет, голубчик, ты меня оставь.

Он пришел к нам в камеру. Под дохой у него были две большие рыбины-кеты, он их шлепнул на стол со словами:

— Вот вам вместо порошков.

Другой раз он где-то в Нерчинском заводе у купцов достал для нас чуть не двухпудовый ящик печенья «Альберт», но нам досталось его очень немного: начальник Павловский сказал, что будто бы все остальное с'ели солдаты караульной будки.

Сане Измайлович этот же доктор принес несколько гиацинтовых луковиц, из которых она две выходила, и они расцвели.

Муку белую, которую мы выписывали, мы отдавали уголовному в вольную команду, он же пек из нее не хлеб, а какой-то кирпич, воруя при этом столько муки, что и этого кирпича хватало лишь на один чай. Поэтому белый хлеб для нас был лекарством.

С Машенькой Гореловой у нас было полное разделение труда. Она занималась уроками с детьми надзирателей, помогала мне тем, что колола дрова, топила печку, а я носила воду, пекла хлеб. Машенька спала на печи, а я на лежанке около печки, но несмотря на то, что русская печь из-за выпечки хлеба топилась ежедневно, холод в нашем старом сарайчике был невозможный, так как его перевозили и строили в ноябре в самые сильные морозы и щели в нем образовались насквозь. Организовав хлебопекарню и выяснив все условия, я увидала, что они не могли оправдать наши планы, и жизнь в команде стала для меня теснее тюрьмы. Свобода наша была очень ограничена, немногим пошире тюремного двора. Деревню посещать было нельзя, к тюрьме ходить не полагалось, к Горному Зерентую даже близко подходить запре-

щалась. Занятий никаких у нас не было, читал каждый для себя и про себя.

Однажды пришел старший надзиратель и сказал, что нужно будет ходить на работу, так как вольная команда должна работать — вязать варежки, катать кошмы. Я отказалась наотрез. Если бы я была заинтересована в пребывании в вольной команде, я бы этот вопрос как-то иначе встретила, но меня эта нето свобода, нето тюрьма—очень тяготила. Честное слово связывало по рукам и ногам. За мой отказ от работ меня отправили в тюрьму. По приходе в тюрьму Маню я нашла в постели с тяжелой формой цынги. Ноги были в синих пятнах, зубы шатались, и несколько зубов уже выпало. Лицо было отекшее. Меня это обстоятельство нисколько не удивило, так как Маня Школьник сама себя больной не считала, ссылалась на то, что здоровье у всех одинаково, и ни за что не соглашалась, чтобы от других отделили что-либо на ее усиленное питание. При получении посылок мы уделяли для больных бо̀льшие порции, а некоторые посылки шли им целиком. Но Маня от этого отказывалась, считая себя не больнее других. Больных мы освобождали от тяжелых работ, например, от стирки белья, мойки полов. Маня всегда протестовала, не желая, чтобы мы ее причисляли к категории больных. Только благодаря тому, что мы были с ней близкими друзьями, мне удавалось очень осторожно и незаметно поддерживать ее очень истощенный организм. Но чем могла я ее поддержать? Лишь своей порцией, своей физической силой, которой у меня было больше, чем у многих; я была значительно здоровее ее. Мы жили коммуной в полном смысле, а в коммуне все обязанности были разделены по дежурствам. Лишь мне удавалось заменять Маню в ее очереди стирки белья, мойки полов и прочего. Каждая затрата энергии на физический труд грозила ее здоровью, что я и нашла, когда вернулась из команды обратно в тюрьму. На второй день мы с ней перешли в одиночку. Ей было устроено усиленное питание. Тут уж мы не считались с ее принципами. Тщательный уход и питание в скором времени подняли Маню на ноги. Она была худая, бледная, жила одними нервами. Ее дух поддерживался только планами, подчас фантастическими—побега. Если бы не тянулась около двух лет работа по подготовке побега Спиридоновой, я с уверенностью могу сказать, что Маня Школьник и с ней вместе некоторые товарищи решились бы пойти на большой риск, на авось. «Эх, темная ночь, выручай!..».

После цынги в скором времени Маня заболела каким-то тяжелым кишечным заболеванием. Врача, нашего друга Рогалева, в Горном Зерентуе уже не было, его заменил врач Круковский,

горький пьяница. Он раз'езжал на судебные вскрытия по области, в тюрьме почти никогда не бывал, а если бывал у нас, то пьяный. Мы сами, главным образом, Сарра Наумовна и Маруся Беневская, применяли все свои медицинские познания. Это продолжалось около трех месяцев. В конце-концов по нашим бесконечным вызовам приехал Круковский, по обыкновению пьяный, ткнул больной в живот пальцем и сказал, что у нее воспаление слепой кишки. На мой вопрос—что же дальше, он сказал:

— Вы знаете, что нужна операция,—и при этом развел руками.

При нашей тюрьме больницы не было, а в Горный Зерентуй никого никогда не переводили, значит, лежи да жди медленной смерти. Я просила дать больной что-нибудь болеуспокаивающее, так как больная не спала ряд ночей, температура была от 38° до 40°. Врач повернулся, чтобы уходить, но я его остановила и попросила выписать опий. Вечером надзирательница принесла флакончик с опием с надписью—по 15 капель на ночь. Часов в семь вечера я накапала 5 капель, вместо 15, имея в виду большую слабость больной. Легла сама спать, так как тоже недели две не спала из-за беспокойных ночей больной. Не прошло и 15 минут, как больная начала стонать и говорить, что ей плохо. Я решила, что это чисто нервное явление, так как поставленный врачом диагноз не мог не отразиться на больной в ее безвыходном положении. В одиночке был полумрак; лампа была загорожена книгой, вследствие чего я не заметила изменившегося вида больной. Я положила ей холодный компресс на сердце и вышла в коридор, чтобы больная не говорила со мной, а успокоилась. В коридоре я встретила Катю Эрделевскую, которая дежурила в это время у больной Нади Деркач. Я ей сказала, что Мане плохо, и она подтвердила мое мнение, что больная расстроилась после посещения врача. Через минут пять, когда я вошла в одиночку, я испугалась мертвенно-бледного лица больной; схватила ее руку, чтобы проверить пульс, но пульса не было. Я посмотрела в глаза—зрачки были сужены. Я поняла, что больная отравлена опием. Мы все, находившиеся в одиночке, подняли тревогу, начали отхаживать больную: горячий кофе, искусственное дыхание, грелки. Кто-то стучал отчаянно в дверь к надзирательнице, вызывал фельдшера. Он явился немедленно, так как велели ему сказать, что Школьник отравлена. Я вместе с фельдшером отхаживала ее до трех часов утра. Мы ее трясли, качали, не давали спать, а она нас умоляла дать ей умереть. Когда я увидала, что больная спасена и пришла в себя, я хотела посмотреть, что было во флакончике, приготовленном нашим ротным фельдшером, но его уже на столе не было.

Видно, фельдшер его забрал, чтобы не выдать себя. Надо думать, что опий был приготовлен в очень крепком растворе, раз от пяти капель отравилась больная, а способствовала отравлению еще я тем, что клала холодные компрессы на сердце, которое и так перестает работать при отравлении опием.

На следующий день Маня упрекала нас, особенно меня, в том, что мы не дали ей умереть. Болезнь М. Ш. действовала на всех нас удручающе, так как в этом случае было острое заболевание, требующее немедленного лечения, а его быть не могло. В Горный Зерентуй не возили даже долгосрочных уголовных, боясь побега, а политическую бессрочницу—и думать было нечего. Состояние больной ухудшалось с каждым днем, нужна была строгая диэта, невозможная в наших условиях. В нашей аптеке не было никаких лекарств, да после истории с опием мы и боялись брать приготовленные нашим ротным фельдшером. Раз ночью у больной были страшные боли; ни льду, ни пузыря—никаких болеуспокаивающих не было. Ждали приезда начальства, кого—определенно мы еще не знали. И вот, наконец, приехал тюремный инспектор Семеновский со всей своей свитой — администрацией. Было решено просить приезжее высшее начальство о лечении М. Ш., но мы не знали, кого мы встретим в лице этого высшего начальства.

Когда заходило к нам в камеру начальство, мы определяли сразу, с первого же заданного вопроса,—что оно из себя представляет. Для ответа на все такого рода вопросы у нас был выбран политический староста—Настя Биценко. На заданные начальством вопросы: «Пре-тен-зии, за-яв-ле-ния есть?»—мы всегда отвечали молчанием. Лишь начальник каторги Забелло, умный и всегда тактичный, смягчал эту грубую формальность, чем давал нам возможность заявлять о самых вопиющих нуждах. Так и в этот раз. Он прибавил обычным немного гнусавым голосом:

— Может, желания есть?

Говорил староста общей камеры, говорили и мы, когда зашли к нам в одиночку. Видно, мертвенно-бледное лицо с лихорадочными глазами заставило начальство обойти все формальности и спросить прямо, что нужно больной, на что я ответила:

— Чтобы ее не оставляли без всякой помощи.

Забелло крикнул врачу:

— Как нужно лечить?

Врач Круковский завертелся, развел руками:

— Операцию... здесь нельзя...

На это больная сказала:

— Пусть здесь, хоть фельдшер, пусть хоть перочинным ножом режет, все же лучше, чем медленная, мучительная смерть.

Это задело Сементовского, и он тоном приказа сказал начальнику тюрьмы:

— Как! У нас есть врач, больница, сделают все, что нужно!

Когда ушло начальство, я спросила нашего друга Дыню-надзирательницу [1], какой был разговор начальства за дверями одиночки. Она сказала, что Сементовский приказал начальнику каторги перевезти больную в Горный Зерентуй для лечения. Мы не верили этому. Отнеслись к этим словам просто, как брошенным, чтобы лишь отделаться от вопроса, поставленного ребром и чересчур вопиющего. Но так как Забелло с нами всегда был корректен и не пустословил, то у меня закралась маленькая надежда на чудо; я рассказала в общей камере, и было решено сказанному Сементовским придать положительное значение и по горячим следам вызвать начальника тюрьмы, поставить вопрос о том, что нельзя отправить тяжело больную одну в Горный Зерентуй, так как там нет женского медицинского персонала; следовательно, необходимо пустить и меня с нею. От разговора старосты с начальником тюрьмы осталось впечатление, что это пустые обещания и больную никуда не переведут. Прошло еще несколько тяжелых, мучительных дней, но к нашему удивлению пришел начальник Павловский и сообщил, что получена официальная бумажка с разрешением перевести М. Школьник в сопровождении Меттер в Горный Зерентуй на лечение. В тот же день пришли четыре уголовных с носилками, на которые уложили больную. Наши все были на прогулке, так что у ворот все попрощались с М. Ш. Я шла пешком, а больную несли четверо уголовных мужчин на носилках до самого Горного Зерентуя, который находился в пяти верстах от нашей тюрьмы. Хотя носильщики шли очень ровно и тихо, чтобы не трясти, так как малейшая тряска вызывала ужасные боли, всю дорогу больная была почти без сознания.

Была осень, падали с деревьев пожелтевшие листья. Мы поднялись на гору, с которой были видны оставшаяся позади Мальцевская тюрьма и впереди Зерентуй. Я с этой горы оглянулась на целые зигзаги сопок, окружавших ту и другую тюрьмы. Умирало лето... Пронеслась в душе мысль, что умирает и наша Ниточка (так звал Егор Созонов Маню). Она была действительно похожа на ниточку—бледная, тоненькая, худенькая.

Солнце закатилось дорогой, к тюрьме мы подошли уже в сумерках. Больная была почти без сознания. Я была довольна этим,

[1] «Дыня»—А. М. Зелинская, надзирательница, прозванная нами так за свою комплекцию.

так как процесс приема был бы мучителен для тяжело больной; лучше, что она ничего не видала и не слыхала.

Носилки поставили у ворот тюрьмы. Наших носильщиков по правилам тюрьмы не пустили дальше ворот. Привратник надзиратель должен был доложить по начальству. Пока вызвали фельдшера и других носильщиков, прошло часа два. Больная приходила временами в себя, ее лихорадило от высокой температуры. Совсем уже ночью мы попали в крохотную одиночку, где стояла деревянная кровать с туго набитым грубой и жесткой соломой матрацем. О, этот торчащий горбом на кровати матрац! При всем желании уложить на него больную, которая только благодаря очень внимательному уходу не была в пролежнях, не было никакой возможности. Я стала упрашивать оставить больную до утра на носилках. В одиночке фельдшера уже не было, и пришлось говорить с грубым надзирателем. На все мои доводы он молчал, не считая нужным отвечать; так же молча он вышел и запер нас. В крохотной одиночке было тесно и душно. Сырой, затхлый воздух, от которого больную начало тошнить. Я постучала в дверь и попросила дежурного надзирателя, чтобы он позвал кого-либо из медицинского персонала, но он мне ответил холодно, что ночью ни врача, ни фельдшера в больнице не бывает, и попросил меня больше не стучать и его не беспокоить. Я попросила дать нам воды, но и это было нельзя: он сказал мне, что не имеет права ночью отпирать камеру без начальства. Больная ослабла совсем, так как не принимала с самого утра никакой пищи.

Утром мы вызвали начальника тюрьмы. Пришел высокий, средних лет, военный. Это был Чемоданов. Он произвел на нас хорошее впечатление. Своею корректностью Чемоданов был совсем не похож на грубых невежд тюремщиков. Когда он зашел в одиночку, видно, вся эта обстановка глубоко его тронула. Он хотя по-военному старался быть сдержанным, но я стояла в стороне, пока он говорил с больной, и видела, что у него вздрагивало лицо от волнения. Мы его спросили о разных мелочах, касавшихся лечения больной, а он как бы в свое оправдание говорил, что он временно замещает начальника тюрьмы, что это ему тяжело, что он ненавидит тюремную службу и прочее, и прочее. Мы сразу почувствовали в нем своего человека, и как-то стало на душе легче. Он дал распоряжение пускать меня из одиночки на кухню, в аптеку и по всем надобностям больной. После начальника пришел врач и с ним фельдшер Тихон Павлович Крылов, который нес всю работу в больнице. Он пользовался большой популярностью как в тюрьме, так и в окрестностях, имел большую практику, работал за врача. Врач же приходил по утрам в больницу подписывать

требования и разные бумажки, да выпивал в аптеке изрядную порцию аптечного спирта и этим кончал свой визит. Посмотрев больную, они оба сказали, что у больной воспаление брюшины, что операцию сейчас делать нельзя, пока не пройдет острый процесс.

Через несколько дней больная почувствовала себя лучше. Хотя и слабая физически, Маня жила каким-то необыкновенным под'емом духа. Она переписывалась с товарищами из корпуса, с Сидорчуком, Егором Созоновым, с Фроловым. Подбегали изредка товарищи к нашей одиночке, перекидывались несколькими словами через окошечко. Главная переписка была с Егором Созоновым, которому осталось всего от двух до трех месяцев до выхода. М. Ш. писала ему много, изливала все, что наболело и тяготило ее. В своих письмах к Егору она поручала ему сделать все, что не могла сделать сама, так как она готовилась к смерти. Она не жила, а горела, писала целыми ночами, торопилась с каким-то лихорадочным трепетом, с боязнью, что она не успеет все сделать и смерть пресечет ее жизнь. В Егоре Маня видела яркий светоч, идею революции; ему осталось немного сроку; вот, он скоро выйдет из-за этих решеток, пойдет сильным борцом продолжать ту борьбу, которую не доделала она и многие осужденные на гибель в темницах. Егор писал ей тоже длинные письма, ободрял ее и меня, поддерживал нас обеих морально. Маня жила сильным под'емом духа, не замечая даже физических страданий. Временами я приходила в ужас при мысли, что ее понесут на операционный стол и что ее будет кромсать пьяный врач, забывший давно медицину, а хирургию и подавно; он не раз говорил в присутствии больной, что у него за всю практику были три операции: одна удачная и две смертельные; при этом он прибавлял, что и рад бы не приниматься за это дело:

— Ну, что ж, служба, начальство... Прикажут—приходится...

Я с начальником тюрьмы Чемодановым, а также и мужской корпус, в частности Егор Созонов, вели переговоры с Забелло о том, каким образом устроить срочно необходимое лечение больной. Но это срочное было по-тюремному, по-каторжанскому, уже три месяца. Врач Круковский приказал фельдшеру подготовлять операционную, а мне—подготовить больную к операции. Сам же он ходил по коридору больницы, как обыкновенно, пьяный, покуривал трубку, выпуская клубы дыма, говорил самоуверенным тоном:

— У меня завтра операция.

Мы, все товарищи, подняли тревогу, требовали созвать консилиум врачей, на что согласился и Забелло. И вот, на четвертый или пятый день, к нам в одиночку с врачом Круковским пришли

еще двое врачей—один из Александровского завода тюремный врач Макаров, другой из Нерчинского завода—молодой военный врач Ушаков. Круковский и Макаров были типичные тюремные врачи, один—с багрово-красным носом—алкоголик, другой—толстый, с узкими, от жира заплывшими глазами. Холодные, тупые выражения их лиц не обещали нам ничего отрадного. Я стояла в стороне, с жутким чувством наблюдала эту тройку, в чьих руках была жизнь нашей Ниточки. Они тыкали в живот больной, перебрасывались между собой словами, из которых было видно, что положение больной тяжелое и почти безнадежное. Последним подошел к больной молодой врач Ушаков. Я сразу почувствовала, что это врач, а не формалист. Он осмотрел больную и сказал своим коллегам:

— Я, хирург, нахожу, что при данных условиях операцию делать недопустимо. У вас в больнице рожа.

Его прервал Круковский:

— Что же скажет нам начальство?

Ушаков его оборвал:

— Сумели посадить, пусть сумеют и лечить.

Врачи ушли. Опять ряд дней,—неизвестно, что будет дальше. Наконец разрешили отправить больную в Иркутск на операцию.

Воскресное морозное—градусов от 40 до 50—утро. К дверям больницы под'ехали сани; сверху устроен из казенных одеял навес, в роде цыганской кибитки, с целью защиты от ветра при езде. Маню я одела в валенки, в казенный полушубок. Двое уголовных вынесли ее на руках и положили в кибитку. Товарищи, работающие на кухне, накалили несколько горячих кирпичей, которыми я обложила больную. Это было последнее, что мы могли сделать для больного товарища. Укутав ее серыми арестантскими одеялами, я рассталась с больной. С М. Ш. я попрощалась в одиночке, дабы в этот тяжелый момент избежать холодных формальных лиц. Сани покатились к воротам, меня вернули в пустую одиночку. Я стала у окна, из которого было видно подножие сопки с холмиками, похожими на могилы. Вид этот соответствовал всему тому, что произошло сейчас. Сколько я простояла у этого окна,— не знаю, не помню. Неожиданно меня тронул за плечо Чемоданов, назвал по фамилии. Он сказал:

— Собирайтесь к отправке,—и замялся.

Затем, повернувшись к надзирателю, приказал:

— Уйди.

Когда он ушел, Чемоданов заявил мне, что оставит меня до утра. Повидимому, мой расстроенный вид заставил его отложить мою отправку.

Утром рано я получила письмо от Егора Созонова, в котором он чутко и нежно ободрял меня, говорил, что по выходе на волю его первой задачей будет вырвать Ниточку, а за ней остальных сестер из рук врагов. Письмо это было писано вечером того же дня, когда увезли М. Ш. Он писал еще, что он постарается утром повидаться со мной перед отправкой. Часов в девять утра я получила второе письмо, в котором Егор писал: «Как я счастлив, что вчера вырвалась отсюда наша Ниточка. Пусть даже смерть, но без издевательств. Сегодня ночью приехал Высоцкий с большими полномочиями на репрессии. Он не зашел даже к Забелло, а прямо к Чемоданову, приказал ему освободить для себя квартиру». Часов в 11, когда меня повели в Мальцевскую, в коридоре больницы мне встретились Егор Созонов, Сидорчук и Яковлев. Они сказали, что Высоцкий принимает тюрьму,—уголовных повели на порку. (Мы знали из «Тюремного Вестника», который нам приносил Чемоданов, что Высоцкий получил повышение за кровавую расправу в Николаевских арестантских ротах). Егор Созонов пожал мне крепко руку, поцеловал в голову и тихим, нежным голосом сказал:

— Прощай, Павлик, прощайте, сестрички, простите меня.

Наши взгляды встретились, и я поняла все... В его глазах горела та идея, сила, решимость, которую пережил каждый из нас, когда мы готовы были итти на баррикады. Меня охватило жуткое чувство. Я знала, что орудием в этой борьбе имеет каждый из нас только свою жизнь.

У выхода стоял фельдшер, наш друг Тихон Павлович; он мне прощаясь сказал:

— У нас начинается что-то грозное, политические готовятся к борьбе, запаслись ядом.

При этом указал на группу,—в том числе и Егора Созонова.

С печальной вестью я вернулась в Мальцевскую. Прошло несколько дней, вдруг у нас ночью обыск. Искали и забирали склянки и всякие острые предметы. Мы поняли, что в Зерентуе творится что-то ужасное. Вскоре получили письмо от товарищей из Горного Зерентуя, с прощальной запиской Егора Созонова, покончившего самоубийством, и с сообщением, что семь человек покушались на самоубийство.

Наш коллектив переживал мучительную неизвестность; мы знали, что палач Высоцкий терзает дорогих нам товарищей, которые могут ответить на его насилие только самоубийством. Были среди нас товарищи, чьи личные близкие друзья и мужья находились в то время в Зерентуе. Во всех камерах было чрезвычайно напряженное настроение. Мы прислушивались к каждому звуку,

к шагам надзирательниц, подходящих к нашим дверям, ожидая, что нам скажут о новых жертвах. Мы были готовы все, как один, ответить, если понадобится, в этой борьбе тем же, чем отвечали зерентуйцы, у нас был тоже запасен яд. Мы были отрезаны строгой изоляцией в это тяжелое время как от Зерентуя, так и от своей вольной команды. Когда надзиратели приходили на поверку, мы их спрашивали про Зерентуй, но они молчали, а, когда мы спросили про вольную команду, старший надзиратель Иван Евгеньич не выдержал и сказал, что его землячка (так он звал Зину Бронштейн) заставила его перед иконой креститься, чтобы поверить, что у нас в тюрьме все живы. Получили из Горного Зерентуя еще коротенькую записочку, которая подтвердила, что Высоцкий уполномочен раздавить политические коллективы Нерчинской каторги. Первой его задачей было вырвать из этого коллектива более сильных, устойчивых борцов. Первой его жертвой стал Егор Созонов.

М. М. Школьник

МОЙ ПОБЕГ [1]

С волнением я приняла известие о том, что меня отправляют в Иркутск. Одна мысль, что я умру не на глазах у тех, которые меня любят и которых я люблю, что я не заставлю их пережить лишнее страдание и горе, как-то сразу подняла мой дух. Я почувствовала себя морально лучше, я видела в этом большую победу. Я еще не в состоянии была все взвесить и охватить,—все это вышло как-то неожиданно. Но было хорошо, что меня посылают ближе к жизни, что я еще раз услышу живые звуки города. Даже если умереть по дороге, все же лучше, чем в тюрьме. Кому из каторжан не хотелось перед смертью почуять волю?..

И вот я опять за воротами тюрьмы. На этот раз меня сопровождают пять человек—три конвойных, надзирательница и фельдшер. Мы едем на двух тройках. Товарищи устроили для меня нечто в роде балдахина, перетянув над санями одеяло, прикрепленное к шестам.

Страшный мороз все сковал. Тайга и все живущее в ней покрыты сугробами снега. Белые сопки тянутся в бесконечную даль. Кругом ни души. Все как-будто вымерло. И лежа под своей защитой, так заботливо устроенной товарищами, я уносилась мыслями навстречу чему-то роковому, неизвестному...

Мы делали 30—35 верст в день. На ночь, вместо этапов, мы останавливались в избах крестьян. Этапки были не топлены и моя стража думала, конечно, о себе, что им будет теплее и лучше. Не спрашивая, они врывались в крестьянскую избу, приказы-

[1] О болезни М. М. Школьник, предшествовавшей ее переводу в Иркутск, см. в предыдущей статье.

Ред.

вали ставить самовар, если таковой был, и кормить их. Крестьяне безропотно подчинялись и отдавали стражникам последнее.

На меня они смотрели в недоумении. Но когда стража засыпала, крестьянки шопотом спрашивали меня:

— За что это тебя, родненькая?

Я не помню ни одного случая, чтобы крестьяне не выразили мне сочувствия и не пожалели меня, узнав, что я «политик».

Не спеша, мы подвигались к цели. С каждым днем мне становилось лучше. Должно быть, чистый воздух замороженной тайги был лучшим лекарством для меня.

Путь продолжался около десяти дней. В Нерчинске мой конвой сменился, и я отправила с ним последнюю весточку нашим каторжанкам. Этим окончательно порвалась моя связь с ними.

И вот я в поезде. Жандармы зорко следят за мной. Поезд переносит меня далеко и быстро, приближая меня к жизни, к борьбе, от которой я была оторвана не по своей воле.

В Иркутске меня встретили грубо и строго. Старший надзиратель произвел на меня страшное впечатление своим звериным лицом и громадным телом. Это был типичный палач.

Надзирательница меня обыскала. От меня отобрали все: одеяло, доху, часы; но деньги, которые были спрятаны в ботинке, не нашли.

Меня поместили в одиночку. В тюремной больнице в это время политических не было. В общей палате лежало человек 15 уголовных, с которыми у меня как-то сразу установились хорошие отношения. Через этих женщин я получала записочки из мужской пересыльной тюрьмы.

Рядом с моей камерой была крошечная каморка, служившая родильной комнатой. Однажды ночью туда привезли политическую, которая в ту же ночь родила. Это была Клавдия Ивановна Коваленко, которая была арестована вместе с своим мужем, Казанцевым, в самый день родов.

Она лежала на твердой койке и рядом с ней крошечное существо. Меня поразило лицо молодой матери. Она была совершенно спокойна и радостно смотрела на своего младенца, родившегося в такой обстановке.

Мы решили назвать его Егором, в память Созонова.

Коваленко рассказала мне, что она с мужем бежала с Ангары и четыре месяца они скрывались в Иркутске. Они намеревались ехать в Россию, но у них не было денег, и им пришлось ждать в Иркутске, где они и были арестованы.

Коваленко приняла живое участие в моем желании бежать. За все шесть месяцев нашего совместного заключения я с ней по-

стоянно строила планы, каким образом мне бежать. Как-раз за четыре дня перед моим побегом ее с мужем выпустили.

Ссыльные, жившие тогда в Иркутске, скоро узнали о моем приезде. Среди них были и товарищи, которые меня знали лично: X. Нахманберг и другие. Я сейчас же начала получать передачи и деньги. Но несмотря на то, что у меня скоро нашелся «жених», ему свидания со мной не разрешали.

Товарищи стали строить всевозможные планы для моего побега. Особенно активными в этом отношении были Исакович (Крамаров) и Нахманберг. Они передавали мне вещи и адреса через нашу тюремную фельдшерицу, которая сама предложила содействовать моему побегу. Она это делала совершенно бескорыстно. К сожалению, фамилию ее я забыла.

Сначала товарищи предполагали освободить меня посредством подкопа, который должен был быть проведен с воли. Затем они намеревались отбить меня от конвойных, когда меня повезут обратно. Планы эти стали известны охранке, за тов. Исаковичем была установлена слежка, и в конце-концов он был арестован. Деньги, найденные у него и предназначавшиеся для устройства моего побега, были забраны жандармами[1].

Иркутская тюремная больница также оказалась неприспособленной для операции. Я пролежала там восемь месяцев. Товарищи хлопотали о разрешении сделать операцию в одной из городских больниц. Обращались даже в Петербург в Главное тюремное управление, но все хлопоты были безуспешны: разрешения не дали. Тогда товарищи сговорились с частными врачами, которые выхлопотали разрешение видеть меня, но, осмотрев нашу тюремную больницу, они отказались сделать операцию в этих условиях. Администрация уже подумывала было отправить меня обратно. Тогда я написала иркутскому доктору Михайловскому, прося его сделать операцию. Я писала ему, что мне легче будет умереть сразу, чем умирать медленной, мучительной смертью от истощения. Доктор Михайловский понял мое положение. Он пришел с двумя коллегами, принеся с собой инструменты и все необходимое. Я пошла на операцию с твердой уверенностью, что выздоровею и убегу.

Очень скоро после операции, когда у меня еще не были сняты швы, пришел тюремный фельдшер и сообщил, что имеется распоряжение отправить меня с первым этапом обратно на ка-

[1] Деньги для моего побега собирались среди политических ссыльных в Сибири. Некоторые товарищи (Ревекка Фиалка, Ревекка Грюнштейн и другие) отдали суммы, собранные ими для своего собственного побега.

торгу. Я очень забеспокоилась и в тот же день дала знать об этом товарищам на воле через фельдшерицу. Они решили подкупить фельдшера, чтобы он задержал мой от'езд.

На следующий день фельдшер опять пришел ко мне. Я была поражена переменой, происшедшей в нем. Надо отметить, что этот «рыжий чорт», как мы его звали, был прислан к нам с Сахалина, и про его жестокость ходили слухи в тюрьме. Говорили, что он всегда присутствовал при порке арестантов там. И вот этот фельдшер вдруг усаживается возле меня и предлагает мне такого рода план: он устроит, чтобы во время перевода из больницы в пересыльную тюрьму товарищи отбили меня от конвоя. При этом сам передал мне привет от товарищей.

Не доверяя ему, я, конечно, отказалась от его плана, сказав, что не собираюсь бежать. Впоследствии я узнала, что такая поразительная перемена произошла оттого, что мои товарищи дали ему 25 рублей.

Ехать обратно в Мальцевскую было выше моих сил. Я не могла уйти от живых звуков города. И я решила бежать во что бы то ни стало. Я с особым вниманием начала осматривать двор и тюремные стены, окружавшие его. Я заметила, что ворота имели подворотню и, несмотря на то, что ворота охранялись часовым, я решила бежать через подворотню. Выполнить этот план помогла мне одна уголовная, по имени Маша. Она убирала тюремный двор, так как ее срок заключения уже подходил к концу. Я посвятила ее в свою тайну, и она обещала подкопать доску под воротами, чтобы ее легко можно было удалить. Она это сделала, пока другие уголовные женщины разговорами отвлекали внимание часового. Мне до сих пор неизвестно, знали ли они о нашем плане. Через два дня Маша сообщила мне, что доска подкопана и только слегка засыпана землей.

В подушке у меня была спрятана мужская одежда и парик, присланные мне тов. Крамаровым. Не хватало только башмаков. Я решила одеть свои собственные.

Я послала записку Коваленко, прося ее о том, чтобы в субботу от 9 до 10 часов (время моей прогулки на тюремном дворе) меня ждал извозчик. Но будет ли он меня ждать? Этот вопрос я беспрестанно задавала себе. Но я должна бежать. Я твердо решилась на это. Я знала, что успех много зависит от моего самообладания. Задача была очень простая, но малейшая ошибка могла быть роковой. Необходимо было действовать с математической точностью. Я должна была бесшумно отодвинуть доску и пролезть под воротами, не произведя ни малейшего шороха. Я должна была сделать все это раньше, чем часовой успеет повер-

нуться лицом ко мне; затем пройти некоторое расстояние прямо и повернуть направо; итти медленно. Но глубоко в душе я чувствовала смутную, едва уловимую мысль: сделаю ли я это? Хватит ли у меня мужества всунуть голову прямо в ноги часовому?

Переходя таким образом от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, я провела четверг и пятницу. Вечером прошла проверка, и меня заперли на ночь. Только ночью я была одна, днем же надзирательница всегда находилась возле меня.

Была полночь. Всюду царили сон и тишина, можно было слышать только мерные шаги часового под моим окном. Этого часового поставили после ареста тов. Крамарова. Тихо, не поднимаясь с постели, я распорола свою подушку и вынула мужское платье. Я одела на голову платок и поверх мужской одежды натянула тюремный халат; одетая таким образом, я улеглась. Я не могла и не хотела спать. Я думала, что мне осталось жить всего несколько часов, но я предпочитала умереть от пули солдата, чем вернуться назад в тюрьму.

В шесть часов утра я встала. Солнце светило в окно, ясное и улыбающееся, но в моей душе были мрак и неуверенность. Проходили минуты, часы. Мое сердце застыло и временами почти совершенно переставало биться.

Когда я вышла на двор на последнюю свою прогулку, мерный стук топора достиг до моего слуха. Сквозь щель в стене я увидела двух арестантов за работой. Они строили лестницу к вышке часового. За ними наблюдал надзиратель. При виде этого я потеряла всякую надежду.

Я стояла возле стены, у которой раздавался стук. Вдруг в моем мозгу зародилась мысль. Я попросила надзирательницу, которая была со мной, сходить за книгой ко мне в камеру, и она отправилась исполнять мое поручение. Я постучала в забор. Стук прекратился.

— Братец, послушайте, братец.

— Что вам надо?—спросил грубый голос.

— Где надзиратель, который стережет вас?

— Он ушел на минутку. Он не боится за нас, мы не убежим. У нас осталось всего три дня сроку.

— Братцы,—сказала я,—с вами говорит вечница. Сейчас я убегу. Не выдавайте меня. Не кричите, когда увидите меня на улице.

— Беги, беги,—недоверчиво ответили они.

Одним прыжком я очутилась возле ворот. Я сбросила арестантский халат, вытащила доску из-под ворот, не произведя ни малейшего шума, и пролезла под воротами. Я поднялась с земли

как-раз в тот момент, когда часовой, пройдя до конца своего поста, повернулся ко мне лицом. Я увидела пролетку, стоявшую на углу [1]. Я знала, что мне нужно итти медленно. Но секунды казались мне вечностью, и короткое расстояние между мной и пролеткой превратилось в бесконечное пространство. Мне казалось, что я совсем не двигаюсь, а стою, как будто прикованная к месту. Скоро я была уже в пролетке и мы скрылись из виду, завернув в один из переулков. Чувство величайшего счастья, счастья свободы, наполнило все мое существо. У меня кружилась голова. Но я не потеряла самообладания ни на минуту. Подумав, что у меня должно быть ужасно бледное лицо и вообще необычайный вид, я выхватила носовой платок из кармана и завязала щеку, симулируя зубную боль. Моя пролетка мчалась с ужасной быстротой и уносила меня все дальше и дальше от тюрьмы. Я, как будто сквозь туман, видела лица прохожих, и мне казалось, что они мне улыбаются и вместе со мной торжествуют мою великую победу [2].

Наша пролетка остановилась перед великолепным домом, в котором жил присяжный поверенный А. И. Туманов. Я спрыгнула и позвонила. Старый лакей отпер дверь. На мой вопрос, дома ли Тумановы, он отвечал, что все уехали и не вернутся раньше вечера. Моя пролетка уехала, а я знала, что не должна терять ни одной минуты времени, так как меня могли найти здесь. Я не знала города и, кроме того, не могла показаться в моем наряде на улице, не возбудив подозрения. Я должна войти в этот дом, подумала я, иначе я погибла. Я взглянула на безжизненное лицо старика, который стоял передо мной и держался за дверь, повторяя, что никого нет дома.

— Слушайте,—сказала я женским голосом,—я должна войти сюда, я н е м о г у уйти отсюда в таком костюме. И вы д о л ж н ы помочь мне.

Я вошла в переднюю, закрыла дверь и взяла его за руку.

— Нам нужно торопиться, так как полиция и жандармы могут притти сюда каждую минуту.

Старик смотрел на меня в крайнем недоумении и не мог произнести ни слова. Я думала, что он лишился речи от испуга. К

[1] Тов. Казанцев приехал на извозчике, нанятом тов. Ицексон, поставил дрожки на условленном месте, а сам уселся на горке против тюрьмы ждать моего побега.

[2] Администрация никогда не узнала, каким образом я бежала, так как Маша, находившаяся во дворе во время моего побега, поставила доску на свое место и сожгла мой халат. Это было заранее условлено между нами.

счастью, на квартире у Тумановых в то время жила Е. К. Николаева, жена каторжанина. Она помогла мне переодеться. Мое мужское платье было там же сожжено.

Переодевшись, я решила сейчас же уйти на другую квартиру, к тов. А. А. Тюшевскому.

Было 12 часов дня. Прошло только два часа с момента моего побега. Тюшевский запер меня в своем кабинете и пошел посмотреть, что делается на улице. Только тогда я поняла, какая трудная задача предстояла мне. Когда я была в тюрьме, меня занимала одна только мысль: как уйти из нее? Я не могла заставить себя думать о тех затруднениях, которые должны явиться передо мной, когда я выйду из нее и буду на свободе. Куда мне спрятаться, куда итти—вот вопросы, требовавшие немедленного ответа.

Тюшевский вернулся и принес мне новое платье.

— Я думаю,—сказал он,—что для вас лучше было бы оставить этот дом. У меня есть очень хороший план, но дорога, по которой мы должны проехать, идет мимо тюрьмы. Можете ли вы заставить себя проехать мимо нее?

— Хорошо. Едемте.

Я оделась во все белое и надела белокурый парик. День был прекрасный, и солнце снова улыбалось мне. Мы приблизились к тюрьме, и в моем воображении ясно встала картина всего пережитого мною в ней. Вот тюремная больница—камера, в которой я пролежала целых восемь месяцев. Там стоит операционный стол. Я вспомнила лица докторов, которые были единственными милыми мне людьми, милыми, потому что они были из потустороннего мира, свободные люди. Даже тюремные надзиратели смотрели на меня тогда с сочувствием: они были уверены, что я не переживу операции. Я вспомнила каторгу, где я провела шесть лет, моих товарищей, которые оставались еще там...

Коляска проехала мимо тюрьмы и через минуту оставила ее далеко позади. Но я не могла отогнать мысли о тюрьме. Я чувствовала, что все, что я пережила в эти шесть лет, привязало меня к этим местам, где жили скованными тысячи людей. Я была свободна, но только внешне свободна, так как я знала, что никогда не смогу освободиться от мыслей о моих товарищах, которые оставались в тех мрачных стенах.

Мы под'ехали к даче Тумановых, которая находилась далеко за городом, по ту сторону реки Ушаковки. Туманова не знала, кто я, так как не имела никакого отношения к революции. Ей сказали, что я ссыльная, и она охотно согласилась принять меня, так как она была очень либерального образа мыслей.

Было 11 часов вечера. Я сидела с хозяйкой в моей комнате, когда кто-то вызвал ее и сообщил ей ужасную для меня новость: соседний дом был окружен полицией. Нужно было действовать быстро. Я открыла Тумановой мое настоящее имя, и она решила отправить меня на другую квартиру. Сын ее пошел со мной. Мы долго шли по полям и вошли в город с противоположной стороны.

На моей новой квартире обо мне ничего не знали. Я поселилась там, как обыкновенная квартирантка. Хозяева мои были настоящие обыватели.

Прошло три дня, и мои хозяева попрежнему ничего не знали обо мне. Я начинала надеяться, что все кончится благополучно. Но в полдень пришла навестить меня Туманова. Она была очень взволнована. Она рассказала мне, что город положительно терроризован, что полиция делает повальные обыски и арестовала массу совершенно невинных людей. Тюремные надзиратели, знавшие меня в лицо, посланы были в город искать меня. Туманова не была уверена, что за ней не следили, и думала, что самое лучшее для нее было бы уехать из города на некоторое время; она дала мне денег и распрощалась со мной.

На четвертый день моего пребывания на этой квартире я заметила, что хозяева начали поглядывать на меня тревожно. Они начали подозревать, что я та самая женщина, о которой газеты печатали всякого рода истории, и испугались. Не говоря мне ничего, мой хозяин придумал какую-то фамилию и, занеся ее в домовую книгу, как фамилию своей жилички, понес для прописки в полицию. Таким путем он надеялся отвлечь подозрения от себя. Я сидела в своей комнате и ничего не подозревала. Вдруг моя хозяйка вбежала в комнату и очень взволнованно стала рассказывать о том, что сделал ее муж. Моим первым движением было— бежать. Но пока я ломала голову над вопросом, куда мне итти, хозяин вернулся и сообщил, что не прописал меня, так как в участке по случаю праздника никого не было.

Это было большое счастье. Но едва прошло полчаса, как раздался звонок, и моя хозяйка, бледная, как смерть, вбежала ко мне шепча:

— Полиция, полиция, бегите!

Я выбежала на кухню, оттуда на двор и спряталась в сарае, в котором лежали дрова. Я забилась в угол, держа в руке заряженный револьвер. Через несколько минут дверь сарая открылась и вошла старуха, мать моей хозяйки.

— Городовой ушел, слава богу. Он приходил спрашивать, зачем сын был в полиции, и мы ничего не сказали ему про вас.

Для меня было ясно, что оставаться с этими людьми мне нельзя. Они могли выдать мое присутствие у них в доме просто из страха. Но куда мне итти?

В этой же квартире, в другой комнате, хозяин и его приятель играли в карты. Мой хозяин, взволнованный посещением городового, сказал ему, что, по его мнению, женщина, бежавшая из тюрьмы, находится у него в доме. Это заявление возбудило любопытство приятеля, он пришел посмотреть на меня и тут же выразил готовность помочь мне.

— Не тревожьтесь,—сказал он мне,—я честный человек, хотя и веду непорядочную жизнь. Никто никогда не заподозрит, что вы скрываетесь у меня в доме. Я живу с мальчиком и часто привожу женщин в дом.

Я откровенно сказала этому человеку, что его ожидает, если меня арестуют в его доме. Но он продолжал настаивать на том, что в его доме не может быть никакой опасности. Когда стемнело, я пошла с этим совершенно неизвестным мне человеком.

Нам открыл мальчик лет пятнадцати, с очень милым лицом.

— Будьте как дома,—сказал мой хозяин.—Вы видите, комнату не чистили здесь целых четыре месяца. Здесь была женщина на прошлой неделе, но она еще больше ее загрязнила.

Он лег спать в одной комнате с мальчиком, уступив мне свою спальню, все убранство которой состояло из поломанной кровати. На следующее утро он сказал мне, чтобы я двигалась тише, так как мои шаги могут быть слышны в нижнем этаже. Я могла оставаться здесь три или четыре дня, и никто не будет подозревать, что в доме находится женщина. Он ушел, заперев мою дверь с внешней стороны, и я осталась одна. Вечером он вернулся домой пьяный, но говорил толково и не забывал своей роли. Он стал рассказывать мне о себе.

— Я инженер и хороший техник, и у меня золотые руки. Но некоторые умеют склонять голову и слушаться начальства, а я не умею этого. Уже почти год, как я без работы. Я продал все, что было в доме. За квартиру не уплочено, мой мальчик в лохмотьях и не может ходить в школу. У меня есть еще двое детей в деревне; старуха, у которой они живут, грозит прислать их назад, так как я давно уже не платил ей.

Рассказывая мне свою историю, он продолжал пить то пиво, то водку из большого стакана и к 12 часам он совершенно опьянел и начал придираться к сыну. Он приказывал мальчику говорить бессмысленные слова, и, когда тот колебался, он нещадно бил его. Я мучилась ужасно и старалась защитить несчастного ребенка. Вдруг мысли пьяницы обратились ко мне:

— Ты видишь,—кричал он мальчику,—эта женщина святая, она не похожа на тех, которых ты видел здесь раньше. Если тебе придет в голову выдать ее, то ты ответишь мне своей головой.

И он заставил мальчика поклясться не выдавать меня.

В два часа ночи мне удалось уложить его. Я не спала всю ночь. На следующее утро хозяин просил у меня прощения, а вечером повторилось то же самое. Я знала, что мне нужно уйти из этого дома, что я не могу оставаться в таких условиях; но я не знала ни одного места, куда бы я могла пойти.

На третий день мой хозяин ушел, заперев меня, как обычно. В 12 часов я встала, намереваясь приготовить чай. На полу возле окна стояла спиртовка и бутылка со спиртом. Зажигая фитиль, я локтем опрокинула бутылку, и спирт моментально вспыхнул; я едва успела отскочить.

Пламя охватило занавеску, и огонь мог быть виден с улицы. Комната наполнилась дымом, а дверь моей комнаты была заперта. Один момент мне казалось, что настал конец. Но, опомнившись, я стала кидать на пламя все, что могла найти в своей комнате, и с большим усилием мне удалось погасить огонь. Я боялась, что внизу могли услышать шум моей борьбы с огнем, и сидела в страшной тревоге. Наконец, пришел мальчик, и я решила послать его к товарищам. Мысль об этом уже давно занимала меня, но было очень рискованно вверить свою жизнь в руки ребенка. Кроме того, мне нужно было уйти из дома так, чтобы его отец не мог знать ничего о моей дальнейшей судьбе: я чувствовала, что не могу больше полагаться на пьяницу. Но раньше чем я успела отправить мальчика, явился отец. Он был так пьян, что едва мог держаться на ногах. Он даже не заметил следов пожара. Он подошел к окну, открыл его и начал кричать прохожим, сопровождая свои слова страшными ругательствами:

— Знаю я вас. Шпионы, шпионы вы все.

Я оттащила его от окна. Тогда он уселся возле меня; я чувствовала его горячее дыхание на моей щеке. Его глаза были налиты кровью. Я видела, что этот человек совсем потерял рассудок. Я встала. Он схватил мои руки и начал целовать их. Я старалась освободиться, и началась борьба. Мальчик услышал шум в комнате и вбежал к нам. Его внезапное появление остановило пьяницу, который выпустил меня и принялся колотить мальчика. Это было ужасное зрелище; все мои усилия вырвать мальчика из рук отца были напрасны. Наконец, пьяница упал на пол и скоро, к великому нашему облегчению, заснул.

На рассвете я разбудила мальчика и попросила его отнести записку к тов. Тюшевскому. Мальчик понимал серьезность миссии,

которую он принимал на себя. Прежде чем итти с моим поручением, он взглянул на своего спящего отца и спросил меня:

— Вы не боитесь оставаться с ним?

После нескольких часов тревожного ожидания я получила ответ: за мной явится офицер. Вскоре он пришел. Это был И. Е. Колосов, брат Евгения Колосова, известного с.-р. Сначала я подумала, что это один из товарищей, переодетый офицером, но оказалось, что это настоящий офицер местного гарнизона.

— Вы знаете,—сказал он,—полиция очень энергично ищет вас. Они даже выписали знаменитую ищейку «Рекс» из Киева. Вообще в городе ходят о вас самые разнообразные и интересные слухи. Говорят, что в день побега вы скрывались в доме генерал-губернатора.

Он повез меня на квартиру своего товарища офицера, А. М. Рыбакова, которая находилась недалеко от тюремной больницы. Не могу не отметить здесь геройского поступка этих двух офицеров, которые вполне понимали, что им грозит в случае моего ареста. По их настояниям, я часто ходила по вечерам гулять с ними.

Раз Рыбаков приходит домой и говорит мне:

— Вы слышали? Говорят, что вы уже уехали в Швейцарию.

Он рассказал мне, что под каким-то предлогом пошел к жандармскому полковнику и завел с ним разговор обо мне.

— Как об'ясняете вы тот факт,—спросил он жандармского полковника,—что Школьник еще не арестована?

— Очень просто,—отвечал тот.—Она давно уже в Швейцарии, и мы ждем известия о ней от наших заграничных агентов.

Я провела около десяти дней в обществе этих офицеров. Было не безопасно дольше оставаться у Рыбакова из-за денщика. Несмотря на строгое приказание не говорить никому о «даме из Вены», которая остановилась в их доме; несмотря на всегда готовый ответ «так точно, ваше благородие», ему нельзя было доверять: искушение поделиться интересной новостью с товарищами солдатами было слишком велико. Поэтому меня перевели на другую квартиру по указанию Ф. Н. Мерхалевой, служившей фельдшерицей на переселенческом пункте. С ее помощью товарищи Тюшевский и Нахманберг составили план отправить меня в качестве сестры милосердия в переселенческом поезде, шедшем на Дальний Восток, и Мерхалева взялась выполнить его. Деньги для моей поездки за границу достала А. Е. Тюшевская.

Поезд на восток уходил в 8 часов вечера. Я пришла на станцию за несколько минут до отхода поезда и прошла прямо в ва-

гон. Эти несколько минут показались мне вечностью. Наконец, был дан последний звонок, и поезд тронулся.

В Манчжурии я встретилась с товарищем Нахманбергом, который должен был помочь мне перейти границу. Мы поехали в Харбин, где Нахманберг достал настоящий паспорт фельдшерицы санитарного отряда. Несмотря на все наши предосторожности, на станции Куанчендзы за нами увязался шпион, но мой белокурый парик и деланный вид легкомысленной особы вывезли меня и на этот раз, и мы благополучно перешли границу.

Мы отправились в Дайрен. У меня не было достаточно денег, чтобы отправиться в Европу, и мы оставались три недели в Дайрене, пока не получили денег из России.

За эти три недели мое здоровье значительно поправилось. В эти чудесные дни, когда солнце Востока согревало меня своими ласковыми лучами, я думала, что не было существа счастливее меня. Я была свободна, свободна от цепей. Только тяжелым камнем давило душу воспоминание не о лично пережитом, даже не о наших общих неудачах на революционном фронте, а о том, что позади меня, там в страдающей от деспотизма России, осталась большая часть моего сердца, моей жизни—мои товарищи, с которыми я прошла общий путь самоотверженной борьбы и невыносимых страданий. Они оставались еще в каторжных тюрьмах, в лапах царских палачей Метусов и Бородулиных.

Как хотелось скорее вырвать их из этих ненавистных лап!

И я поехала в Европу с твердым решением отдать все свои силы на их освобождение.

В этих новых переживаниях, в охватившей меня радости и жажде жить и бороться, я черпала новые силы и бодро пошла вперед, навстречу желанным дням борьбы.

Ф. Н. Радзиловская

МАЛЬЦЕВСКАЯ ВОЛЬНАЯ КОМАНДА

1909—1911 гг.

По законам царского правительства все осужденные на каторжные работы, зачислявшиеся сначала в разряд «испытуемых», через несколько лет переводились в разряд «исправляющихся», а затем—во «внетюремный разряд» или так называемую «вольную команду», с правом жить в собственных избах, вне тюремной ограды.

«Внетюремный разряд» был совершенно уничтожен для отбывающих каторгу в тюрьмах Европейской России и в течение целых периодов был почти сведен к нулю для политических каторжан сибирской каторги. Так, в годы 1907—1908 вольная команда хотя и не была отменена юридически, но фактически к политическим каторжанам она не применялась, и многие краткосрочные каторжане и каторжанки уходили прямо из тюрьмы на поселение, не побывав в вольной команде.

Осенью 1909 года у нас в Мальцевской тюрьме разнесся слух, что несколько политиков-зерентуйцев выпущены в команду. Мы страшно заволновались. Была довольно значительная группа лиц, подлежавшая выпуску.

Для нас, для которых не было никакой внешней жизни, которые жили оторванными от всего мира, почти на краю света, каждый уход на волю был чем-то огромным, что вливалось в тюремную жизнь. И вдруг целая группа лиц может уйти из тюрьмы. Пусть это не настоящая воля, но все-таки это лазейка на волю, и особенно важна эта лазейка для долгосрочных каторжанок, осужденных на 10—15 лет каторги.

Выпуск в вольную команду произошел неожиданно. Помню, как-то после обеда к нам в камеру пришел начальник тюрьмы

Павловский, назвал целый ряд лиц и предложил им собирать вещи.

Мы волновались и боялись, что Павловский начнет разговоры о разного рода обязательствах, о круговой поруке, но обо всем этом Павловским не было сказано ни слова.

Сборы были очень короткими, и через полчаса группа в восемь человек уже выходила за ворота тюрьмы. В этой группе



Наша землянка в Мальцевской вольной команде.

были: Зина Бронштейн, Елизавета Павловна Зверева, Вера Горовиц, Августа Нейман, Аустра Тиавайс, Павла Меттер, Роза Майденберг-Гершкович и Лиза Жвигуль.

Это было 27 сентября 1909 года.

Нашим вольнокомандкам казалось, что они вырвались на настоящую волю. Но сразу же им пришлось почувствовать, что до настоящей воли еще очень и очень далеко.

Первым побуждением вышедших в команду было еще раз повидать оставшихся в тюрьме товарищей, с которыми они были связаны долгой совместной жизнью. Хотелось сразу же оказать им внимание.

Самым простым и легким было—влезть на сопку, возвышавшуюся над самой тюрьмой. Так и сделали, — благо энергии был непочатый край. Стремительно всей группой полезли на эту сопку. С вершины ее был прекрасно виден тюремный двор.

Сопка эта, отвесная перед тюрьмой, с другой стороны спускается полого, так что солдаты, охранявшие тюрьму, увидали вольнокомандок только тогда, когда последние добрались до высшей точки. И когда перед удивленными лицами солдат на вершине сопки показались человеческие фигуры, солдаты вначале опешили. Так неожиданна, непривычна и необычайна была эта картина для тихой Мальцевки, где никогда ничего не случалось.

Перед вольнокомандками же, как на ладони, открылся тюремный двор. Там как-раз в это время гуляли свои. Встреча была радостная и даже бурная. Все махали друг другу платками, выкрикивали приветствия. Зина Бронштейн в яркой красной вязаной кофточке стояла впереди всех, оживленно махала шарфом и в увлечении что-то кричала.

Опешившие было солдаты опомнились. Такой дерзости, такой демонстрации они не могли позволить. И они открыли стрельбу. Для вольнокомандок это тоже было неожиданностью. Хотя они и на воле, но забираться им можно далеко не всюду. Все бросились стремглав обратно с сопки. По дороге кто-то потерял туфлю, но было не до этого.

Так началась вольная команда в Мальцевке. И это было характерным для всей вольнокомандной жизни.

«Что такое вольная команда?»—спрашивали мы много раз себя, смеясь. Это сочетание слова «вольная» с «командой» нам всегда казалось в высшей степени странным. С одной стороны—вольная, что означает свободу, с другой—команда, то-есть принуждение.

На самом же деле для нас, живших в Мальцевской вольной команде, эти слова до-нельзя оправдывали себя и проходили через всю нашу жизнь. Мы чувствовали себя после тюрьмы и по сравнению с оставшимися в тюрьме товарищами как бы на свободе, но вместе с тем были скованы невозможностью распоряжаться своей свободой, невозможностью передвигаться, различного рода ограничениями, поверкой и т. д.

Вышедшим в вольную команду надо было сразу же начать думать о том, где жить. Было всего одно маленькое помещение, небольшая комнатка, бывшая аптечка, где сразу все поселились. В этой аптечке жили в ожидании постройки своих домиков. Такие домики из одной комнаты покупались нами готовыми на снос

в соседних деревнях, раскладывались, перевозились и снова складывались. Стоило это сто рублей.

Когда первая группа каторжанок вышла в команду, 27 сентября, я еще оставалась в тюрьме. Начальник тюрьмы Павловский, как всегда половинчатый и нерешительный, делал все не до конца и не сразу выпустил всех, чей срок уже вышел.

В начале октября Павловский заявил мне, чтобы я начала строить домик, так как аптечка переполнена и мне выйти некуда. Пришлось начать постройку в моем отсутствии, при чем для скорости было решено строить землянку. Павловский обещал для этой цели дать человек 30 солдат, которые брались за плату выстроить землянку довольно быстро.

11 октября пришел в тюрьму Павловский и так же неожиданно, как он всегда все делал, не глядя мне в глаза, сказал:

— Можете собираться в вольную команду.

В тот же день, собрав крошечный скарб и все мальцевские фотографические карточки, я ушла из тюрьмы.

Поселилась я в аптечке, так как, вместо дома, я нашла вбитые по четырем сторонам два ряда кольев, которые должны были изображать остов землянки. Эти колья были сплетены прутьями снаружи и с внутренней стороны и залеплены глиной. Между кольями насыпалась уже начинавшая земерзать земля. Ни крыши, ни пола не было. Вместо окон, торчали две дыры, из которых одна была на пустырь.

Аптечка, где мы все ютились, имела не больше шести квадратных метров, а нас было уже девять человек. Спали мы вплотную одна к другой, кто на лавках, кто на раскладных кроватях. Жизнь по тюремной традиции продолжалась коммуной, попрежнему еще продолжалось очередное дежурство, однако теперь на обязанности дежурной лежало приготовление обеда.

Постепенно публика стала расходиться. Первыми переселились Зина Бронштейн и Августа Нейман во вновь купленный и перевезенный домик. Отдельный домик с русской печкой и лежанкой, с грубо сколоченными столом и табуреткой, с казенной железной кроватью казался нам верхом счастья и уюта, уже по одному тому, что комната имела индивидуальный, а не казенный вид, и потому, что здесь можно было остаться наедине, а мы все устали от общей камеры, от жизни всегда по одному ранжиру.

Вслед за Зиной и Августой переселились Аустра Тиавайс и Вера Горовиц. Такой же домик, как у Зины, был перевезен и снова составлен, но поставлен был на очень неудачном месте, как потом оказалось, над подземным ключом. Благодаря подземному

ключу, домик Аустры очень скоро накренился набок, и немного даже переменил свое место.

С моей землянкой дело шло очень туго. Земля была мерзлая, солдаты неохотно возились с нею, заранее получив деньги. К тому же переговоры с солдатами вели Павловский и надзиратели, так как мы не имели права вступать с ними в какие-либо сношения.

Не помню точно, но, кажется, в самом конце октября я перешла в свою землянку. В тот же вечер была выпущена Рива Аскинази, и мы поселились вместе.

Странный вид представляла собою наша землянка. Это было настоящее ласточкино гнездо, наспех свитое. Не было ни одного сантиметра гладкой стены, вся стена представляла волнообразные зигзагообразные линии. Глина, которой облепливались прутья и колья, бросалась как попало, образуя в одних местах бугры, в других—впадины. Из-под бугров в некоторых местах торчали прутья. Таков был и наружный и внутренний вид стен. Потолок тоже шел зигзагами, так как, вместо потолка, были наложены деревья осины, покрытые легким слоем глины, сквозь которую торчали ветви и прутья. Сверху крыша была покрыта берестой. Эта береста при сильных сибирских ветрах нередко разлеталась в разные стороны, а мы бежали за ней и ловили, стараясь водворить на место, что нам не всегда удавалось.

Земля между кольями была мерзлая, и зимой, несмотря на то, что топилась русская печка и железная печурка, по углам у нас были настоящие снежные сугробы. Эти углы у нас носили название северного полюса.

Зато был в нашей землянке и знойный юг, особенно любимый нами. Это была широкая русская печка, на которой мы лежали и отогревались, когда в землянке было нестерпимо холодно. Однако, не только за тепло любили мы это местечко. Дело в том, что деревья, из которых был сделан потолок и которые торчали во все стороны, в самую лютую зиму расцветали у нас над русской печкой. И в то время как в других углах у нас лежал снег, над печкой осина давала нежные зеленые листочки, казавшиеся нам особенно нежными в нашей снежной хате в суровую сибирскую зиму. Эти нежные листочки мы старались передать оставшимся в тюрьме товарищам.

К довершению всего пол в нашей землянке был из мерзлой глины. Последняя оттаивала и прилипала к ногам, пролитая вода оставалась лужей на полу, ножки кровати и стола глубоко уходили в глиняный пол. Деньги, полученные нами на землянку, все были истрачены, и нам не сразу удалось завести деревянный пол.

Пользуясь нашим горьким опытом, уже никто из наших не строил больше землянок, тем более, что она обошлась гораздо дороже, чем стоили домики. Кроме Аустры Тиавайс и Зины Бронштейн, домики были куплены еще Павлой Меттер и Сашей Эскиной. Выходившие постепенно селились в аптечке и в построенных нами домиках.

После переселения в свои домики, впервые после долгих лет жизни коммуной, мы перешли к индивидуальному хозяйству. Селились вместе наиболее между собой близкие люди. Они вели сообща хозяйство, сообща питались.

Было даже странно после общего имущества в Мальцевке, после того как между всеми делилась малейшая посылочка, после коммунальной кассы—делать индивидуальные закупки, брать в долг друг у друга продукты и отдавать. Но первое время была даже тяга к такому индивидуализму, было желание пожить по-своему, как хочется. Конечно, очень скоро эти индивидуалистические стремления стерлись, но до конца хозяйство в вольной команде велось по домам.

Правда, хозяйство это было очень несложным и незатейливым, а бывали периоды, когда нам вообще надоедало возиться со стряпней и мы забрасывали варку. Происходило это потому, что обед варился в русской печке со всякого рода кочергами и ухватами, с которыми надо было уметь управляться и которые требовали большого труда.

Бывали и другие периоды, когда нам приходилось очень туго и у нас ничего не было, кроме картошки. Мы добросовестно истапливали русскую печку, варили картошку. Эта картошка шла у нас под почетным названием «fishkartoffl» (картофель с рыбой), и мы по-настоящему чувствовали рыбный запах, который шел от нее, хотя она варилась без всякой рыбы...

Прорыв в нашем питании был особенно силен тогда, когда наша землянка требовала денег для какого-либо ремонта, что ставило нас в затруднительное положение. Однако, какой-нибудь случай всегда выручал нас.

Вспоминается, как однажды мы сидели совсем без денег и долго раздумывали, откуда их раздобыть, но ничего не могли придумать. Вдруг, я вижу, Рива вскакивает с места, стремительно бежит к своей подушке и, ни слова не говоря, начинает ее распарывать. Сначала мне показалось, что с Ривой приключилось что-то неладное, но очень скоро я сообразила, в чем дело.

Мы расстелили на пол бумагу, вытряхнули из подушки пух и тщательно стали перебирать его. После долгих поисков, уже почти отчаявшись что-либо найти, мы наткнулись на пятирубле-

вую бумажку. Эта пятирублевка была зашита в подушку перед от'ездом Ривы в этап из Москвы и спокойно пролежала там больше года. Бесчисленные обыски, которым подвергались вещи, не открыли ее, а Рива об этих деньгах совсем было позабыла. Благодаря такой находке, мы «сверх программы» купили себе угощение: китайскую пастилу—тягучую массу, которой мы все очень увлекались.

Был период в вольной команде, когда мы питались прекрасно,—это было тогда, когда за стряпню взялась Татьяна Семеновна Письменова. Она готовила нам вкусные и сытные обеды.

В общем, конечно, питались мы в команде гораздо лучше, чем в тюрьме. Мы имели возможность получать с воли больше денег, чем тюремные. От казны вольнокомандцы получали либо продукты, либо по 2 р. 50 к. в месяц. Мы предпочитали последнее и брали деньгами.

В вольной команде впервые, после долгих лет, у нас появилась возможность иметь самостоятельный заработок.

Дело в том, что тюремная администрация—начальник и надзиратели—чрезвычайно обрадовалась возможности обучать своих детей на месте, а не посылать их учиться в зерентуйскую школу. Посылать в Зерентуй было далеко и затруднительно как для детей, так и для родителей. Как только мы вышли в вольную команду, все начали забирать своих ребят из зерентуйской школы, и под конец все дети тюремной администрации Мальцевской тюрьмы обучались у нас.

Плата за ученика была 4—5 руб. в месяц. Кем и почему была установлена эта цена, сейчас не могу вспомнить.

У меня было несколько уроков. Из моих учеников почему-то запомнился мне маленький Евстафий Кочаков, сын надзирателя. Мальчик лет девяти, буквально разинув рот, слушает рассказы о других странах. Его удивляет, что земля такая большая, что есть где-то железные дороги, пароходы, черные люди и т. д. Внешний мир, в котором он живет, так тесен и ограничен, состоит из такого узкого круга людей и понятий, что он слушает все, что выходит за пределы этого мира, как сказку, и не хочет верить этому...

Еще запомнилась мне одна из учениц—Нина Добровольская, дочка надзирательницы, принимавшей участие в подготовке побега Маруси Спиридоновой. Под видом этой Нины Маруся Спиридонова должна была уйти из тюрьмы.

Нина, своевольная и капризная девочка лет 11—12, долго не проявляла никакого интереса к учению и казалась мне даже немного туповатой. Но когда однажды я на наглядном примере

об'яснила ей дроби, у нее вдруг точно прояснилось что-то в голове, ее потянуло учиться. С девочкой не только произошла перемена в занятиях, но она неожиданно очень привязалась ко мне, хотя старалась не показывать этого.

Мы с ней встречались только на уроках, и я часто замечала ее ласковый и внимательный взгляд на себе, когда ей казалось, что я на нее не смотрю.

Помню, когда провалился побег Маруси Спиридоновой и надзирательнице Добровольской было предложено уехать из этого района, Нина, забыв свою гордость, долго ревела, прощаясь со мной.

Надо сказать, что в общем с ребятами, которых мы обучали, мы были далеки и встречались только на уроках, поскольку у нас не было никакого желания подойти ближе к администрации в ее домашнем быту. Правда, надзиратели и Павловский, пользуясь тем, что мы обучали их ребят, старались завести с нами более близкое знакомство, много раз приглашали нас в гости, но мы шли на это так туго, что они потеряли надежду и оставили нас в покое.

Весь наш маленький мальцевский поселок ютился в котловине между гор и состоял из тюрьмы, нескольких деревянных домиков администрации, уголовного барака, барака для солдат и наших домиков.

В ближайшем соседстве с нами, в десяти минутах ходьбы, была небольшая заброшенная крестьянская деревушка. Нас, конечно, тянуло туда, и, хотя нам были запрещены всякие сношения с крестьянами, мы тайком иногда ходили в деревню, разговаривали с крестьянами и обучали крестьянских ребят и подростков.

Однажды, помнится, надзиратель Кочаков наткнулся на нас у разрушенного домика Благодатских рудников возле самой деревни, и нас тотчас же вернули обратно. Это не помешало нам ближе познакомиться с бытом и нравами окружающего деревенского населения.

Скоро мы убедились, что эта деревня, да и окружающие не могут считаться типичными. В течение многих поколений эти деревни заселялись исключительно уголовными, оседавшими в Нерчинском округе, что наложило на них совсем особый отпечаток.

В крестьянах нас поражала оторванность от всякой жизни, замкнутость в своем маленьком мире, боязнь всего, что выходило за пределы деревни. Когда одна из деревенских девушек вышла замуж за 18 верст от деревни, то в деревне ее оплакивали, как умершую, считали, что она вычеркивается из их жизни.

Им казалось невозможным хоть раз в жизни встретиться с человеком, который живет за 18 верст. Никто из них никуда не уезжал, а железная дорога представлялась им чем-то смутным и нереальным.

Зато свой маленький мирок до самой последней курицы всякий из них знал на зубок, и, когда однажды прискакала в деревню чужая лошадь, все выбежали из изб, тыкали в нее пальцем, удивлялись, и долго толпа ребятишек и даже взрослых бежала за ней.

Рассказывали нам про местных крестьян страшные вещи, говорили о какой-то нечеловеческой их черствости.

Когда у одного из крестьян на краю села горел дом и он изо всех сил кричал и умолял помочь ему, никто из деревни не сдвинулся с места.

В этой заброшенной деревушке, да и в других окрестных деревнях, где мы покупали домики, царили суеверия и предрассудки. Помнится, в одной из деревушек, где Павла Меттер покупала домик, один из крестьян жаловался ей, что у него шаман (леший) в лампе; из-за шамана лампа его постоянно коптит, и, несмотря на частую побелку, изба всегда черная...

Павла посоветовала почистить и подрезать фитиль, но крестьянин только улыбнулся и ответил:

— Не поможет, против шамана не пойдешь.

Сколько она его ни уговаривала, он так и не согласился. Вера в ведьм и колдунов среди местных крестьян была очень сильна. Нас со страхом предупреждали не ходить в лес, так как там живет ведьма, которая иногда принимает образ волка.

На нас крестьяне глядели, как на источник выгоды, стараясь взять подороже за продукты. Надо признаться, что мы были очень непрактичными по выходе из тюрьмы и плохо ориентировались в самых простых житейских делах. Чувствуя нашу житейскую беспомощность, крестьяне старались с нас содрать, где только было возможно.

Помню один очень комичный случай. В Сибири зимой молоко продается замороженными кругами на фунты. При оттаивании оно принимает свой прежний вид.

Когда в первый раз какой-то крестьянин принес мороженое молоко, мы все высыпали покупать его. Цена была назначена им самим 5 коп. за фунт. Услыша такую цену, я очень удивилась и вслух сказала:

— Как дешево!

Крестьянин тотчас же воспользовался этим и заявил:

— Ты ослышалась, я тебе сказал по 9 коп. за фунт.

Пришлось платить по 9 коп...

То же самое происходило и с кирпичом, который мы закупали для наших русских печек, и с другими вещами и продуктами, которые мы приобретали. Наша непрактичность казалась им очень странной. Может-быть, благодаря ей про нас говорили: «девки ничего себе, только придурковатые». «Хорошо бы жениться на таких, девки румяные, красивые, да какой толк, хлеба даже не умеют испечь»...

Вторыми нашими ближайшими соседями были солдаты.

Многие из нас судились по делу военной организации, работали на воле среди солдат, по дороге вели агитацию среди конвойных. Но здесь мы были настолько от них изолированы, настолько не имели возможности с ними встречаться, что ни о какой агитации не могло быть и речи. Жили они в бараках возле самой тюрьмы, и мы только иногда издали видели, как их выстраивали для обучения.

Кроме крестьян и солдат, по соседству с нами жили и уголовные. Их было довольно много, так как их не задерживали с выпуском в команду. Часть из уголовных жила в общих бараках возле самой тюрьмы, а часть, главным образом, семейные, жила в землянках в специальном поселке, минутах в десяти ходьбы от нас.

Среди уголовных политические считались состоятельными. Многие из нас получали деньги от родных, от друзей, от политического Красного Креста. И хотя эти суммы были небольшие, в 5—10 рублей (иногда несколько больше), но в глазах уголовных они вырастали и становились крупными... О наших денежных переводах уголовные хорошо знали, так как в качестве почтальона был уголовный.

Наше привилегированное по сравнению с ними положение, отсутствие для нас принудительных работ, мнимое наше богатство—несколько настраивало их против нас, но все-таки жили мы дружно, и столкновений у нас с ними никаких не было. Нам и в голову не приходило чего-либо бояться, и мы жили в наших домиках, даже не закрывая на ночь дверей. Однако, после одного события все изменилось, и у нас началась тревога.

Как-то утром вдруг распространился слух, что в поселке уголовных убита уголовная татарка Бопеша. Это была молодая, красивая женщина, лет 23—24, с большими прекрасными грустными глазами, тихая и скромная, попавшая, кажется, за убийство своего мужа.

Ее четырехлетняя девочка Ермачек, с такими же прекрасными, задумчивыми глазами и нежным личиком, была задушена платком, повязанным туго-натуго вокруг ее крошечной шейки.

Началось расследование. Расследование показало, что убийство было совершено с целью грабежа двадцати рублей, которые были похищены у Бопеши. Выяснилось, что Бопеша оказала сопротивление, ребенок же, очевидно, был задушен во избежание крика и шума. Было установлено, что в ночь убийства исчезли двое уголовных. Ясно было, что убийство и ограбление совершено ими.

Узнали мы об этом событии через несколько дней.

Как-то утром подзывает нас с таинственным видом уголовная Карповна, которая со своим мужем жила в домике недалеко от нас, и говорит:

— Уберите все из сеней.

Сени наши были большие, и мы там держали всякую всячину. Вход в них был свободен, так как они не имели четвертой стены и дверей. Одной стеной для них служила аптечка, другой—стена нашей землянки, третьей—устроенный плетень. Наверху был построен плетень и навес, что делало сени отчасти темными.

Через несколько времени Карповна опять по секрету сообщила нам, что уголовные, убившие Бопешу и Ермачка, скрываются в землянках, что им нужны деньги для побега, и единственный выход для них—это напасть на нас, политических.

Мы знали, что напасть на нас ничего не стоит. Окна из одной рамы держатся на нескольких гвоздиках, приколоченных с наружной стороны. Отогнуть гвоздики, вынуть рамы и забраться в наши хаты—дело одной минуты, тем более, что домики наши на отлете, и никто не помешает нападению.

Сначала мы стали думать о защите. Даже пошли к начальнику тюрьмы Павловскому с просьбой достать нам револьверы. Конечно, в револьверах нам было отказано, да к тому же нас высмеяли. Ведь мы можем использовать оружие в другую сторону...

Тогда мы увидели, что защищаться нам нечем, что мы одиноки и беззащитны в полном смысле этого слова и предоставлены только самим себе.

Для нас началась очень тяжелая полоса. Забыто было время, когда мы спали при незапертых дверях. Каждую ночь, прежде чем ложиться, мы запирали дверь на ключ и в скобу для крепости вставляли наискось палку. Окна с внутренней стороны обвешивались всевозможными звучащими предметами—ножами, вилками, ложками, жестяным тазом и так далее. Делалось все это для того, чтобы мы не прозевали момента нападения. Пусть все сразу зазвенит, загремит и разбудит нас, как только уголовные полезут через окно... Услышать момент нападения было для нас самым главным.

Мы знали, что если скрывающиеся уголовные ворвутся к нам, то нам не избежать насилия с их стороны. Терять им нечего. Если они не остановились перед тем, чтобы задушить ребенка, то нас они и подавно не пощадят.

И мы думали лишь о том, чтобы не прозевать их прихода и не даться им в руки живыми. Около кровати ночью всегда стояла наготове бутылка с керосином и спички. Когда стоит наготове керосин, поджечь хату—дело одной минуты.

Каждый вечер мы почти все сходились у нашей землянки, садились на завалинку и рассказывали страшные истории о всяких случаях, грабежах и убийствах, особенно часто встречающихся в Сибири, благодаря массе уголовного элемента. Мы взвинчивали себя до-нельзя и, взволнованные расходились по домам.

Эти ночи были настоящей пыткой. Малейший шорох заставлял просыпаться и настораживаться. Особенно жутко становилось, когда, бывало, не спишь и к довершению слышишь, как совсем близко протяжно воют волки. А волков было очень много кругом в лесах, и иногда они подбегали к самой деревне.

Напряжение этих ночей довело нас до того, что свобода нам перестала казаться милой, и мы думали проситься обратно в тюрьму.

Кроме Карповны, которая нас все время предупреждала, нас еще подзуживали уголовные:

— Вы думаете, что ваши гвоздики у окон вас защищают,— говорили нам некоторые из них...—Мы знаем, вы богатые...

Мы знали, что уголовные, убившие Бопешу и Ермачка, еще не убежали и скрываются под половицею в одной из землянок уголовного поселка, но пойти указать на них, выдать их прибежище мы считали себя не в праве.

В таком напряжении жили мы около двух-трех недель. Наконец, мы узнали от Карповны, что беглецам нет возможности дольше скрываться и что нападение должно состояться не сегодня-завтра. Из каких побуждений говорила нам это Карповна, сказать сейчас очень трудно. С одной стороны, она была добрая женщина, хорошо к нам относилась, а с другой—у ее мужа, тоже уголовного, было что-то в роде притона, куда сходились самые темные элементы из уголовных.

Эти последние вечера ожидания были особенно жуткими. Мы раздобыли откуда-то свистки и условились давать сигналы свистками друг другу. Не знаю, решились ли бы мы открыть двери и выскочить на эти сигналы, но казалось легче переживать эти страхи не в одиночку и услышать ответный свист от бодрствующих товарищей в соседних домах.

Наша землянка была особенно беззащитна, особенно угрожаема в силу ее местоположения, так как она находилась на самом отлете и одним окном выходила на пустырь. К довершению всего, Рива Аскинази, с которой я жила, захворала и лежала с очень высокой температурой. На малейшие шорохи по ночам я вскакивала в тревоге, будила Ривочку, разговаривала с ней. Но она лежала в забытье, ни на что не реагируя, и оставалась совершенно безучастной к моим разговорам.

В эти дни из тюрьмы вышла в вольную команду Вера Боброва. Она как-раз попала к нам в ночь, когда мы окончательно ждали нападения.

Все было в полной боевой готовности. Риве было немного лучше, и мы все трое не спали, лежа в своих постелях, настороженные, ожидающие.

Поздно ночью возле окна мы заметили тени. Ночь была лунная, и мы ясно видели, как тени, крадучись, пробираются возле нашей завалинки, которая окружала нашу землянку. Мы немедленно встали, зажгли лампы, кто-то из нас дал свисток. Тотчас же послышался ответный свист из соседнего домика; шорохи возле землянки затихли, тени исчезли.

Много раз появлялись в эту ночь тени, мелькая то возле одного, то возле другого окна. Но каждый раз мы были настороже, каждый раз зажигали лампу, в землянке начиналось движение, и каждый раз тени куда-то исчезали. Такая невидимая борьба, при огромном напряжении с нашей стороны, длилась до самого утра. Утром всегда все кажется яснее и воспринимается спокойнее. Утром мы узнали, что скрывавшиеся уголовные бежали в эту ночь. Всю ночь они ходили возле нашей землянки, но, очевидно, наша настороженность и предположение, что мы защищены и вооружены лучше, чем это было на самом деле, остановили их от нападения.

Единственное, что им удалось сделать, это ограбить тюремный погреб, который был очень близко от нашего окна, и вытащить оттуда казенные продукты—мясо, масло, сало. Пришлось им ограничиться этим немногим. Очень скоро они были изловлены.

Наше напряжение и страхи как-то сами собой прекратились. Были забыты бессонные ночи, палки в дверях, окна, обвешанные ножами и вилками, бутылки с керосином возле кровати и полная готовность уничтожить себя в случае нападения. И снова мы стали спать, зачастую забывая даже закрыть входную дверь на крючок. Снова мы почувствовали прелесть частичной воли, и казалось странным, что еще недавно мы хотели проситься в тюрьму.

Ощущение, что мы не в тюрьме, несмотря на все ограничения и запрещения, которые висели над нами, мы чувствовали всегда особенно остро. Нам запрещались всякие сношения с окружающим миром, запрещалось ходить далеко, каждый вечер у нас была та же поверка, как и в тюрьме, и все-таки мы постоянно чувствовали, что двери наших избушек не заперты, что перед глазами у нас нет постоянной стены, что нет решеток на окнах и так далее.

Совсем другая психология была у Галочки, нашей маленькой тюремной девочки, дочки Петровой, никогда не жившей на воле. Когда однажды Галку пустили к нам в команду в гости, она, как настоящее тюремное дитя, испугалась, что кругом нет стены, что перед ней открывается большое пространство. В течение всей своей крохотной жизни она привыкла ходить по четырехугольнику, окруженному со всех сторон стеной, и ни за что не соглашалась итти гулять. Вечером она плакала и не хотела ложиться спать, ее пугало, что на окнах нет решеток.

Все живые существа, кроме людей, ее страшно пугали. Она шарахалась в сторону от собак, от лошадей, от курицы. Все это были для нее новые понятия, до сих пор она видела их или на картинках или в виде игрушек и никогда не представляла, что это реальные, живые существа.

Был и у нас некоторый отпечаток, наложенный долгим пребыванием в тюрьме. Так, мы настолько отвыкли находиться вечером и ночью под открытым небом, что нас пугала темнота, и мы со страхом перебегали дорогу под звездным небом из одного домика в другой. Это ощущение долго не проходило и стерлось только с течением времени.

Несмотря на запрещение, мы все-таки ходили довольно далеко на прогулки. Нашей обычной любимой прогулкой была Килгинская дорога. Она шла между горами и вела к реке Аргуни, от которой начиналась китайская граница. До реки мы никогда не доходили, но уходили версты за три, за четыре до зеленых камней.

На этой дороге всегда поражала какая-то необычайная тишина. Эта тишина поражала и привлекала после многих лет общей камеры, невозможности ни на минуту остаться наедине с собой.

Шли обычно по этой дороге медленно, углубившись в себя, созерцая и прислушиваясь к тишине. Кругом было безлюдно и тихо, обычно не встречали ни одного человека. Встреча с кем-либо нас пугала, так как селений здесь не было, и если попадался на пути человек, то какой-нибудь недобрый.

Неизменно день за днем всю зиму ходили мы на Килгинскую дорогу, и она нам никогда не надоедала. Тишина и безлюдье

культивировали какие-то туманные и неясные настроения. Жизнь и воля за горами казались где-то далеко, и трудно было представить, что будем делать мы, когда очутимся на воле.

Вечерами, когда делалось совсем темно, мы занимались единственным доступным нам спортом: брали у детей санки и быстро-быстро спускались на них вниз с горки. Помню, особенно этим делом увлекались я и Вера Горовиц, стараясь развить возможно большую быстроту при спуске. Это катанье придавало физическую бодрость и силу и затмевало те неясные настроения, которые порождала Килгинская дорога.

Особенно остро почувствовали мы частичку воли весной. Первая весна в вольной команде дала нам чрезвычайно много. Зима в Сибири такая длинная-длинная, так хочется скорее ее «протолкнуть», так долго не тает снег. И, помнится, в эту первую весну за оградой тюрьмы мы совсем обезумели от радости, от свободы, от повеявшего тепла.

Весна идет слишком медленно—надо помочь ей. И мы карабкались по горам, раскапывали и разгребали снег, добирались до нежных ростков ургулек-подснежников, помогая им скорее выглянуть на свет. Нам казалось, что мы подталкиваем природу, помогаем ей скорее изжить зиму.

Настоящая весна в Забайкалье—дикая, буйная, шумная. Помню, наша неизменная тройка—Вера Горовиц, Рива Аскинази и я — сидит на пригорке. Вокруг нас бесчисленное количество бурных от быстрого таяния снегов горных ручейков скатывается с шумом вниз. Внизу бурлят подземные ключи, которые тоже с шумом вырываются наружу. Весь мир наполнен шумом, звоном и радостью. Нас охватывает безумное ощущение радости.

Людям, которые из года в год встречают весну на свободе, трудно даже представить это ощущение и восприятие просыпающейся природы на воле после долгих лет запертой камеры, после того, как жизнь проходила за решеткой окна.

Началось наше лазанье по горам. На горах особое чувство легкого горного воздуха, так легко и свободно дышится. Кроме нас, вольнокомандок, никто по горам не лазил. Помнится, однажды крестьянка рассказывала нам, что на Доронину гору по Килгинской дороге до сих пор только один пастух забрался, да и тот разбился. Между тем, эта гора невысокая, очень доступная, и нам не стоило никакого труда забраться на нее.

За деревней, куда мы частенько ходили, были особенно причудливые нагромождения камней, напоминавшие развалины замка, с бесчисленным количеством мрачных и сырых гротов, в которых росли странные темно-бархатные цветы—могильники. По

всей окрестности деревни лежал серебристый песок. Говорили, что крестьяне находили в нем крупинки серебра.

Не раз и не два видели мы здесь змей, и однажды наблюдали, как змеи гурьбой ползли к реке пить. Но нас это не пугало. Странное дело: мы ничего не боялись. Страшнее всего были здесь для нас люди, которым легко было с нами расправиться и скрыть наше исчезновение, бросив нас в шахту.

Ряд заброшенных шахт, в которых когда-то работали декабристы, был расположен недалеко от деревни. Мы старались заглянуть в эти шахты, кидали в них камни и слышали, как эти камни летели долго-долго, прежде чем ударялись о дно.

— Эти шахты глубокие,—говорили нам крестьяне,—лошадь однажды упала в одну из шахт, так и осталась там.

Бросить нас в эти шахты или прикончить с нами иначе—ничего не стоило. И однажды с нами чуть не расправились основательно. Произошло это следующим образом.

Одно время офицером конвойной команды в Мальцевской был Юревич или Юркевич, сейчас не помню точно. Молодой, высокий серб, довольно красивой наружности, он, наверно, привык покорять дамские сердца. Скучая в такой дыре, как Мальцевская, он решил развлечься и попробовать свою силу на нас. Ему это, очевидно, казалось очень легким делом.

Однажды вечером мы втроем—Рива, Вера и я—сидели в землянке, о чем-то оживленно болтая, как вдруг раздался стук в дверь и вошел Юркевич. Мы, не зная его даже в лицо, поглядели на него с недоумением и спросили, кто он такой, что ему нужно.

В ответ он с развязным видом садится и начинает длинный разговор о том, что он знал отца Горовиц в Киеве, что он пришел передать ей привет, познакомиться с нами и наладить хорошие отношения.

Конечно, все это была выдумка и никакого отца Веры он не знал, а узнав, что она из Киева, решил сплести эту историю, как предлог для знакомства. То, что мы не прогнали его сразу, а позволили ему высказаться, он принял за хорошее начало.

На следующий вечер прибежал, запыхавшись, его денщик и заявил, что его начальник зовет к себе Горовиц по какому-то важному делу. Она, конечно, не пошла. Приблизительно через час заявился сам Юркевич. Мы не впустили его и заперлись на ключ. Долго стучался к нам Юркевич, просил пустить его, говорил, что ему нужно сообщить нам что-то очень важное. По голосу его чувствовалось, что он пьян.

Мы сидели втроем, запершись на ключ, и ждали, когда он уйдет, чтобы Вера могла выскочить и перебежать через дорогу к себе домой.

Долго продолжалось его хождение вокруг нашей землянки, много раз стучал он к нам в дверь, потом снова посылал денщика, но мы даже не откликались.

Поздно вечером, когда уже повсюду была тишина, мы побежали проводить Веру через дорогу.

Думали, что на этом все кончится и что он успокоится. Оказалось далеко не так, оказалось, что он счел себя оскорбленным и решил нам отомстить.

На следующий день мы по обыкновению пошли на Килгинскую дорогу. Не знаю почему, но как-то не хотелось на этот раз далеко уходить и подниматься на гору, и мы расположились близко от дома в ущелье между двумя сопками. Вдруг видим, по сопкам лезут солдаты, некоторые верхом на лошадях. Нам стало беспокойно, и мы, не замечаемые ими, быстренько вернулись обратно.

Нас встретили товарищи, очень обеспокоенные. Оказывается, Юркевич с солдатами двинулись по Килгинской дороге, вооруженные, чего прежде никогда не было.

Позже уже от надзирателей, частным порядком, мы узнали, что у Юркевича было намерение расправиться с нами под видом нашего побега. Представить дело в таком свете ничего не стоило. К счастью, ни Юркевич, ни солдаты нас не заметили.

Некоторое время после этого мы остерегались удаляться из дома, но очень скоро Юркевич был переведен куда-то и исчез с нашего горизонта. Мы перестали остерегаться и опять стали бродить повсюду.

Администрация, конечно, знала, что мы, несмотря на запрещение, бродим далеко, и смотрела на это как-будто сквозь пальцы, но все-таки была настороже и всегда наготове.

Помню, однажды пробирались мы наверх в гору и наткнулись на целые заросли смолистого розового богульника. Нас поразил этот розовый лес, и нам захотелось нарвать побольше. Мы стали ломать кусты, ломали с какой-то жадностью и с полными охапками спустились вниз. Оказалось, что мы не заметили времени и опоздали к поверке. Внизу мы застали администрацию в тревоге. Кочаков и еще кто-то из надзирателей были уже на лошадях, готовые двинуться на поиски.

Однако, я думаю, что ни Павловский, ни надзиратели никогда не думали серьезно, что мы убежим. Они знали, что мы хотя и

не давали никаких обязательств, но очень дорожили вольной командой.

И, действительно, вольной командой мы очень дорожили. Конечно, нам, краткосрочным, она тоже давала много, но мы хотели уберечь ее для долгосрочных, для которых вольная команда была особенно важна. Мы знали, что скоро должна выйти в команду Вера Штольтерфот, осужденная на 15 лет каторги, и другие долгосрочные каторжанки.

Этим отчасти об'ясняется наше отношение к предполагавшемуся побегу Маруси Спиридоновой. Этот побег как-раз подготовлялся в течение первой зимы существования вольной команды в 1909—1910 гг., когда нам особенно хотелось укрепить эту лазейку из тюрьмы. Все мы знали об этом побеге, большинство из нас относилось к нему отрицательно, считая, что если Маруся бежит, то вольную команду, которую ввели после многих лет перерыва, прихлопнут. Мы считали чрезвычайно нецелесообразным заставлять долгосрочных без всякой надежды долгие годы сидеть в тюрьме. Из всех нас, кажется, только Маня Горелова и Павла Меттер считали, что Маруся даже при создавшемся положении должна бежать, и брали в связи с побегом Маруси всякие поручения из тюрьмы.

И все-таки, как сейчас помню, когда мы узнали о провале Марусиного побега, мы были очень огорчены и даже потрясены. Эта наша двойственность вполне понятна. Всякий сидевший в тюрьме знает эту жажду свободы, эти бесконечные мысли и попытки к побегу; непосредственное ощущение от неудачи побега своего товарища всегда было тяжко.

С тюрьмой мы были связаны самым тесным образом. Между нами все время через надзирательниц шла нелегальная переписка, и к нам в вольную команду выходили из тюрьмы все новые товарищи, которым истекал срок. Было как-то особенно приятно встречать каждую вновь приходящую, подробно расспрашивать о тюрьме, о всех мелочах тюремной жизни, о всех тюремных товарищах, каждая черточка которых, каждая мелочь были так близко знакомы и особенно дороги.

Помню, Ривочку Фиалку перед самым ее уходом на волю выпустили в вольную команду на несколько дней. Мы обступили ее, расспрашивали без конца, говорили с ней. Но странное дело,— ей почему-то мы не показались вольными людьми, и она уверяла нас, что налета воли на нас совсем не видно.

Иногда мы сталкивались с тюремными, когда их выпускали за ворота тюрьмы в будку за посылками. Но такие минутки бывали чрезвычайно редки.

Больших возможностей заботиться о тюрьме у нас не было, но иногда нам удавалось передать им цветы, ягоды, сладости, а однажды наша старушка Письменова даже испекла для всей тюрьмы пироги с мясом.

Когда мы были в вольной команде, к Ире Каховской приезжала на свидание мать, которой было разрешено временно жить в районе Нерчинского завода. Завидев издали бричку, в которой она приезжала, мы всегда выбегали из домиков. Нам хотелось повидать нового вольного человека, нам хотелось передать привет Ире, узнать о тюрьме. Но она всегда старалась возможно скорее проехать и избежать наших приветствий. Делала она это потому, что необычайно дорожила свиданиями с Ирой, и потому еще, очевидно, что через нее шли нелегальные передачи в тюрьму денег и вещей, особенно нужных в то время для Марусиного побега. Не помню сейчас точно, но, кажется, ею была передана Ире кукла для одной из тюремных девочек. В голове этой куклы были заделаны деньги.

Очень скоро мы и сами поняли, что нам лучше не заговаривать с ней, чтобы не навлечь на нее никакого подозрения, и уже старались не встречаться с ней.

Несмотря на неясные и туманные настроения, овладевавшие нами порой, у нас было очень много сил. Повседневная жизнь отнимала время, но не удовлетворяла, и оставался большой запас неизрасходованной энергии, которую хотелось как-то проявить.

Одного ощущения сравнительной свободы и природы было мало. Каждый искал выхода своим неиспользованным силам и создавал себе некоторое подобие общественности. У меня, Веры Горовиц и Ривы Аскинази это стремление к общественности вылилось в странную форму.

У одной из надзирательниц, Александры Михайловны Зеленской, был сын Миша, широкоплечий, здоровый парень лет девятнадцати, занимавшийся крестьянством. Он не представлял собой ничего особенного, но нам показалось, что в Мише есть какая-то черноземная сила, какие-то большие способности, которые могут быть использованы в жизни. В той неподходящей среде, в которой он находился, его данные погибнут, надо его вырвать из этой обстановки. Но для начала надо его подучить и развить.

Начались совместные чтения. Помню, длинными вечерами и ночами до самого рассвета продолжалось чтение. В течение нескольких месяцев мы успели перечитать очень много книг.

Больше всех приходилось вслух читать мне. Обычное мое место было на лежанке у русской печки. Заберусь на нее, спиной к печке, от которой идет тепло, и читаю-читаю до хрипоты.

Миша отбился от дому и от всякой работы и готов был слушать без конца. Нам казалось, что он слушает, затаив дыхание.

Его мать злилась на нас и не понимала нашей затеи. Но больше всех страдала невеста Миши, молоденькая крестьянская девушка, с ясными голубыми глазами и открытым почти детским личиком. Ей казалось, что на Мишу нашло наваждение, она ходила к местной знахарке, чтобы снять с него наваждение, «отсушить» его от нас, а мы все читали и читали. Она всегда глядела на нас с таким укором, точно пристыдить нас хотела, но никогда с нами не разговаривала. Иногда она целыми вечерами простаивала возле нашей землянки, не решаясь войти, в то время как мы воспитывали и развивали Мишу.

Наконец, нам начало казаться, что он уже достаточно вырос, чтобы пуститься в дальнейший путь. Было решено отправить его в Киев к родным Веры Горовиц, чтобы там его обучали и дали проявиться тем неиспользованным силам, которые мы видели в нем.

Нам и в голову не приходило, что он может оказаться обузой и родные Веры могут его даже не принять. Раз мы пробиваем путь молодой большой силе, мы делаем хорошее дело и поступаем правильно,—так нам казалось. А практическая сторона жизни как-то ускользала от нас.

Денег на отправку Миши у нас не было, и тут мы поступили странно, как, может-быть, никогда бы не поступили на воле. Мы дали ему несколько десятков рублей, присланных с воли для тюрьмы, за что нас потом очень упрекали. Но в тот момент нам и в голову не приходило, что мы поступаем неправильно.

Помню день от'езда Миши. Мать его плачет, кругом удивленные, недоумевающие лица его родственников, соседей, друзей. Все сердятся на нас. Зачем и куда отправляем мы его, для чего разбиваем обычный уклад жизни, изыскиваем какие-то новые пути? Разве ему здесь плохо?..

А мы сидим на бревнах возле нашей землянки и торжествующе глядим издали, как Миша грузится на телегу. Даже поем от радости. Разве плохо, что мы спасли человека от рутины и проложили путь черноземной силе?

Однако, в действительной жизни все оказалось иначе, чем мы думали. Благодаря оторванности от жизни и людей мы переоценили его. Родные Веры Горовиц были неприятно поражены приезду чужого человека, о котором предстояло заботиться, той обузе, которая неожиданно свалилась на их голову. Ведь для его существования и обучения нужны были средства, а они в ту пору как-раз нуждались. Но так как он был прислан с каторги Ве-

рой, то они сделали все возможное, чтобы он пробился на какую-то дорогу. С ним стали возиться, обучать его, готовить к экзамену на аттестат зрелости. Однако, черноземные силы и способности, которые мы ему приписали, оказались далеко не черноземными, и на учебу он оказался даже немного туговатым.

Долго возились с ним, но потом увидели, что из него ничего не выходит, и решили устроить его куда-нибудь на работу. Устроить его удалось в народную читальню, где была полуреволюционная публика, от которой он мог многому научиться, где было много книг для чтения и развития.

Но и здесь Миша проявил себя слабо; он бездельничал, манкировал работой и, выбитый из своей колеи, стал понемногу пить. Впоследствии он вернулся обратно и, по слухам, дошедшим до нас, работал в Чите в качестве водовоза.

Так неудачно кончилась наша затея. Еще долго после Мишиного от'езда мы чувствовали пустоту, так как дело, которым мы были заняты, ушло, а нового как-то не наклевывалось. Силы было непочатый край, и бездеятельность нас томила. Эти неиспользованные силы распылялись, уходили бесплодно в каких-то неясных стремлениях, мыслях о воле, в прогулках.

Почему-то вспоминается такая картина. Нас несколько человек на пригорке в осиновой роще. Заходящее солнце какое-то особенное, медно-красного цвета. Мы только-что начитались «Елеазара» Леонида Андреева, который, вернувшись к жизни, глядит на все немигающими, опустошенными, потусторонними глазами. И мы ходим по роще взад и вперед, подражая Елеазару, идем навстречу солнцу, глядим немигающим взглядом и стараемся представить ощущение опустошенности вернувшегося к жизни Елеазара. Уже раз двести прошли мы по роще и уж было совсем перевоплотились в Елеазара, как вдруг на косогоре появляется красивый дикий жеребенок. Он скачет, он так полон жизни, в нем все так просто и естественно, что мы глядим друг на друга и начинаем дико хохотать над всеми нашими выдумками и туманными настроениями, которые мы в себе культивировали.

По существу мы были молодыми, здоровыми, полными сил и жажды деятельности, а для нас всякая деятельность и общественность были закрыты. Мы были оторваны от жизни, окружены врагами, лишены возможности в надлежащее русло направить наши силы, и, может-быть, потому наши неиспользованные силы претворялись в такую уродливую форму.

Летом 1910 г. ушла на поселение наша постоянная спутница по прогулкам Вера Горовиц. Мы знали, что на поселении она не останется, а бежит тотчас же, знали, что ей с воли прислали

пальто, в котором вместо пуговиц были зашиты в материю золотые десятирублевки,—деньги, предназначавшиеся для побега.

У нас было условлено, что когда она бежит, то с дороги пришлет отрывок из стихотворения Некрасова «Железная дорога». Очень скоро мы получили несколько строк: «Быстро качу я по рельсам чугунным, думаю, думаю думу свою». Значит, Вера бежала. Скоро она будет за границей, только бы не попалась по дороге, а то опять тюрьма, каторга. Мы очень волновались и ждали.

Первое письмо из-за границы нас сильно поразило и смутило. С одной стороны—масса новых и интересных впечатлений, а с другой — какая-то растерянность, неприспособленность к жизни, незнание, куда себя деть.

С от'ездом Веры и ее письмами конкретнее стали мысли о воле, воля приближалась, хотелось разрешить много, много вопросов. Воля стала еще конкретнее, когда ушла на поселение Вера Боброва. Через каких-нибудь восемь месяцев мы с Ривой тоже уйдем отсюда на поселение. Но до от'езда произошел ряд событий, перед которыми мысли о воле потускнели и отодвинулись сами собой.

Летом 1910 г. жизнь в Мальцевской тюрьме была перевернута приездом инспектора Главного тюремного управления Сементовского. Развинченная вольная тюрьма, какой застал Сементовский Мальцевку, привела к смене начальства, к подтягиванию и более строгому режиму в тюрьме.

Вольной команды это почти не коснулось, хотя Сементовский посетил и нас, обойдя все наши вольнокомандские домики.

Чрезвычайно комично было это посещение. Маленький, худенький старикашка, с неприветливым мрачным видом, он вваливался к каждому из нас, окруженный целой свитой. За ним подпрыгивал лебезивший начальник тюрьмы Павловский, стараясь загладить то впечатление, которое произвела на Сементовского вольная Мальцевка. Дальше шел невозмутимо спокойный Иван Евгеньевич, старший надзиратель, толстый, добродушный казак, а за ним высокий, широкоплечий надзиратель Кочаков, рядом с которым Сементовский казался совсем маленьким.

Сементовский вваливался первый, Павловский стоял поодаль, а надзиратели толпились в дверях.

Помню, к нам Сементовский заявился после того, как уже обошел все домики.

— Чем бы вы здесь хотели заниматься?—спросил он, не здороваясь, очень сердитым голосом.

— Пока мы здесь, обучать крестьян и солдат, а когда кончится срок,—уехать,—ответили мы с Ривой в один голос.

Сементовский страшно рассердился.

— Обучать, обучать, все одно и то же твердят,—хотел он повысить голос, но потом опомнился и стал нас уговаривать по окончании нашего срока остаться жить в Нерчинском районе, обзавестись хозяйством, обещал, что правительство даст нам ссуду, корову и т. д. Мы упорно стояли на своем.

Это вконец рассердило Сементовского. У него, очевидно, было задание соблазнить краткосрочных каторжанок колонизировать эти места, конечно, не рядом с тюрьмой, а несколько подальше. Но повсюду он встречал упорное нежелание остаться в этом районе и, на вопрос о желаемой работе, от всех слышал один стереотипный ответ: «обучать крестьян и солдат».

Это его особенно бесило, так как он великолепно знал, что наше обучение привело бы к революционной пропаганде.

Приезд Сементовского отразился не только на Мальцевке. В ноябре прокатились зерентуйские события. Порка товарищей, покушение на самоубийство ряда зерентуйцев, самоубийство Созонова перед концом каторги как-то особенно потрясли нас. Вся жизнь внезапно остановилась, жили одним—Зерентуем.

Мы первые в вольной команде узнавали зерентуйские новости, ловили каждый слух, каждое сообщение. Помню, в эти дни никто громко не разговаривал, все шептались. Были у нас намерения проникнуть в Зерентуй, но из этого ничего не вышло.

Зерентуй раскассировали, разослали по разным тюрьмам. Мы знали, что Мальцевская тюрьма и Мальцевская вольная команда просуществуют недолго. Но до перевода Мальцевской я там не дожила. Мой срок уходить на поселение был в конце марта. Вдруг в феврале призывает меня и Риву начальник тюрьмы и говорит, что нам по какой-то статье закона сбавляется полтора месяца, как несовершеннолетним. Для нас это было полнейшей неожиданностью. И радостно и вместе с тем так грустно оставлять здесь всех близких. Помню, кто-то просматривал наше белье и собирал нас в дорогу, кажется, Саша Эскина, кто-то давал нам всякие жизненные советы, кто-то умолял писать.

Этап обычно уходил рано утром. Полусонные ласковые лица, прощание, и мы уходим. Бесконечное количество раз оглядываемся, до последней минуты хочется запечатлеть всех, но вот видны только силуэты, вот гора спускается вниз и Мальцевская скрылась.

Вольная команда после нас просуществовала недолго. В конце апреля, когда была переведена в Акатуй Мальцевская тюрьма, вместе с тюрьмой перевели и вольную команду.

А. Я. Пирогова

НА ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

Вооруженное восстание 16 октября 1907 года во Владивостоке имело своим последствием ряд политических процессов в Приморском военно-окружном суде, давших в общей сложности до двухсот политкаторжан. Военная организация охватывала города Владивосток, Никольск-Уссурийский, Хабаровск и позднее Благовещенск. Матросов и солдат военный суд выделил из общего дела и судил отдельно от групп «штатских агитаторов». Среди этих агитаторов были и женщины, из которых четверо было осуждено на каторгу: Е. И. Клещова—8 лет каторги, А. Я. Тебенькова-Пирогова—15 лет, Н. К. Сошникова—6 лет и К. А. Лукина—2 года восемь месяцев. Фактически отбывали каторгу трое, так как последняя, как малосрочная, окончила срок каторги во Владивостокской тюрьме и ушла на поселение.

Какой режим ждет нас на каторге, мы совершенно не знали, так как на Дальний Восток проникали сведения о каторге только через беглецов из Акатуя (Кларк, Мельников, Окунцов и др.), то-есть о режиме 1906 года, а дальше последовал бородулинский режим, убийство Бородулина за введение репрессий на каторге,—побеги прекратились, и мы ничего не знали больше о каторге. Мы были первые каторжанки с Дальнего Востока. Наши друзья защитники, за время суда сдружившиеся с нами (Ник. П. Дукельский), упорно уговаривали нас остаться отбывать сроки в губернской тюрьме, где они могли о нас заботиться и всегда знать, что с нами. Пользуясь связями в областном управлении, они нажимали в смысле задержки нас во Владивостоке. Но начальник тюрьмы не хотел себе хлопот с беспокойным элементом, который мешал ему в организации принудительных работ в тюрьме, и рад был от нас избавиться, сплавив в Нерчинскую каторгу. Случилось так, что в партию из женщин я попала одна.

Путь по железной дороге до Сретенска был сплошной прогулкой. Конвой держался прилично, так как в партии не было уголовных, шли одни матросы и солдаты, конвой жалел их, и хотя и зорко стерег, но шел на всякие поблажки. В Сретенске конвой сменился, и я пережила первый каторжный ужас. Меня немедленно по приемке конвойный офицер посадил в женскую камеру, отдельно от товарищей. Хотя на дворе был август, вечера и утренники в Сибири в это время холодные. Кроме коротенького бушлата, у меня ничего не было, а потому мерзла я страшно. Осмотревшись в камере, я обнаружила прямо над нарами на высоте человеческого роста странные прорезы, круглые, в роде окон, но без стекол, в караульное помещение конвоя. Сначала я не поняла их назначения, но позже, когда стемнело и конвой собрался, я услыхала через эти отдушины такие разговоры, что у меня застыло сердце. Что было делать? Ясно, что эти лазейки давали возможность конвою проникать в женскую камеру, хотя офицер и брал ключи от камер к себе. На беду я была совсем одна. Позвать через коридор товарищей—это вызвать то, что конвой назовет бунтом, и еще перестреляет их из-за меня. Решила сидеть и не спать, но это было тяжко после дня дороги, волнений, и я все время внутренне уговаривала себя: «Глупости, не посмеют, ведь знают же они, что я политическая. А откуда знают? Знает офицер, а не солдаты, мы с ними еще не шли, они понятия не имеют, что мы за люди». Сначала я ходила по камере, потом устала и решила сесть под самой лазейкой, чтоб все слышать и не продремать, когда кто полезет в эту отдушину. Часа через два, уже глубокой ночью, моя лампа начала мигать и тухнуть. Я решила, что конвой нарочно налил в керосин воду, чтоб не видел часовой снаружи, и уже вне себя от ужаса кинулась к двери в коридор, чтоб через волчок позвать своих, но во-время опомнилась. Лучше звать часового под окном,—кинулась к окну, стала стучать. Он подошел:

— Чего тебе?

— Зовите разводящего и долейте лампу, она тухнет.

— Ладно, и так сойдет,—отвечает.

Я заявила ему, что завтра пожалуюсь караульному начальнику. Тогда он свистнул, пришел разводящий, и лампу мне долили. Так я и просидела без сна до утра. Правда, солдаты дальше разговоров не пошли, никто не пытался ко мне проникнуть, но тут меня спасла, пожалуй, моя настороженность. Я пережила такую нервную трепку, что решила на утро вызваться к конвойному начальнику и просить перевода к своим, так как в Сретенске была дневка и мне предстояла еще ночь.

На утро староста нашей партии, Карл Грюнштейн, ходил к офицеру, изложил ему обстоятельства, и я была переведена к своим. Правда, в мужской камере были неудобства всякого рода, но там были товарищи, и я могла спокойно уснуть. Путь от Сретенска до Нерчинской каторги—около 300 километров—каторжные партии идут пешком. До Кавычуки-Газимур наша партия шла в том составе, в котором вышла из Владивостока, а в Газимуре к нам влились уголовные, пересылаемые с приисков в другие тюрьмы Нерчинской каторги.

Всем нам было по 20—22 года, и молодость брала свое: по вечерам матросы так пели, что слушать сбегались к палям жители села. Шли мы очень организованно: посадкой на подводы ведал староста партии, закупки делали выборные мелких групп, на которые разбилась партия по числу имевшихся котелков для горячей пищи.

Конвой пешего пути совсем другой бывает, чем железнодорожный конвой; там нести охрану легче, стоит только занять выходы вагона и следить за полом, который каторжане могут прорезать, и окнами. А тут кругом тайга, лес такой, что чуть забежал в него,—и никакой конвой не сыщет. Поэтому, как только партия подходит к лесу, конвой сжимается и свирепеет, гонит партию бегом, чтоб скорей миновать опасное место. Наша партия в большинстве была из бессрочников (закованных по ногам и рукам), опасаться побегов конвой имел основания и не шел уже ни на какие уступки. Из всей партии только я одна шла без кандалов, а потому мне стыдно было садиться на подводу, когда кандальники шагали с 3—4 килограммами железа на ногах и руках. После трех лет сидения во Владивостоке с получасовой прогулкой, такие переходы по 35—40 километров были очень трудны, но я ни за что не хотела пользоваться преимуществами слабого пола и не отставала от партии, даже когда через лес ее гнал конвой в приклады. Товарищи злились на меня за упорство, а конвой недоумевал, почему не сажусь, когда предлагают. На одном из привалов, после тяжкой перебежки через лес, партия вся легла от изнеможения, и конвой не мог дозваться желающих итти к речке за водой для чая. Я встала и взяла ведро. Публика так устала, что не реагировала. Солдат обозлился:

— У, сердобольная дура!—крикнул он мне.

— Есть ли у вас ум, я не знаю, а что у вас сердца нет,—это верно,—ответила я.

До реки мы спорили с ним. Он доказывал, что у них винтовка не легче кандалов, что они тоже устали, а вот идут же, когда

надо. А назад от реки он уже нес ведро вместе со мною и мирно беседовал.

Но все-таки, несмотря на тяжесть пути,—отсутствие давящих тюремных стен, свежий воздух, зеленый лес, быстрые речки, привалы с чаем и сибирскими шаньгами—были большой передышкой для тюремных сидельцев, и когда из-за последней сопки показался трехэтажный Зерентуй,—все смолкли и угрюмо понурились. Было около пяти часов; солнце садилось за сопки, и почему-то раздельно по-церковному звонил колокол. Это действовало совсем угнетающе, тем более, что все мы были долгосрочные и бессрочные. Меня отправляли сейчас же в Мальцевскую тюрьму, в пяти километрах от Зерентуя, и товарищи спешили попрощаться со мной. Я попросила мой конвой обождать, пока все пройдут в ворота тюрьмы.

С некоторыми из друзей мне больше не пришлось свидеться: один был застрелен в Зерентуе, другой умер от тифа в Кутомаре, третий был перегнан в российские тюрьмы и умер за месяц до революции от чахотки.

Вольная Мальцевка.

Совсем стемнело, когда подвода наша с конвоем и двумя уголовными женщинами из Зерентуя добралась до Мальцевской тюрьмы. От Зерентуя вплоть до Мальцевской дорога идет под гору, и сама тюрьма лежит в глубокой котловине между голых безлесных сопок.

При в'езде в поселок, состоящий из нескольких землянок вольной команды, нас встретила маленькая женщина и окликнула—кто идет, по какому делу. Я назвала себя.

— А, знаем, знаем, двое наших шли в партии вместе с вашим мужем.

Оказалось, что это выпущенные на вольное житье около тюрьмы политические из вольной команды. Конвой не дал нам остановиться и торопил в тюрьму. У ворот принял меня начальник Павловский и толстый старший Иван Евгеньевич, на вид добродушный и вольно державшийся с начальником.

— Веди в четвертую,—сказал начальник.

В тюрьме уже зажгли свет. Я переступила порог и глазам своим не поверила: вдоль белого блестящего чистотой пола шла суконная дорожка от дверей до иконостаса в конце коридора. У дверей камеры старший, смеясь, сказал мне:

— Да снимите ваш капор, вы всех перепугаете, у нас так не ходят.

Капор мне был выдан со всем полняком арестантской одежды во Владивостоке, и как я ни крепилась, но в конце дороги, израсходовав все косынки, я вынуждена была надеть этот нелепый полосатый синий чепец.

И тон приемки, и дорожка на некрашеном полу говорили, что тут жизнь иная, чем в громадных черных корпусах городских тюрем. Впечатление это еще более оправдалось, когда открыли четвертую камеру, куда меня назначили. Вместо нар—деревянные кровати, на столе—огромный самовар, за столом—шумная, почти студенческая компания, и у каждой кровати на стене в пузырьках на веревочках садовые цветы, так что камера имела почти праздничный вид. Особенно меня радовали цветы, я не видела их все три года во Владивостокской тюрьме.

Я была невероятно грязна, так как мыло конвой отобрал у всей партии еще в Чите при приемке, чтоб с мылом бессрочники не могли снять кандалы.

Мигом разогрели самовар, обмыли и переодели меня, так что я почувствовала себя сразу в своей среде. Этой легкости перехода в новую жизнь содействовало настроение какого-то камерного праздника, на который я нечаянно попала: нето чьи-то именины, нето годовщина какого-то революционного акта; наигрывали на гребенках, шумели и веселились совсем по-вольному. Ясно было, что тюремного режима и гнета его здесь не было. Мрачный владивостокский замок со смертными приговорами после восстания 1907 года, со стрельбой по окнам и виселицами в ночной тиши—остался позади.

— Вы очень устали, а мы шумим,—сказал кто-то.

— Нет, я привыкла к шуму в этапе.

— Слышите, слышите, она сравнивает нашу камеру с этапкой,—засмеялась Саня И.

Я совсем смутилась.

Политические занимали в Мальцевской тюрьме три камеры,—4, 5 и 6-ю,—и число их с небольшими колебаниями за четыре с половиной года существования там политической женской каторги доходило до 72 человек.

Жили коммуной, очень скудно улучшая тюремный паек.

Личных средств каждый мог тратить не более 4 р. 20 к. в месяц, но, к сожалению, и эти гроши не у всех были, большинство ничего не получало с воли, и выписка продуктов за свой счет была очень скромная. Несколько человек имели поддержку с воли в сумме свыше нормы, и коллектив пытался путем нелегальной переписки разверстать эти получаемые излишки на адреса ничего не имеющих, чтоб таким образом увеличить сумму дохода ком-

муны. За несколько лет упорной конспирации это, наконец, удалось, и последние годы, уже в Акатуе, мы почти все получали от подставных сестер, братьев и пр. по пяти рублей в месяц.

Коллектив за четыре года жизни в Мальцевской тюрьме (с 1907 по 1911) собрал очень приличную библиотеку, начало которой положили пять террористок, привезших с собой книги из Акатуя. Особенно хорошо были подобраны философский и исторический отделы ее. До 300 книг было на французском, немецком и английском языках.

Получалась из России и вся новейшая литература, толстые журналы и беллетристика.

А так как принудительных работ для политических в Мальцевской не было, то публика с ожесточением училась. У всех были точно расписаны дни и часы занятий, групповых и личных, и особенно усердные даже обедали с книжками.

Для меня новейшая беллетристика оказалась счастливой неожиданностью, так как за три года судов, приговоров и нервной трепки во Владивостоке я совсем оторвалась от жизни. С утра камеры открывались, уголовные уходили на работу за ворота тюрьмы, в мастерские или на огороды, а «политика» была предоставлена самой себе. Самое дорогое в этой вольнице было то, что в любой момент вы могли выскочить во двор тюрьмы и подышать свежим воздухом, посмотреть на сопки. Природа вокруг Мальцевки на редкость унылая—голые, выветрившиеся сопки, изредка кустики, одинокие и жалкие.

Наш вольный университет терпел прогулы только в дни генеральных уборок камер. Некрашеные белые полы требовали тщательного ухода, деревянные кровати тоже, и во дни уборок учиться никто уже не мог.

Женскому тщеславию очень льстило, когда полы промывались не только добела, но до розового отлива; за каждым пятнышком мы гонялись с таким азартом, точно от этого зависело наше будущее. От непривычки к тяжелой работе, особенно от побелки известью, так уставали, что вечерние занятия снимались сами собою. Жизнь текла ровно и уныло, как в монастыре.

Яркими пятнами в ней были песни Насти да шалости Галки, трехлетней девочки одной из каторжанок.

Настя пела редко; не потому, что нельзя было, а потому, вероятно, что вольная песня с тюрьмой плохо вяжется.

Тюремные песни—особые: лейтмотив их—безысходная тоска по «воле» или больное, с надрывом, веселье сквозь слезы.

Однажды перед поверкой Настя пела в коридоре «Подвиг». Ни до, ни после никакая опера не производила на меня такого

пронзающего впечатления, как эта песня в темнеющем тюремном коридоре. И не на меня одну,—мы все стояли, застыв от напряжения, и когда старший надзиратель пришел делать поверку, он не посмел, а может и не хотел, разгонять нас по камерам, а почтительно ждал, пока Настя кончит песню.

Галчонок самым фактом своего существования красил нашу монастырскую обстановку. В самые тяжелые материально периоды коммуны Галка не знала лишений: бычком тянула молоко, имела полностью детский приварок и на радость нам росла чудесным крепышом. Больше всего коммуна боялась, что ее заберут у нас в детский приют в Зерентуе, но на ее счастье мать имела небольшой срок, четыре года каторги, и успела попасть в вольную команду, где можно было иметь при себе детей. Уходила она с матерью на поселение уже из Акатуя, и так как заснять ее для тюремных друзей было в акатуйском режиме невозможно, то одна из наших командок зарисовала ее в полном походном костюме, с бродяжкой и сумкой на боку, и послала этот рисунок нам в тюрьму с приветом от Галчонка.

В 1910 году Мальцевка доживала последние дни своей свободы: уже давно стало известно намерение Главного тюремного управления перевести женскую каторгу в Акатуй, где каторжный режим удовлетворял требованиям тюремной инструкции о порядке содержания ссыльно-каторжных.

Осенью 1910 года Нерчинскую каторгу ревизовал инспектор Главного тюремного управления Сементовский. И тюрьма, и начальство знали, зачем он едет, и подтягивались. Иван Евгеньевич, старший надзиратель, собственноручно разрушил наш цветник, чтоб начальство не придралось. Но все следы наших свобод скрыть не удалось, и Сементовский высмотрел истинное положение дел. Женщин он распорядился послать на каторжную выправку в Акатуй, к известному режимисту Шматченко, а в мужских тюрьмах начал менять местных начальников на особо уполномоченных, присланных из России тюремщиков, для насаждения истинно-каторжного режима.

Первый удар нового режима постиг центр Нерчинской каторги—Горный Зерентуй. Присланный Главным тюремным управлением начальник Высоцкий рассчитывал сломить политический коллектив, применив с места в карьер «ты», «смирно», «шапки долой» и порку для неподчиняющихся. Политический коллектив принял вызов и ответил единственным способом борьбы в тюрьме—самоубийствами. Помню, как перед вечером, на другой день после смерти Егора Созонова, мы собрались в камере и читали его предсмертное письмо, пересланное нам из Горного Зерентуя, и описа-

ние начавшейся там борьбы. Письма были в ту же ночь переписаны в нескольких экземплярах и посланы в Россию и за границу. Обо всем происходящем в Зерентуе мы узнавали немедленно от наших вольнокомандок, имевших живую связь с вольной командой Зерентуя. Мы знали, что наш черед наступит с переводом в Акатуй, а пока, судя по обстоятельствам дела, благодаря поднятой кампании в связи со смертью Егора, запросам в Государственной Думе и пр. нас не тронут. И все-таки на случай приезда Высоцкого в Мальцевку (зерентуйские начальники это часто делали) решено было демонстративно сесть при его приходе. На второй или третий день борьбы в Зерентуе Забелло, начальник каторги, видимо, беспокоясь за Мальцевку, явился в тюрьму. Нас мигом заперли по камерам, и мы не успели выяснить, один ли Забелло или и Высоцкий с ним, и сговориться между собою. В лицо Высоцкого мы, понятно, не знали, и появись с Забелло просто незнакомый конвойный офицер, мы устроили бы враждебную демонстрацию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но Забелло оказался один, и мы приняли его обычно, так как в тюремной грозе, идущей из Питера, он был также потерпевшим, раз за распущенную каторгу отвечал в первую голову он сам, начальник ее. За разгром политического коллектива Зерентуя Высоцкий получил в награду пост начальника крупной областной тюрьмы во Владивостоке, хотя Забелло и помешал ему продолжать кровавую эпопею тем, что вырвал политических из его лап и разослал по другим тюрьмам Нерчинской каторги. До мая 1911 года, когда женская каторга была переброшена в Акатуй,—Мальцевка пережила только смену начальника. Скакавшего на одной ножке добродушного Павловского сменил молодой помощник из Акатуя, А. М. Егоров. Нас уже начинали понемножку запирать,—у него была манера обходить камеры, заглядывая в волчки, как это делалось во всех тюрьмах, и от чего мы отвыкли в Мальцевке.

Из Галкиной сказочки мы называли эти налеты в тюрьму «Змей летит», так как стоило ему появиться в воротах, как тюрьма подтягивалась и принимала соответственный вид.

С нами он был чрезвычайно корректен. Но именно его молодость делала его беззащитным перед нашим невольным культурно-бытовым воздействием и дальнейшей обработкой.

Разбила лед между нами Галинка: увидав его неожиданно в конце коридора, она влетела в 6-ю камеру с криком:

— Змей летит.

— Где, что ты кричишь? Замолчи,—накинулись мы на нее, но было уже поздно: «Змей» стоял в дверях камеры и ласково улыбался испугу Галчонка.

Впоследствии этот начальник был обработан и не только перестал быть летающим «змеем», но с ним был связан проект массового побега из Акатуя. Дело в том, что он был до перевода в Мальцевскую тюрьму помощником Шмака в Акатуе, но Шмак выжил его оттуда, так как он не хотел покрывать грешки Шмака по обкрадыванию тюрьмы. Начальник каторги Забелло обещал Егорову, что он вернет его на старое место помощника в тюрьму 1-го разряда, в Акатуй, как только там не будет Шмака. Поэтому, когда Шмак ушел, учитель акатуйского села С. К. Кирпичников, наш друг и конспиратор, с нашим паролем ездил к нему в Мальцевскую, чтобы настоять на его переводе в Акатуй. Егоров хорошо принял его и обещал ускорить свой перевод в Акатуй. Знающий все порядки Акатуя, он был бы незаменим в побеге. По плану он должен был изобразить любителя-лошадника и приучить население к своей езде на тройках хороших лошадей. Денег на покупку лошадей мы должны были достать с воли. Эти тройки и должны были доставить беглецов до китайской границы. Сначала все шло благополучно; переписка, даже при шмаковском контроле, поддерживала наши надежды, а потом связь внезапно оборвалась, и мы ничего не знали о Егорове года полтора. Наконец, нам передали, что он сидит в Читинской тюрьме. Если бы провалилась его связь с нами, то он в лучшем случае получил бы ссылку, и тогда из ссылки мы узнали бы о нем все подробности. А так как он миновал ссылки, то арест его был, видимо, вне связи с нами. Но уже ясно было, что, после тюрьмы, в Акатуе помощником ему не бывать. Так рушился второй проект побега (первый в Мальцевской). Некоторые товарищи думали, что Егоров просто струсил и отступил, когда пришел решительный момент. Но ведь он мог сделать это и много раньше, не рискуя головой в нелегальной переписке. Да и самый факт ареста и сиденья в Читинской тюрьме коренным образом изменил ситуацию.

Время перевода нашего в Акатуй скрывали от нас до конца. 27 апреля 1911 г. на поверке нам было об'явлено, что завтра утром пешим порядком выступаем в Акатуй. У нашей коммуны имелись неприкосновенные специальные средства, и довольно большие, собранные для предполагавшегося побега, которые нужно было во что бы то ни стало пронести в Акатуй. Пока с нами шли наши мальцевские надзирательницы, Антонина и Дыня, можно было быть спокойными, но если в Акатуе нас примет новый состав надзора,—дело плохо.

Если бы не утомительные екатерининские версты (750 сажен вместо 500), переход был бы прекрасной прогулкой. Забелло распорядился вести всех без кандалов (бессрочниц обычно заковы-

вали в этап). Лес еще не оделся зеленью, но на всех полянках голубели бархатные «ургульки» (крупные сибирские подснежники). Конвойный офицер любезно звал нас «дамы и барышни»,—словом, вся обстановка не походила на этап. Конвой благодаря тону офицера не хулиганил и не ругался, так что и с этой стороны не было гнета. На одной из этапок офицер, хорошо знавший местность, привез две бутылки местной минеральной воды, которая по вкусу напоминала нарзан, и рассказал, что забайкальские казаки лечатся ею от всех болезней.

Акатуй.

К Акатую этап подошел на шестой день пути. Начальник тюрьмы Шматченко, или Шмак, как его звали до нас еще товарищи акатуйцы, решил устроить нам достойную встречу. Приемку он начал на тюремном дворе, куда нас пропускали по одной через калитку главных ворот. Надзиратель при счете грубо тыкал проходящих в спину, и одна из нас не выдержала и отдернулась в сторону от толчка. Шмак заметил и, зло улыбаясь, начал свое «приветствие»:

— А, вы не выносите прикосновения, тонко воспитаны, распустились в Мальцевской, вот у меня вы будете знать, кто вы такие. Котлеты кушали в Мальцевке, в своих платьях ходили, у меня это забудьте!

Так гремел он, пока все мы не прошли во двор и не стали к проверке вещевых мешков. Наш любезный старик-офицер мрачно и неодобрительно смотрел на такой прием.

И когда, осмотрев вещи, Шмак распорядился вести нас в караулку для личного обыска, он демонстративно откозырял нам, щелкнул шпорами и пожелал здоровья. С ним ушла последняя тень вольной Мальцевки, и мы переступили порог сурового Акатуя.

Шмак коварно распорядился уничтожить наши прически, отобрать гребенки, шпильки, как не полагающуюся каторжанкам роскошь. Производившая обыск, напуганная насмерть Антонина распустила нам всем волосы, и мы вынуждены были ходить с косичками.

Деньги мы все-таки пронесли. В Акатуй наша партия политических шла первая, так что дня три до перевода следующей партии уголовных мы были одни в тюрьме. Поместили нас в 3-ю камеру, в центре тюрьмы, около поста дежурных надзирателей. 16 человек нашей вольной команды были поселены во втором дворе, в «Белом домике», бывшем бараке декабристов, где их «воля» заключалась только в том, что они могли ходить день по двору, а на ночь их барак так же запирался, как и тюрьма.

На утро во имя режима нас подняли на поверку в 4 часа утра. Работ никаких пока не было, так что ранний под'ем был только во славу тюремной инструкции, по которой летом жизнь тюрьмы должна начинаться с 4 утра и кончаться в 6 вечера, а зимой в 6—до 5 вечера. Этот ненужный никому и ничему под'ем в 4 часа, после поверок в Мальцевке по спящим фигурам через волчок, был особенно тяжел. В 4½ утра был кипяток на чай. В 12 часов дня давался обед из одного жидкого супу и кипятку к чаю, в 5 ч. вечера—гречневая каша и кипяток.

Шмак спешил обломать нас и на второй или третий день приказал надзирателю крикнуть нам «смирно» при своем приходе в камеру. Все демонстративно сели на нары. Шмак выскочил ошпаренный и распек неповинного надзирателя.

Через некоторое время он явился с предложением взять шитье арестантской одежды в камеру. Мы отказались, зная, что речь идет о введении принудительных работ. Последовала бурная сцена, когда Шмак орал на нас, а мы хором на него, и он снова отступил. Уже в коридоре под дверью он дал волю своим чувствам: «О женщины, змеиные сердца!» Хохотали мы над этой декламацией до слез.

Шмак был интересной фигурой. За японскую войну он из рядового попал в писаря, а затем в строю дослужился до штабс-капитана. Война окончилась, и после демобилизации он перешел в тюремное ведомство. Сделанная карьера вскружила ему голову, и он просто дошел до мании величия. Он ввел в тюрьме военную субординацию, строго следил, чтоб сторожевые с вышек при его входе во двор тюрьмы вопили «здравия желаю, Ваше благородие!», при чем он выжидательно поворачивался к каждой вышке и небрежно козырял в ответ. Надзиратели не смели итти с ним рядом и говорить, не взяв под козырек.

Он так слепо уверовал в необходимость военного режима, что держался его и в семье: двух своих взрослых дочерей за строптивость он запирал в особой комнате на хлеб и на воду, как арестанток в карцер.

Имелись у него и политические убеждения: он был членом «Союза русского народа». Он настолько был полон своим превосходством над всеми окружающими, так горд положением «первого» в районе тюрьмы, что не терпел никакого соперничества и враждовал поэтому с начальниками конвойных команд, жившими в Акатуе и не подчиненными ему, как ему хотелось.

Однажды наши командки были невольными свидетельницами орудийной перестрелки площадной бранью между Шмаком и офицером конвоя.

Вот этому-то солдафону нас отдало Главное тюремное управление на выучку.

С нашим переводом к тому же пострадало его тщеславие: раньше в мужской тюрьме у него сидели офицеры, инженеры, депутаты Государственной думы, доктора,—а тут явились какие-то учительницы, курсистки без чина и звания.

Его штат тоже проникся этой обидой, и однажды старший надзиратель заявил в одной уголовной камере на какую-то претензию:

— Да у нас тут сидели офицеры, инженеры, доктора, а вы что? Нули!

Акатуй с давних времен славился своей библиотекой, так как все поколения каторжан оставляли там свои книги. Мы из Мальцевки тоже забрали свою библиотечку, но Шмак свирепо отобрал и запер все иностранные книги в цейхгауз. Пользуясь старыми связями с надзирательницами, мы потом понемножку выкрадывали их из цейхгауза и переносили в книжные шкапы. Ему принадлежала геростратова честь уничтожения обширной политической литературы, накопившейся во дни свобод 1905—1906 годов в Акатуе.

Но, пользуясь его беспросветным невежеством, мужчины удачно переплетали наиболее ценную литературу под обложкой с других книг, часто исторических, а Шмак смотрел лишь на заглавие и не видел обмана.

Мы унаследовали этот способ спасения библиотеки, конечно. Но никто не принял столько мучений от Шмака, сколько мать одной из наших каторжанок, Августа Федоровна Каховская, переехавшая в Акатуй из Нерчинского завода, откуда она ездила на свиданья к дочери в Мальцевку. Чего только не творил над ней Шмак! То позволял строить землянку возле Акатуя, так как она имела разрешение от генерал-губернатора Князева, то писал на нее доносы в управление каторги и требовал ее выселения из района тюрьмы. Старушка жила тяжким трудом, учила ребят, чтоб поддержать дочь, и мужественно несла все невзгоды каторжного положения. Первый год Акатуя она была нашей живой связью с волей, так как через нее просачивались в тюрьму все новости.

Долго этого Шмак, конечно, не мог терпеть и настоял на высылке ее в Читу. От нее первой мы услыхали радостную весть, что Шмак проворовался, где-то изобличен и скоро уйдет.

При втором столкновении со Шмаком, не помню по какому поводу, мы были лишены выписки и переписки. Это было очень чувствительное воздействие. Если переписка через руки Шмака раз в месяц, с писаньем в широком коридоре тюрьмы под надзира-

тельским присмотром, чтоб не унесли в камеру перьев, бумаги и чернил,—мало давала для души, то право выписки на 4 р. 20 к. давало прибавку к голодному пайку. А летом первого года в Акатуе мы форменно голодали, так как Шмак заморозил картофель и сгноил мясо. Жили только хлебом и чаем, да случайными посылками родных.

Особенно донимал нас Шмак ежедневными обысками на вечерней поверке. Простучав молотками оконные решетки и потыкав шашками пол под нарами, надзиратели ретиво рылись в наших постелях и на полке, где лежал убогий каторжный скарб.

Первый раз, когда старший надзиратель ловко присел на корточки и заглянул под нары, мы не поняли, что ему нужно. Затем, когда не менее развязно он начал рыться на нарах, выкидывая оттуда все наши хозяйственные тряпочки, Ира Каховская, еще не отрешившаяся от мальцевских нравов, изумленно заметила вслух по-французски:

— Смотрите, он ищет у Сани под подушкой.

Мы стали требовать, чтоб Шмак прекратил мужские обыски постелей, ссылаясь на то, что это недопустимо в женской тюрьме.

Шмак упорствовал. Это переполнило чашу терпения, и публика решила выбросить постель в коридор из протеста.

Тут начались муки холода. Были холодные ночи, укрыться нечем, и, чтоб уснуть хоть на час, публика сбивалась в кучки на нарах, укрываясь снятым с себя платьем.

Так промучились недели три. Приезд Забелло разрешил создавшееся положение. Он накричал на Шмака, что он озлобляет каторжан и вызывает тюремные истории, после чего наш герой притих, тем более, что рыльце у него было в пушку. Мы показали Забелло женский наряд, который нам выдали в Акатуе, и просили дать платья, арестантские, как в Мальцевке. Шмак нам выдал суконный бушлат (род жакетки), лиф, без рукавов и воротника, и юбку, так что бушлат служил бы и кофтой и теплым жакетом для улицы, а в камере надо было ходить в диком голом виде, декольте и без рукавов. Пока мы носили мальцевские платья, а дальше как? Забелло задохся от ярости и едва удерживался, чтоб не начать разнос Шмака при нас. В результате нам дали синие полосатые платья, готовые, видимо давно лежавшие в тюремном цейхгаузе. Надо полагать, мы лишили Шмака хорошего гешефта с продажей арестантской одежды.

Шмак вымуштровал надзирателей так, что они ему буквально в рот смотрели. Изоляцию они завели, как в каком-то европейском централе. Волчок в дверях закрывался на задвижку, чтоб не могли арестанты снестись между собою, когда шли мимо за водой

или обедом. Каждая камера пускалась за едой с таким расчетом, чтоб соседи не могли встретиться. Баня, прогулка шли так же изолированно. В больницу по двору нас провожала надзирательница.

И только землетрясение осенью 1911 года в Японии, отозвавшееся сильным толчком в Забайкалье, сбило спесь Шмаку, и он послал надзирателя к «политикам» спросить: «что это такое было?» Мы об'яснили, конечно.

Приблизительно так же дралась со Шмаком и наша вольная команда. Трехлетняя Галка ясно поняла, что, когда Шмак придет, надо сесть из протеста. И вот однажды ворвался Шмак в вольную команду, надзиратель скомандовал «смирно», все наши сели. Галка же не могла без помощи сесть на нары, а тут об ней все забыли. Она заметалась, заметалась по камере, нашла свою скамеечку, поставила ее прямо перед Шмаком и торжественно села. Шмак совсем взбесился:

— Вот, вот и ребенка уже выучили!—и умчался.

И все-таки, несмотря на свору муштрованных надзирателей и слежку Шмака, нелегальная переписка с волей у нас была. Наш старый мальцевский друг, толстая Дыня-надзирательница, немедленно свела дружбу с местным учителем Кирпичниковым, который обслуживал нелегальную связь Акатуя уже несколько лет, и наши тючки почты шли, куда следует. Дыня была распропагандированная еще в Мальцевке, романтически настроенная женщина; ей нравился самый риск проноса писем. Она с упоением рассказывала, как она пришла к Шмаку, где сидел Кирпичников в гостях, и попросила учителя передать в Читу при поездке туда мороженного печенья ее дочке. Кирпичников взял мешок с печеньем и вышел за ней в сени, а наша почта застряла у нее в чулке, и она в темноте никак не могла справиться и так далее. Всегда у нее случались неожиданные осложнения, так что она измучивала нас своими приключениями, хотя и не провалилась ни разу.

Хранить письма было очень трудно при постоянных обысках, так что обычно прочитанные вслух и в одиночку письма уничтожались.

К весне 1912 года Шмак был убран вследствие какой-то тюремной хозяйственной панамы, и мы несколько вздохнули.

Летом 1912 года Нерчинскую каторгу об'езжало начальство из Питера: начальник Главного тюремного управления Гран в мае и в июне инспектор Г. т. у. Сементовский. Тюрьма чистилась и белилась во всю. Чтоб подышать свежим воздухом, побыть на дворе, мы охотно шли на хозяйственные работы с самого начала. Чистить дворы от снега, носить воду для кухни, бани и прачечной—наиболее сильные из нас начали уже давно.

И тут мы были привлечены к чистке. Белить хорошо мы не умели, и потому нам выпало на долю красить окна, двери, водосточные трубы и прочее. Совершенно незаметно для себя мы так вошли в рабочий день тюрьмы, что от нашего принципиального отказа от принудительных работ ничего не осталось. После чаю в камере оставались только больные, а остальные расходились на хозяйственные работы и в переплетную, которая помещалась в библиотеке.

В камеру возвращались по звонку на обед, и после обеда опять работа до вечера. Я никогда не забуду, как старший надзиратель Епифаныч загнал меня на крышу. Я страшно боялась вышины, края, нога скользила в котах по скату, я цеплялась одной рукой за гребни железа, а другой красила.

Из уличных работ самой трудной было сливание воды для бани в чаны выше человеческого роста и черпанье зимой большой помойки от бани и прачечной. В баню надо было в день слить 22—23 бочки, а вычерпывание помойки шло непрерывно, так как если не баня, то прачечная работала всю неделю. Сливали воду, и чистую и грязную, обычно по парам. Зимой в сибирские морозы в холщевых платьях с бушлатом (суконной кофтой по бедра) долго выдержать было нельзя, и после каждой бочки мы бегали греться на кухню. Вечером к поверке возвращались с мерзлым кринолином, так как облитые юбки замерзали и стояли стоймя.

Хозяйственные работы, наконец, стали для нас обязательными, так как администрация угоняла в вязальные мастерские за воротами тюрьмы все камеры уголовных. Такое положение сохранялось до перевода нас в южные одиночки в 1914 году, когда нас в тюрьме осталось только десять человек, из которых четверо не ходили на работу, как хронические больные.

Как ни уставали за рабочий день, все-таки в шесть часов летом и в пять часов зимой, после вечерней поверки, все усаживались вокруг обеденного стола, к висячей лампе над ним; и наступала строжайшая «конституция»—все молча занимались. Когда надо было поговорить, выходили в «капернаум»—уборную при камере. Эти уборные содержались так чисто, что служили второй комнатой при камере и клубом. «Капернаумом» их прозвали еще в 1906 году мужчины, и мы никак не могли доискаться смысла этого прозвища. Надзор называл нашу 3-ю камеру самой тихой, так как после поверки у нас была гробовая тишина.

В восемь часов «конституция» снималась, и все пили чай, полученный еще перед поверкой и закутанный во все бушлаты, чтоб не остыл.



«Конституция» в III камере. *Зарисовка В. Н. Светловой.*

В девять часов в волчок стучал надзиратель и об'являл «уложку», то-есть приказ ложиться.

В Акатуе мы застали мужской надзор, и только старшая надзирательница да двое наших мальцевских надзирательниц нарушали ансамбль вымуштрованной Шмаком своры. Ясно, что только с этой сворой Шмак мог гарантировать каторжный режим, и сменить его весь на женский надзор он не мог согласиться. Только после его ухода все внутренние посты были заняты женщинами-надзирательницами, а наружные охранялись надзирателями и конвоем. Среди шмаковских волков-тюремщиков была группа взятых из конвоя команды солдат, человек в 5—6. Трое из них несли дежурство в тюрьме. Пропагандой этой молодежи занялась у нас Надя Терентьева. После того, как тюрьма засыпала, она часами простаивала у волчка и говорила с ними. Двое из них очень скоро стали нашими друзьями и рисковали делать мелкие услуги тюрьме. В вольной команде также они завели через нас ряд знакомств и под двойным воздействием из воспитанников Шмака стали нашими сторонниками. Окончив срок службы в конвойной команде, они ушли на родину друзьями тех, кого вынуждены были запирать и стеречь. Один из них, Степа Иванов, перед от'ездом зашел проститься с нами и с сидевшими в одиночке Марусей и Саней.

Его учительница Н. Терентьева караулила в коридоре, чтоб не наскочил кто из надзора, а наши решили угостить его чаем. Он почему-то долго мялся, и наши думали, что он боится просто, и сами смутились. Оказывается, он так серьезно относился к своей новой дружбе, что не хотел сесть за наш стол вооруженным. Наконец, он отстегнул револьвер, шашку и тогда только сел за стол. «Нет, при оружии я не могу».

Воображаю, что было бы со Шмаком, если б он знал об этом!

Весной 1912 года пришли две партии политических каторжанок, из московской Новинской тюрьмы Нина и Шура Махвиладзе и Нина Мочабели и из Рижской—Альвина Шенберг, Лидия Субботина, Калерия Калмыкова, Лидия Рейнгард и другие.

«Новинки» оставались у нас отбывать срок, а рижанки попали к нам по какому-то недоразумению: им оставалось по 1—2 месяца до окончания срока и выхода на поселение, а их для чего-то прогнали триста километров пешком до Нерчинской каторги, чтоб через месяц вести обратно опять триста километров.

Камера была перенаселена до крайности, так что на нарах все не помещались, и двое спали на столе и под столом. На нашу беду большинство рижанок курило махорку. Мы радовались, что они



Стирка. *Зарисовка В. Н. Светловой.*

кончат срок и уйдут еще этим летом и зимовать с махоркой нам не придется.

Эта махорка совсем не гармонировала ни с их рафинированной интеллигентной внешностью, ни с изящными вкусами и интересами, которые мы увидали позднее. От нас они выгодно отличались не только хорошо пригнанными арестантскими платьями, но и манерами, которых не стерла тюрьма. Я заинтересовалась, почему это так, и в разговорах узнала, что в рижской тюрьме самым любимым предметом занятий была история искусства. Отсюда, видимо, поддерживался их эстетизм, мешавший тюремному опрощению. Облагораживающее влияние красоты, которое приносило им знакомство с историей искусства, так повышенно настраивало их, что сказывалось на всем.



«Маленькая помойка зимой». *Зарисовка В. Н. Светловой.*

Лида Субботина обладала к тому же недюжинным талантом рассказчика и угостила нас однажды настоящим литературным вечером. Она нарочно подобрала юмористические номера, и весь вечер мы хохотали так, как никогда в Акатуе. Шмака уже не было, а надзирательницы сами умирали со смеху под волчком, так что никто нам не мешал.

Лето 1912 года было особенно трудное, так как сначала проехал по Нерчинской каторге начальник Главного тюремного управления Гран, за ним через месяц инспектор Главного тюремного управления Сементовский, а в августе губернатор Забайкальской области ген. Кияшко. Помимо очередного подтягивания, эти приезды начальства были мучительны и сами по себе: лишний раз мы остро чувствовали себя в лапах врага и ждали всяких оборотов судьбы от этих визитов.

Обратись из них кто-либо на «ты», крикни нам «смирно»,— и готова была бы очередная тюремная трагедия с голодовками и

самоубийствами. Правда, главная причина тюремных историй—порка—женщинам не угрожала, и в этом смысле мы были в более выгодном положении, чем мужская политическая каторга, но всяких сюрпризов от налета начальства можно было ожидать всегда. Но, очевидно, Главное тюремное управление решило не трогать небольшую группку политических каторжанок, так как Гран при посещении совсем молчал, а Сементовский задавал вопросы, избегая личных обращений. Ехавший следом за ними генерал Кияшко разгромил Алгачи, рассадил политиков в уголовные камеры, прибавил срок испытуемым за то, что они не пожелали гаркнуть «здравия желаю, ваше превосходительство», начальника Алгачинской тюрьмы, уже глубокого старика, запугал до столбняка и в наказание перевел его в женскую тюрьму, в Акатуй, так как с мужчинами он уже не годился в администраторы.

Мы знали, что он едет с разносным настроением, и ждали грозы. Но у нас было к нему дело, и, пожалуй, это-то дело перестроило его на новый лад. В камере с нами была бессрочница Каплан, слепая. Она потеряла зрение еще в Мальцевской. При аресте ее в Киеве взорвался ящик с бомбами, которые она хранила. Отброшенная взрывом, она упала на пол, была изранена, но уцелела. Мы думали, что ранение в голову и явилось причиной слепоты. Сначала она потеряла зрение на три дня, затем оно вернулось, а при вторичном приступе головных болей она ослепла окончательно. Врачей-окулистов на каторге не было; что с ней, вернется ли зрение, или это конец, никто не знал. Однажды Нерчинскую каторгу об'езжал врач областного управления, мы попросили его осмотреть глаза Фани. Он очень обрадовал нас сообщением, что зрачки реагируют на свет, и сказал, чтоб мы просили перевода ее в Читу, где ее можно подвергнуть лечению электричеством.

Мы решили, что,—будь что будет, а надо просить Кияшко о переводе Фани в Читинскую тюрьму для лечения. Тронула ли его красивая молодая девушка с незрячими глазами, не знаю, но только мы сразу увидели, что дело нам удастся. Расспросив нашу уполномоченную, он громогласно дал слово перевести Фаню немедленно в Читу на испытание. Окончив дело, генерал совсем обмяк и разрешил нам получать толстые журналы, но только не новые, а прошлого года.

— А какие же вы хотите журналы? «Русское Богатство», наверно? Паршивенький короленковский журнал,—ну, да вас ведь ничем уж не испортишь! Господин начальник,—запишите.

Из Акатуя Кияшко двинулся в Кутомару, где начальник, присланный из Орла Головкин, повторил зерентуйскую трагедию с

поркой, голодовками и самоубийством заключенных. Проезд Сементовского был всегда кровавым для Нерчинской каторги: после первого проезда в 1910 году его ставленник Высоцкий устроил бойню в Зерентуе, а в 1912 году Головкин был послан в Кутомару, куда Забелло спрятал от Высоцкого непокорную политику. Покорить этих непокорных и надо было Главному тюремному управлению. Кияшко приехал в разгар борьбы Головкина с политическим коллективом и поддержал его своим авторитетом.

Забелло вздумал было повторить свой маневр спасения политиков и перевел их головку в Зерентуй, где был сносный начальник, но Кияшко приказал вернуть партию спасенных обратно в Кутомару, и Головкин добивал уже их, разбросав по уголовным камерам и натравливая на них уголовных.

Мой муж как-раз был в Кутомаре, и из его нелегального письма ко мне мы узнали подробности Кутомарской трагедии, еще более кровавой, чем Зерентуйская. Самое тяжкое в нашем положении было то, что мы жили почти рядом (за 60 километров), знали весь ужас происходящего и должны были пассивно ждать конца. Этот (1912) год был, пожалуй, самым тяжким за всю каторгу, так как после Зерентуйской трагедии каторга получила удовлетворение, что смерть Егора Созонова не пропала даром: товарищей своих он спас от своей участи.

А кутомарская история кончилась победой Головкина, и конец для политических мог быть только один—вымирание.

К этому времени и в Акатуе режим настолько устоялся, что уход Шмака, замена его временным начальником (Мыльниковым) и, наконец, перевод к нам опального Гарина из Алгачинской тюрьмы—мало меняли наше положение.

Правда, с уходом Шмака исчез активный враг, готовый на все, но это облегчение было больше психологическим, так как быт тюрьмы не изменился. Напуганный генералом Кияшко, Гарин туго сдавался под нашим нажимом к улучшению и облегчению быта, но в конце-концов по-стариковски устал и сдал позиции.

Например, летом Гарин не мешал нам разводить цветник как в одиночном дворе, так и перед окнами общих камер. Требовал только не сажать овощей, так как высшее начальство не одобрит улучшения пайка таким непредусмотренным образом.

Вдоль всех шести камер корпуса мы разбили цветник и все-таки обманули Гарина: засеяли сладким горохом, редиской, морковью и салатом вперемежку с цветами. Урожай по очереди снимался в каждую камеру.

Перед приездом начальства весь запретный огород подрезался, чтобы не было лишних разговоров, а затем вырастал снова.

Курьез вышел с поливкой нашего сада. Летом обычно лошади и бычки из хозяйства тюрьмы были перегружены сезонными работами, и воду в тюрьму возили «на бабах», как говорил надзиратель. Пять-шесть уголовных впрягались в телегу с сорокаведерной бочкой и возили воду. Мы, понятно, не допустили, чтоб на поливку сада воду возили нам «на бабах». Явилась серьезная угроза существованию сада. Мы, понятно, могли бы сами привезти воду на себе, но за ворота тюрьмы политику не пускали. Наша главная огородница, Светлова, предложила поставить бочки под водостоки и собирать дождевую воду на поливку, но старший надзиратель запротестовал:

— Нет, ваше благородие, они нагородят бочку на бочку, да и через стену.

Но Светлова нашлась:

— А вы прикуйте бочки на цепи к углам, и никто их не сможет сдвинуть.

Так и сделали, использовав кандалы, оставшиеся от мужской тюрьмы.

1913 год принес тюрьме новые огорчения. Дело в том, что это был юбилейный год Романовской династии—300-летие избрания на престол. Политики, конечно, не ждали, что он что-либо принесет им, но остальная тюрьма страстно ждала. Уголовные передавали из уст в уста самые достоверные слухи из Читы, что скинут две трети срока и «пойдем на волю». Обычная тюремная мечтательность вырастала теперь, питаемая несбыточными надеждами.

Тюрьма жила в лихорадке слухов, гаданий, фантастических расчетов. Выходило так, что чуть не все выйдут,—вот только насчет политики не было уверенности, но и уголовные и надзирательница по доброте сердца решали, что и их, хоть они враги царя, но «беспременно ослобонят». Наконец, настал и день об'явления высочайшего манифеста. Оказалось, что сбрасывалось не две трети и даже не половина, а только треть, а бессрочные становились «двадцатилетними» (т.-е. бессрочная заменялась 20 годами каторги). К политическим, конечно, манифест не был применен, за исключением судившихся по 126 ст. Я помню, какое тяжкое разочарование пережила тюрьма. Одна из долгосрочных уголовных не перенесла крушения мечты о свободе и сошла с ума. Ее перевели из общей камеры в Северную одиночку, и она проводила все дни в том, что собирала узелки в дорогу и кидалась к двери, как только звенел замок. Раз она вырвалась у надзирательницы и прибежала к волчку общей камеры, чтобы позвать всех на волю, так как манифест ведь всех освободил. Она кричала, что начальник прячет манифест, от-

бивалась от надзирателей и мучила всех дикими воплями из одиночки. После двух недель непрерывного возбуждения она умерла, не приходя в сознание.

Брешь в режиме пробила война. В тюрьму допускались телеграммы, «Правительственный Вестник», а нелегально учитель передавал нам другие газеты. Интерес к военным событиям как-то всех об'единил. Часто надзиратели просили об'яснений, а Гарин при выдаче книг двумя нашими из библиотеки не выдерживал и обменивался новостями.

К этому времени нас оставалось уже только десять человек и из третьей камеры нас перевели в южные одиночки. Наши рабочие пары для хозяйственных работ были расстроены выходом одних в вольную команду, а других на поселение, и мы засели в одиночках совсем безнадежно. Работа продолжалась только в библиотеке по переплету. От тоскливого однообразия одиночной жизни нас спасла общественная инициатива Земгора, Союза земств и городов. Она докатилась и до Сибири, и все глухие углы старались сделать что-либо для Красного Креста. В Акатуйской деревне затевалась лотерея, и тюрьма приняла в ней участие. Мы сделали до полутораста изящных вещей на лотерею. Мы не поднимали принципиальных вопросов вокруг этой работы, так как увлечения оборонческой идеологией у нас не было, сторонников войны до победы—также. Эта работа давала нам удовлетворение творчества, яркие краски, по которым соскучился глаз, относительную свободу общения между одиночками и тепло в холодные дни от железной печи, поставленной специально для этих работ. Увидев наше искусство, нам стали давать заказы на рукоделия, и начальство пропускало их. После выделки выигрышей на лотерею мы увлеклись выделкой цветов из материи. Выписали руководство, приборы, и Гарин не мешал нам сбывать свою продукцию на деревенские свадьбы. Особенно хорошо раскупались розы и хризантемы. Платили нам исключительно кружками мороженого молока. Мы собирали их в мешок и держали на дворе, а затем рубили и варили на всю коммуну. Эта работа открыла нам одиночки, так как клей, клейстер и краски для цветов мы варили на железной печке в коридоре, тут же стоял утюг для глажки, словом, камеры никак нельзя было запереть. Поверка привыкла заходить в мою одиночку, которая стала мастерской, и заглядывать на протянутую через камеру веревку, на абажуры, цветы и прочие яркие и красивые безделушки. Надзиратели так уверовали в наше искусство, что однажды принесли мне чинить карманные часы. Как я ни убеждала их, что ничего не понимаю и боюсь испортить,—они не верили и настаивали, что стоит мне посмотреть—и я исправлю их.

Три последних года перед амнистией мы провели в одиночках.

Для душевного равновесия одиночка после ряда лет в общей камере являлась отдыхом. Не было физической тесноты, страдания от курения соседей, состояния жизни на виду, на людях. Одиночки в Акатуе были построены для карцеров и размер имели такой, что стол, табурет и деревянный топчан заполняли их целиком; ходить в такой одиночке было невозможно. Зимой в них стоял такой холод, что окна замерзали доверху, а около умывальника пролитая вода замерзала, и образовывалась катушка. Выделка цветов и прочей мелочи дала нам возможность спасаться от холода около железной печки в коридоре и топить ее весь день.

Условия для личных занятий в одиночках были, конечно, самые идеальные в тюрьме, особенно в длинные зимние вечера.

Но характер занятий уже изменился: если в Мальцевской и вначале в Акатуе публика спешила учиться, то у ней чувствовалась подготовка к будущему, к завтрашней борьбе, после окончания срока каторги. Теперь мы остались бессрочные и долгосрочные. Ждать завтрашнего дня и готовиться к нему не было данных, и ученье понемногу стало самоцелью. Отсюда и выбор предметов изменился: теперь мы занялись чистой наукой для науки—математикой, философией и иностранными языками. Исключение, пожалуй, выпало только на мою долю. Дело в том, что мы были почти без медицинской помощи, так как тюремный врач приезжал раз в месяц, а фельдшер был очень молод и мало смыслил сам.

У меня явилась дерзкая мысль сделаться врачом-самоучкой и помогать близким при заболеваниях. С помощью «воли» мы достали книги по моему списку, и я засела за них вполне добросовестно. Особенно увлекалась я анатомией. На мое счастье и на несчастье моей соседки по одиночке Н. Терентьевой в тюрьме было много крыс. Надя их страшно боялась и ночи не спала, когда крысы пробирались к ней в одиночку. Мы ставили крысоловки, и вся пожива от них шла для моей анатомии. Резала я их очень много, но все это было не то; мне хотелось, раз уж невозможно в тюрьме анатомировать труп человека, по крайней мере, достать собаку или кошку. Надя пустила в ход всю конспирацию, чтобы добыть мне собаку. Через некоторое время я заметила, что она что-то затуманилась и как-будто сердится. Помогла выяснить дело Альвина.

— Да ведь это безобразие, что вы режете одним и тем же ножом крыс и хлеб.

Это правда,—нож нам был выдан только один на всю коммуну для хлеба, а я в пылу увлечения не сообразила, что люди могут брезговать таким превращением столового ножа в анатомический инструмент. Нож, конечно, добыли, но собаку вскрыть мне так и

не удалось, и пришлось довольствоваться только голубями, которых всегда водятся целые стаи возле тюрем, где их любят и кормят арестанты.

Но, кроме теоретических занятий в избранной области, мне хотелось немедленного реального дела.

Самым ближайшим было спешно обучиться зубоврачеванию, так как вскоре уходила на поселение последняя ученица зубного врача, Ася Щукина, которая сама обучилась зубоврачебному искусству, в роде меня, в Мальцевской еще и лечила потом зубы всей тюрьме. Я умоляла ее обучить меня, чтобы наш зубоврачебный кабинет не пропал после ее ухода даром. Кабинет остался в наследство мальцевитянкам от Лидии Павловны Езерской, по образованию—зубного врача.

Но уходящая скромничала, уверяла, что сама ничего не знает и не смеет учить меня.

И вот после ее ухода кабинет с набором инструментов и прочего был запакован в ящики и мирно ржавел с полгода. Я убедила товарищей, что по учебнику сама разберусь во всем, и просила их добыть мне бормашину и прочее в одиночку. Сама с Гариным я избегала говорить, так как он после провала письма ко мне моего мужа из Кутомары был зол на меня и придирчив. При смене книг в библиотеке наши переговорили с Гариным, и я получила зубоврачебный кабинет в одиночку. Бормашину я сложила по рисунку в учебнике и договорилась с фельдшером, что он все вырванные зубы от больных будет сдавать мне для практики сверления.

К семнадцатому году нас осталось всего десять человек,—семь из них в тюрьме и трое в вольной команде. В тюрьме были бессрочницы и одна осужденная на пятнадцать лет и лишенная вольной команды, а в вольной команде—трое осужденных на 15 лет и отбывших тюремный срок.

Утром 3 марта, проходя дежурить на кухню, Дыня дала нам знак зайти к ней. Когда пришла наша очередь итти за кипятком и хлебом, она, отвешивая в кладовой хлеб, сказала:

— Учитель велел передать вам, что в Питере волнения и скоро вам всем будет хорошо.

Немного позже пришла старшая надзирательница, очень смущенная, и кому-то из нас сказала, что в конторе тюрьмы всю ночь шла работа и что начальник два раза гонял нарочного в Александровский завод, ближайшую к нам телеграфную станцию. Забыв о хороших предсказаниях Дыни, мы решили приготовиться к обыску. В коридоре перед одиночками обсудили положение, высказали опасение, что где-то «провалилась» наша оказия (почта) и теперь будут искать концы.

Надзирательницы очень тщательно запирали наши одиночки, что еще более укрепило нашу уверенность в провале. Обычно обыск производился на вечерней поверке. Ее мы и ждали. Но поверка почему-то запоздала, а с одиночного дворика, где гуляла последняя пара перед запиранием на ночь, передали предостережение, что начальник идет в тюрьму. Шла приготовительная на ночь уборка камер, и все тревожно суетились. Загремел засов двери, отделявшей одиночки от главного корпуса, и в дверях показалась высокая фигура «Епифаныча», старшего надзирателя.

— Идите все в библиотеку, начальник зовет.

Наскоро накинув косынки и бушлаты, мы двинулись в библиотеку. Огней еще не зажгли, и в библиотеке начинало темнеть. Перед столом у окна стоял Гарин в пальто и шапке, с холодным, застывшим лицом. Он подождал, пока мы вошли все внутрь, затем вынул из бокового кармана пальто телеграмму и сказал:

— Я должен вас поздравить, господа. Я получил предписание министра юстиции освободить вас по этому списку,—и начал читать наши имена.

В списке не оказалось двух наших—Шакерман и Шумиловой, судившихся как анархистки.

— Как, почему пропущены двое?

— Я ничего, господа, не знаю сам, мне приказано и я должен выполнить. На завтра я заказал вам тройки до Борзи.

— Нет, мы уйдем только все вместе! Сейчас дайте нам нарочного для отправки телеграммы министру юстиции, в тюремную инспекцию, в Читу и генерал-губернатору Князеву.

Начальник растерянно согласился на все, и телеграммы в ту же ночь ушли.

Мы вернулись в свой одиночный глаголь и не позволили запереть на ночь одиночки. После колебания начальник велел запереть только двери в главный корпус. Все наше внимание как-то сразу и безраздельно заняла судьба остающихся в тюрьме товарищей. На беду вышло так, что одна из них была в тюрьме, а другая в вольной команде, так что по нашем уходе они оставались совершенно одинокими, и мы боялись попыток самоубийства.

Буйной радости, счастья свободы я не чувствовала сама и не видела вокруг себя. Долголетняя ли привычка скрывать от тюремщиков свое горе и радость, напряжение ли момента сковало наши сердца, но мы все вполне владели собой, обсуждали текст телеграммы, договаривались с начальником об укладке библиотеки, которую привезли с собой из Мальцевки шесть лет назад, и твердо готовились к последней борьбе за жизнь обойденных товарищей.

Мы понимали, что, если Гарин оправится от растерянности, он выведет нас из тюрьмы силой, но пока что—решили растянуть сборы до получения ответа на телеграммы. Гарин торопил нас, уговаривал ехать, обещал отправить обеих задержанных, как только получит подтверждение их амнистии из Читы, но мы не верили и мучительно ждали. Напряжение было так велико, что обычный ход тюремной жизни как-то ушел из поля зрения: я не помню из этих дней ничего, кроме укладки библиотеки и настороженных, недоверчивых лиц шмаковской своры надзирателей. Приходила мысль: что теперь будет, если все окажется пуфом и мы останемся в тюрьме? Милая Дыня одна была счастлива за нас, ловила нас по всем куточкам и уговаривала ехать.

Эти дни ожидания были особенно тяжелы тем, что ночи мы не спали, кипятили бесконечные чаи и чутко слушали—не несут ли телеграммv. Наконец, 5-го посыпались поздравительные телеграммы родных, а самая желанная из них пришла только к вечеру. В ней говорилось, что Шакерман и Шумилова также освобождаются.

Мы условились с начальником о пяти тройках на 6 марта, к семи часам утра. На трех должны были разместиться мы сами, а две предназначались для ящиков с книгами.

Оставлять нашу библиотеку в тюрьме не имело смысла; она была рассчитана на уровень образования выше среднего. В ней были хорошо подобранные отделы истории и философии, много книг на иностранных языках. Все это собиралось годами и дало возможность многим из нас пополнить свое образование. Бросить книги в Акатуе, где они не годились для уголовных и пошли бы на цыгарки, мы считали невозможным.

Добившись своего, мы решили эту последнюю ночь в тюрьме спать, чтобы не пугать собой вольных людей, а завтра заехать в деревню к нашему незнакомому другу, учителю Кирпичникову, и оттуда пойти поклониться могиле Лунина.

На утро явился тот же Епифаныч, косо смотревший на перемену нашей судьбы, и грубо торопил с выходом.

— Но, выметайтесь!

Надзирательница зачем-то деловито запирала пустые одиночки, а мы пошли длинным коридором главного корпуса. Я заглянула в волчок первой камеры и увидела, что уголовные лежат ничком на нарах и плачут. Мы уходили, а они оставались [1].

---

[1] Список освобожденных из Акатуя политкаторжанок: 1) Биценко А. А., 2) Измайлович А. А., 3) Каплан Ф. (нелегальная фамилия, настоящая—Ройблат), 4) Спиридонова М. А., 5) Терентьева Н. А., 6) Шенбенькова А. Я. (Пирогова), 7) Шумилова А., 8) Шакерман П. И., 9) Шенберг А., 10) Штольтерфот В. В.

В конторе мы встретились с тремя нашими вольнокомандками, получили проходные свидетельства на руки и заплатили начальнику за каторжный полняк одежды, так как своей мы не имели и итти на волю было не в чем. Помнится, полтора рубля стоил этот наряд. Ямщики, зная сибирские морозы, захватили тулупы, массу сена, и мы потонули в нем.

Ни слова привета, ни одного радостного лица я не помню среди населения тюремного поселка; видимо, здесь не очень верили и побаивались.

Тройка наша подкатила к избе учителя, и тут мы попали, наконец, в дружескую атмосферу. Телеграфный чиновник из Александровского завода читал ликующим тоном телеграммы об отречении Николая и прочее. По-сибирски сейчас же принялись поить нас чаем. Начальник тюрьмы, видимо, рассудив, что теперь ему уже нечего бояться, а может быть и полезно быть с нами любезным, догнал нас со своей дочерью у учителя и держался светским знакомым, даже просил нашей защиты «в случае чего».

После чая мы заспешили на могилу Лунина, чтоб до ночлега в дороге добраться засветло.

Нельзя найти слов тому сложному чувству, когда знаешь, что ты последний близкий, посетивший могилу, что после твоего ухода сюда не придет уже никто из тех, кто знает, что такое жизнь и смерть в тюрьме. Могила заброшена, памятник начал обваливаться. Мы взяли слово с Гарина, что на высланные нами деньги из Читы он починит памятник.

Потом скачка на тройках в горах сена, ночевка в тунгусской деревне, снова скачка в течение дня, и, наконец, долгожданная станция Борзя, куда уж был подан особый поезд для амнистированных нерчинцев. Тут нас встретили товарищи из мужских тюрем, мигом перенесли наше книжное имущество в вагоны и совсем затормошили нас. Отвыкшие от мужского общества, мы в конце-концов стянулись все в отдельный вагон и отбивались, как могли, от толп городских зевак, пришедших посмотреть каторжанок.

Удивительно, что в этой толпе не было ни радости, ни сочувствия, а какое-то звериное любопытство. Разряженные дамы протискивались в вагон, стояли несколько секунд, жадно обводя нас глазами и ища среди нас знаменитостей, и не стесняясь спрашивали:

— А где Спиридонова?

Было досадно и противно; когда двинулся поезд, мы облегченно вздохнули.

В четыре часа утра 8 марта мы прибыли в Читу. Мы рассчитывали, что раз поезд подходит так рано, то нас встретят только

свои, т.-е. каторжанки же, отбывавшие в Забайкальской области ссылку после каторги. Но оказалось, что толпа читинцев ночевала на вокзале, ожидая каторжного поезда. Все вагоны вмиг заполнились народом так, что пройти было уже невозможно. На крыше вагона одна серая куртка сменяла другую, лились бесконечные речи, пелись революционные песни, а, когда рассвело, нас нарасхват потащили в город. Казалось, что Чита опьянела от счастья, что более дорогих гостей она не встречала. Меня схватила за рукав бушлата какая-то седая женщина, вся в слезах, и тянула к себе, умоляя остановиться у нее. За другую руку, пробивая себе дорогу, тащила меня к себе одна из наших ссыльных. Я не знала, куда итти. Вдруг сияющий милиционер с красным бантом подвел нам под уздцы извозчичью пролетку, почти поднял меня, посадил, и почему-то закричал ура прямо мне в ухо.

В тот же день вечером я выехала из Читы в Иркутск, где ждал меня мой муж, освобожденный из Александровского каторжного централа. С ним я не виделась ровно восемь лет.

Л. П. Орестова

АКАТУЙСКАЯ ВОЛЬНАЯ КОМАНДА

Воспоминания

В мае 1911 года партия в 28 каторжанок прибыла из Мальцевской каторжной тюрьмы в Акатуйскую, находящуюся в 17 километрах от Александровского завода Нерчинского округа.

Акатуйская тюрьма со всеми постройками примыкающего к ней поселка—с домами и службами администрации, с казармой для конвойной команды—расположена в котловине, окруженной со всех сторон сопками, покрытыми хвойным лесом и кустарником богульника.

Перед самым Акатуем, версты за полторы-две, дорога проходит чудесной аллеей. Это преддверие сурового Акатуя как бы в последний раз дает возможность насладиться природой. Мы шли молча, жадно вдыхая запах хвои. Не хотелось думать о предстоящей тюремной обстановке, о грубостях и окриках, которые, как мы знали, ожидали нас в Акатуе.

Скоро перед нами предстала маленькая деревушка, населенная бедными переселенцами. Почти изо всех окон выглядывали равнодушные лица. Повидимому, они достаточно уже присмотрелись к проходящим этапам, и потому не проявляли того любопытства, с которым нас встречали по другим деревням. За деревушкой показались сначала постройки тюремного поселка, а затем и сама тюрьма, обнесенная высокой белой стеной, с двумя вышками для часовых, возносящимися над тюремной стеной так, что весь тюремный двор для часового был как на ладони.

У ворот тюрьмы ожидал нас Шматченко—начальник тюрьмы—с группой надзирателей. Они стояли густой толпой,—чужие, враждебные. При приеме партии Шматченко произнес громовую речь, в которой сразу же дал почувствовать, что мирные мальцевские дни миновали и что нужно быть готовыми ко всему.

Как только партия вошла в тюремный двор, надзирательницы обыскали наши вещи и нас самих; затем 16 человек, которым уже вышел срок вольной команды, повели за ворота тюрьмы. Я была в числе вольнокомандок. Едва успев проститься с остающимися в тюрьме товарищами, мы с тяжелым чувством вышли за ворота. Уходить не хотелось. Мы знали, что порознь труднее будет бороться.

На небольшом расстоянии от тюрьмы нас ввели во двор, окруженный деревянным забором.

Под сводами ворот, через которые нас провели, с одной стороны помещалась тюремная контора, а с другой караулка. В этой



Старая Акатуйская тюрьма, где сидел М. С. Лунин («Белый домик»)

караулке в 1905 г. сидела по делу романовцев Айзенберг, по профессии фельдшерица. В то время акатуйскому тюремному врачу приходилось обслуживать довольно большой район, и он, не справляясь с работой, настоял на том, чтобы Айзенберг ему помогала. Благодаря этому Айзенберг пользовалась большой свободой: работала в тюремном лазарете, навещала больных в деревне, уходя довольно далеко от тюрьмы. Запирали ее только на ночь. Такая свобода дала Айзенберг возможность бежать из Акатуя. Однажды она ушла как-будто к больным и обратно уже не вернулась.

При входе во двор мы увидели два ветхих каменных здания, в одном из которых помещались кухня и баня для конвойных солдат, а второе еще с давних пор служило местом заключения.

В «Белом домике», куда нас ввели (хотя, облупленный и грязный, он давно уже был не белый), в одной из камер провел тяжелые годы заключения декабрист М. С. Лунин.

Живя в «Белом домике», мы узнали, что могила Лунина находится на деревенском кладбище и благодаря памятнику, поставленному его сестрой, хорошо сохранилась. Нам очень хотелось побывать на его могиле, но это удалось сделать только тем, которые досидели до освобождения 1917 года.

«Белый домик» представлял из себя две камеры в два и три окна, с небольшим коридором, выходившим через маленькие сени на полусгнившее крыльцо. При входе в помещение нас неприятно поразила ветхость его и запах гнили. Полы местами прогнили буквально до дыр.

К нашему приходу сделали нары, которых раньше не было, так как здесь со времен Мельшина и позднее помещались мастерские. В каждой камере стоял большой стол и по две длинных скамейки,— вот и вся обстановка. Как мы ни старались создать какой-нибудь уют, нам это не удавалось. Облупленные стены, маленькие окна с решетками, прогнивший пол—все это делало нежилыми наши камеры.

Отапливались камеры большими голландскими печами с топкой из коридора. Дров давали так мало, что печи совершенно не нагревались. Но все же благодаря этим печам мы могли кое-что приготовить в дополнение к тюремному столу.

Акатуйская вольная команда не была той вольной командой, какой она должна была быть по тюремным законам. По закону вольная команда предполагает жизнь вне тюрьмы в своих домиках, с относительно свободной обстановкой и режимом. Наша же обстановка от тюремной отличалась только тем, что целый день камеры были открыты и мы имели возможность быть все время на воздухе во дворе, в то время как в тюрьме на прогулку давалось всего два часа в день.

Питались мы с тюремного котла, получая ту же баланду и жидкую кашицу, как и все заключенные, и так же, как в тюрьме, имели право дополнительно тратить на себя 4 р. 20 коп. в месяц. Но так как не все из нас получали деньги, а выписывать для других не разрешалось, то, конечно, дополнение было очень незначительное. Вдобавок к казенному питанию мы, главным образом, покупали сахар и кету.

Так же, как и в тюрьме, мы были одеты в казенную одежду, спали на нарах, имели право переписываться два раза в месяц и так далее.

Настроение у нас все время было какое-то выжидательное. Никому не хотелось примириться с тем, что вольная команда сведется к тюремной обстановке. Особенно трудно было примириться тем из нас, которые прожили уже некоторое время в свободной Мальцевской команде. Со двора и из окон были видны горы, лес, голубое забайкальское небо, и нам неудержимо хотелось на настоящую волю. Благодаря низкому забору, стоя на окнах, мы могли видеть далекие холмы, покрытые лесом.

Лес особенно хорошо был виден и сильно манил нас, когда мы шли за обедом на тюремную кухню. Но дни проходили, а мы продолжали оставаться в четырех стенах.

Однажды приехал иркутский генерал-губернатор Князев. От его приезда мы ждали изменения нашей обстановки. Мы говорили с ним о разрешении выходить за ограду, он соглашался с нами, ссылаясь на то, что в Александровском централе он это давно разрешил. Но так как непременным условием такого разрешения должно было быть согласие начальника тюрьмы, то мы и остались жить попрежнему. Однако, уезжая Князев отдал распоряжение перевести нас в лучшее помещение и устроить вместо нар кровати.

Охраняли нас тюремные надзиратели и солдаты. С последними скоро установились очень дружеские отношения. Они брали от нас всякие поручения в Александровский завод, отправляли письма на волю, передавали записочки в тюрьму и т. д.

Мы беседовали с ними, когда они стояли у ворот; кроме того, вели еще с ними большую переписку и настолько их распропагандировали, что они готовы были даже устроить нам массовый побег.

Знакомство с нами открывало им новый мир идей, мыслей и чувств. Ротный фельдшер Андрюша как-то особенно болезненно и остро воспринимал все, о чем мы с ним говорили. Он почувствовал всю тяжесть окружающей обстановки, и ему невыносимым казалось дольше оставаться в казарме. Ему трудно было справиться с тем новым, что на него нахлынуло, и это очень сильно отразилось на его психике.

Ефимов, его близкий друг, тоже солдат, часто писал нам, а при случае подходил к воротам и, торопясь, передавал, что он опасается за Андрюшу, за его психическое состояние. Глубокая перемена в психике Андрюши довела его до того, что он не выдержал и принял морфий. Но его удалось спасти и сделать это так тихо, что даже начальство не узнало об этом. Товарищи, уже предупрежденные его состоянием о том, что он может что-нибудь сделать

необычное, во-время заметили и увели его в лес, где насильно водили его, не давая заснуть, пока не прекратилось действие морфия.

Один из солдат, ставший потом надзирателем, «Малиновка», как назвали мы его по цвету яркой рубашки, которую он носил,— особенно усердно занимался передачей почты в тюрьму и бывал очень огорчен, когда приходилось итти в тюрьму на дежурство с пустыми руками.

Ему нравилась эта конспирация, и он гордился тем, что мы ему доверяем и что он так умело дурачит свое начальство.

Был еще один, Степочка, совсем молодой, оставивший в деревне жену и ребенка. Когда ему удавалось пробраться к нам в камеру, мы поили его чаем, он с большим увлечением рассказывал про свою деревню, семью и т. д. Он так увлекался своими рассказами, что забывал обо всем окружающем. Нам приходилось напоминать ему, что может притти старший надзиратель, и ему попадет.

Однажды мы получили из казармы известие, что Степочка заболел после ушиба головы во время обычной возни в казарме. По тем сведениям, которые до нас доходили, мы поняли, что у него менингит; при недостаточной медицинской помощи, положение создавалось очень серьезное. Он быстро впал в бессознательное состояние, температура поднялась высоко. Мы часто подходили к забору, смотрели в узкие щели, силясь узнать, что происходит в казармах, которые были напротив нас. Прошло двое суток в большой тревоге, а на третий день его не стало. Нам хотелось передать ему последнее прости. Мы сделали бумажные цветы, которые с большим трудом удалось передать в казармы. То же сделали и товарищи из тюрьмы, под видом заказа, поступившего от надзирательниц.

Мы стояли у решетчатых ворот и видели, как молча группа в серых шинелях с винтовками на плечах пронесла того, кто своими простыми рассказами часто отрывал нас от серой действительности, заставляя хоть на короткое время перенестись в другую обстановку, но тоже нерадостную и полную лишений.

Тяжело было представить, как в деревне, вместо ожидаемого скорого возвращения с военной службы, получится известие о его смерти, и сколько горя ждет его семью.

Наши сношения с солдатами не всегда проходили благополучно. Однажды в Газимуре или Шелапугине провалились тюремные письма на волю, которые посылались через солдат. Начальство переполошилось, заподозрев существование целой военной организации. Арестовали группу солдат, а в Акатуй прислали запрос о лицах, упомянутых в переписке, и требование расследовать.

В тюремной конторе в это время работал писарем бывший солдат, каторжанин Меланин, который передавал нам все новости,

проходившие через контору. Меланин снял с присланных бумаг копии, чтобы передать их нам. Но так как сверток вышел очень солидный и в щель забора не прошел, он перебросил его через забор. В это время в конторе как-раз был Шмак. Увидев это, он сам побежал за забор, а старшего надзирателя Квашу послал во двор. Люба Орлова, которая ловила сверток, успела на глазах Кваши убежать в камеру и кому-то сунуть его. Но ее немедленно же вызвали в контору на допрос, и, хотя она уверяла, что Меланин передал ей сахар, ей не поверили. Она была сейчас же отправлена в тюрьму, где и просидела до окончания своего срока, т.-е. еще почти целый год. Ходили слухи, что Меланина подвергнут наказанию розгами, это нас страшно волновало, но кончилось тем, что его отправили для заключения в мужскую тюрьму.

По делу о провалившейся переписке начальство долго еще не могло успокоиться. В Акатуй приезжали жандармы, вызывали Любу, Марийку, Бородюкову и Верочку Штольтерфот на допрос, но, последние, зная все подробности из материалов, переданных Меланиным, держались очень умело, и жандармам не удалось создать военную организацию.

Кроме солдат, услуги оказывали нам политические каторжане Мосаковский и Беломестнов, оставшиеся после увода мужчин из Акатуя для тяжелых физических работ.

Они были настоящими нашими рыцарями. С риском быть отправленными обратно в тюрьму, они исполняли все наши поручения. Делать это было тем более трудно, что окна конторы выходили к нам во двор, и мы, таким образом, были под постоянным наблюдением самого Шматченко. Однако, Мосаковский все же ухитрился пробраться к нам в помещение с фотографическим аппаратом и заснять нас и нашу обстановку. Проделал он это в то время, когда у ворот стояли свои солдаты, а Шмак спал после обеда.

Однажды пришел к нам старший надзиратель Кваша и предложил желающим поехать на сенокос. Мы очень осторожно отнеслись к этому предложению, из боязни, чтобы оно впоследствии не вылилось в обязательную работу. Но потом некоторые из нас согласились. Сначала пошла только Павла Меттер, а потом присоединились Ася Щукина, Лиза Петрова, Верочка Штольтерфот и Люба Орлова.

На сенокосе гребли сено, оставаясь там всю неделю, и приезжали в Акатуй только на воскресенье, чтобы взять продукты и снова уехать на целую неделю. Жили в балагане, спали на свежем сене; тут же на свежем воздухе готовили обед. Работали с раннего утра до позднего вечера.

Надзиратель Рюмкин, который был с ними на сенокосе, вначале по окончании работ не пускал их дальше десяти шагов от балагана, но постепенно они приучили его и к дальним прогулкам, дав слово не затевать побегов. После окончания работ они уходили в горы, жгли костры, наблюдали восход солнца и часто, не сомкнув глаз, принимались за работу. По соседству с ними косили солдаты конвойной команды, из разговоров с которыми они узнали, что недалеко есть переселенческая деревня, где можно достать молочные продукты. И вот, однажды, в праздничный день, когда из-за дождя поездка за продуктами в Акатуй была отменена, они направились в эту деревню. Зашли к сельскому учителю, который хотя и принял их очень приветливо, но все же был чем-то смущен. Увидев на столе газеты, наши с жадностью набросились на них, забыв, что им нужно торопиться и что продолжительное отсутствие их может встревожить Рюмкина. Из-за перегородки в это время послышались стоны больной жены учителя. Когда гостеприимный хозяин понял, что гости его уходить не собираются, он сообщил им, что у его жены начинаются роды, и указал им избу, где можно достать сметану и молоко, куда они и направились. Там их встретила дряхлая старушка, которая очень испугалась, увидя людей в арестантской одежде. Они едва ее убедили, что за продукты заплатят. Лишь только старушка спустилась в подполье за молоком, мимо окон проскакал в полной форме надзиратель Рюмкин. Увидев вольнокомандок, он стал упрекать их, что они не сдержали слова и устроили побег. Наши всячески его убеждали, что это не побег, а обычная прогулка, но Рюмкин был непреклонен. Оказалось, в их отсутствие приезжал на сенокос Шматченко, и Рюмкин страшно перепугался, что начальник заметит продолжительное отсутствие политических каторжанок. Как только они пришли к балагану, он сейчас же отдал приказ собираться в тюрьму.

Шел дождь, и было так грязно, что ехать было совершенно невозможно. Пришлось всю дорогу итти пешком под дождем. Дорогой вольнокомандки уговаривали Рюмкина не доносить начальнику об их прогулке, но в ответ Рюмкин или отмалчивался, или уверял, что они хотели убежать.

Вернувшись в вольную команду, они на вечерней поверке ожидали, что их возьмут в тюрьму. Мы все за них очень волновались, так как за попытку к побегу угрожала не только тюрьма, но и увеличение срока наказания. Поверка прошла как обычно. А утром, вместо тюрьмы, их снова вызвали на сенокос...

Но с тех пор дальними прогулками они уже больше не пользовались.

Ася Щукина, идя на сенокос, имела тайную надежду на побег. Мы против этого ничего не имели, так как вольной командой не очень дорожили. Асе же побег был более необходим, чем кому бы то ни было из нас.

За Асей в прошлом было большое дело, не раскрытое властями. Ею был убит 28 мая 1907 года начальник Нерчинской каторги Метус. Во время его проезда через Читу, она пришла к нему с какими-то прошением в гостиницу, где он жил, и выстрелом из револьвера убила его наповал. Пока окружающие сбежались, Ася была уже на улице. В это время из окон гостиницы кто-то закричал, чтобы ее задержали. Толпа окружила ее, но своевременная помощь с лошадью товарищей—Дмитрия Кузнецова [1] и Евгения Диденко [2]—спасла ее.

В июле 1907 года Ася была арестована в Красноярске под другой фамилией и судилась по делу с.-р. типографии, за что была приговорена к четырем годам каторги.

На каторге Ася жила с постоянной мыслью, что ее могут открыть, и тогда ей неминуемо грозит смертная казнь или вечная каторга. И несмотря на это она вела себя в этом отношении очень легкомысленно. То ли из чувства тщеславия и боязни, что окружающие товарищи, не зная ее поступка, не смогут оценить ее по достоинству, то ли из болтливости, ей хотелось рассказать о себе. Еще будучи в Красноярской тюрьме, она рассказывала многим мало знакомым товарищам о своем террористическом акте, а в Мальцевской тюрьме и подавно все знали об ее деле. И вместе с тем, несмотря на широкий круг людей, знавших об Асе больше, чем нужно, все осталось скрытым до самого конца.

Из вольной команды Асе так и не удалось бежать. Она отбыла четыре года каторги, а когда пришла в Якутск на поселение, нашей первой мыслью было заняться ее побегом. Это ей удалось, благодаря помощи таких опытных устроителей побегов, как Вера Григорьевна и Павел Яковлевич Манн.

Надежда на побег была и у Павлы Меттер. Она даже с этой целью ходила с уголовными женщинами на огородные работы.

---

[1] Д. И. Кузнецов судился в 1906 г. на ст. Хилок Заб. ж. д. временно военным судом при карательной экспедиции Ренненкампфа за принадлежность к боевой дружине. Осужден к смертной казни, замененной 8-ю годами каторги, которую отбывал в Акатуе. Бежал в 1907 г. при переводе из Акатуя в Верхнеудинск; при аресте в конце 1907 г. оказал сопротивление. Осужден военно-окружным судом к смертной казни, замененной 20 годами каторги, которую отбывал в Нерчинской каторге в 1908—1917 г.

[2] Евгений Диденко—участник вооруженного восстания в Красноярске в 1905 году. Бежал из тюрьмы до суда.

Бежать Павла хотела для устройства побега Мане Школьник, находившейся на излечении в иркутской тюремной больнице. Но, когда была получена телеграмма «Маня вышла замуж», что означало «Маня бежала», Павла от огородных работ отказалась, за что ее продержали неделю в карцере, а когда она заболела,— перевели в тюрьму. В вольную команду она уже не вернулась.

Из администрации чаще всего нам приходилось сталкиваться с самим начальником тюрьмы Шматченко и старшим надзирателем Квашей.

Старший надзиратель Кваша, с густыми длинными усами, типичный украинец, был правой рукой Шмака. Ему было уже больше 60 лет, но внешне это был еще очень бодрый, крепкий старик. Его сгорбленная фигура, с болтающейся на боку шашкой, в большой папахе, появлялась всюду, где его не ожидали, и его приход приносил всегда какие-нибудь неприятности. Он все видел и слышал и обо всем доносил начальнику.

Сам Шмак был большой самодур. Трудно было представить, чтобы взрослый человек из-за каких-то мелочей мог постоянно устраивать скандалы. Так, например, однажды ему не понравилось, что Дина Пигит не на том месте конверта наклеила марку. Он пришел к нам в команду, сердито потрясая письмом, убежденный, что и в данном случае Дина сделала это из желания ему противодействовать.

Когда Шматченко приходил к нам в камеру, мы, во избежание команды «встать», заранее вставали, и недоразумений никогда не было. Но однажды ему показалось, что Дина Пигит сидит, хотя она стояла около нар, заложив руки за спину. Шмак рассвирепел и зарычал:

— Встаньте.

— Я стою,—ровно, не повышая голоса, ответила Дина.

Шмак продолжал настаивать:

— Отойдите от нар.

Дина продолжала стоять в том же положении. Начальник тотчас же отдал приказание взять ее в карцер, где она и просидела три дня в темном.

Мы решили в следующий его приход не вставать.

Как-раз в это время из «Белого домика» нас перевели в другое помещение, так как «Белый домик» требовал ремонта.

Новое помещение — бывшая солдатская казарма — состояло из одной большой камеры с коридором. По распоряжению Князева нам, вместо нар, сделали несколько кроватей. Делалось это очень медленно, но все же была надежда, что мы понемногу устроимся более по-человечески. Вокруг этого помещения даже не было за-

бора, но это не значило, что мы могли уходить на далекое расстояние. Наоборот, было гораздо хуже, чем прежде. Надзирательница на прогулке не давала житья и все время напоминала, что далеко от дома уходить не разрешается.

Почти тотчас же по переходе в новый дом пришел начальник. Мы встретили его сидя, и даже наш малыш, пятилетний Галчонок, дочка Лизы Петровой, тоже шлепнулась на место. Шмак промычал «понимаю» и тут же отдал приказание надзирательнице: «без прогулок, без выписки, без переписки, без горячей пищи». Надзирательница произвела в камере обыск, и нас заперли.

Поздний вечер. На столе горит маленькая лампочка. Вокруг стола сидят несколько человек, низко склонившись над книжками; некоторые лежат на нарах. По углам висит несколько лампочек, которые нелегально приобретались и также нелегально жглись. В камере тихо. Слышен только шелест переворачиваемых страниц. Вдруг чья-то рука с улицы быстро открывает форточку, и в нее начинают лететь сверток за свертком. Все это происходит так быстро, что мы в первый момент даже не можем сообразить, в чем дело. Мы только стараемся, чтобы свертки не попали нам в голову.

Оказывается, наши друзья из солдат, как только узнали, что мы оставлены на карцерном положении, сейчас же сорганизовали нам передачу в виде колбасы, ветчины, белого хлеба, сахара и тому подобного.

Передать это было очень трудно, так как помещение наше было на виду у всех. К тому же окна были настолько высоки, что одному из солдат даже пришлось встать на плечи другому, чтобы достать до форточки, а караульный, вместо того, чтобы караулить нас, стоял все время на стреме.

Такая забота со стороны наших друзей, самих сидевших на том же тюремном пайке и не имевших лишней копейки, нас очень тронула. Мы все побросали книжки и весь остаток вечера провели в разговорах о наших друзьях. Мы все были в приподнятом настроении. Нас особенно смешило и радовало, что мы обошли Шмака. Он воображал, что мы полностью несем наказание, сидим на карцерном положении, то-есть на хлебе и воде, в то время как мы поедали всякие вкусные вещи.

Хочется сказать несколько слов о нашей маленькой узнице. Чтобы хотя немного скрасить серую жизнь нашей Галочке, мы решили ей устроить зимний праздник. Для этого каждая из нас под каким-либо предлогом шла в лазарет и просила у фельдшера ваты и борной кислоты. Когда того и другого набралось достаточное количество, мы приступили к выполнению своего плана.

Сделали из ваты чудесный домик с разноцветными окнами. Около домика сидел сердитый дед-мороз и зайцы, которые везли на санках различные игрушки. В домике горела свечка, которую с большим трудом удалось достать нам через уголовных женщин. Окно, на котором стоял домик, все сверху донизу было застелено толстым слоем ваты и посыпано борной. Когда в домике зажгли свечку, картина получилась очень эффектная. Решили позвать Галочку, от которой все это делалось тайком. Но в самый последний момент свечка очевидно подтаяла от тепла и упала. В один миг все окно было охвачено большим пламенем. Мы бросились тушить, боясь, что охрана увидит пламя и поднимет тревогу. Однако все обошлось благополучно. А наш Галчонок так и не узнала, какого удовольствия она лишилась. Она получила только книжки и несколько игрушек, доставивших ей большое удовольствие.

Галка очень дружила с одним надзирателем и ни за что не хотела примириться, что когда-нибудь она будет жить без него. Ей казалось, что и на воле всех людей охраняют, поэтому она уговаривала его, когда ее мама кончит каторгу и они поедут на поселение в Якутск, ехать вместе с ними, чтобы там охранять их.

Серьезных занятий у нас не было. Книгами мы пользовались из тюремной библиотеки, для чего нами предварительно передавался в тюрьму список того, что нам нужно. За книгами мы ходили к воротам, куда кто-нибудь из тюремных товарищей выносил их. Эта была почти единственная возможность повидаться с ними.

А если удавалось перекинуться двумя-тремя словами, то радости не было конца. Как быстро мы успевали схватывать и настроение, и даже всякие мелочи в одежде! Возвращаясь в камеру, рассказывали так много, как-будто произошло свидание не меньше часу.

Встречи с тюремными товарищами происходили еще при выдаче нам посылок в конторе. К этому моменту нами приготовлялась почта для тюрьмы. Однажды получала посылку из тюрьмы Надя Терентьева, а из вольной команды Верочка Штольтерфот. Последняя должна была передать Наде довольно солидный сверток писем. У Веры после пребывания в Петропавловской крепости почти всегда тряслись руки, и тут, волнуясь, она уронила сверток. Надзирательница незаметно подняла его и потом уничтожила, не передав ни в тюрьму, ни начальнику.

Мне лично удалось повидать всех тюремных товарищей незадолго до моего ухода на волю. В связи с заболеванием легких доктор направил меня в лазарет, который помещался во дворе тюрьмы. Лазарет содержался довольно чисто, больных было не-

много, и можно было отдохнуть от жизни общей камеры. Общаться с тюрьмой не разрешалось, мне же очень хотелось посмотреть, как живут наши. И вот однажды, как только их открыли для прогулки, я быстро пробежала через двор в их камеру. Меня встретили, как после долгой разлуки. Говорили все сразу, а я ничего не понимала. Все это продолжалось несколько минут, но за это короткое время они успели мне даже показать «капернаум» (уборная), которым они очень дорожили, как единственным местом уединения и бесед во время камерной конституции (установленные часы для занятий, в которые нельзя было даже шептаться). Там было необычайно чисто. В лазарете я пробыла две-три недели и снова вернулась в команду.

Проходили месяцы, недели, дни, и наконец осталось несколько дней до выхода на волю. И странно, чем ближе наступал этот день, тем все больше и больше охватывала какая-то безотчетная грусть. На душе было какое-то чувство вины перед остающимися товарищами. Хотелось чем-нибудь скрасить их жизнь перед разлукой, порадовать какой-нибудь мелочью. В особенности усилилась тоска, когда почти перед самым уходом на волю я увидела совсем близко всех тюремных товарищей.

Почти перед самой отправкой в этап меня повели в тюремный двор сниматься для статейного списка. Снимал сам Шматченко. Во дворе как-раз в это время была прогулка. Хотелось подойти к товарищам, сказать несколько прощальных слов, но так как тут был Шмак, то я могла смотреть на них только издали. За всякую попытку вступить в разговоры со стороны Шмака могла последовать самая резкая грубость.

На поселение я ушла 16 марта 1912 года. Вместе со мной из вольной команды уходила Ася Щукина, а из тюрьмы Люба Орлова.

Было яркое солнечное утро. Снег блестел на солнце различными оттенками. В камере все старались быть оживленными, радостными, но у всех чувствовалась какая-то тихая грусть.

Пришла надзирательница, и, быстро попрощавшись с остающимися, мы забрали свои мешки с вещами и пошли в контору, около которой нас ожидали некоторые из солдат, желавшие проводить нас. За деревней встретила нас еще группа солдат, они передали нам какой-то сверток с едой.

В Александровском заводе конвой сменился. Наш конвой возвратился обратно в Акатуй. С ним ушла последняя связь с Акатуем. Мы написали с ними длинные письма оставшимся там товарищам.

Нам предстоял долгий, утомительный путь в Якутск на поселение.

ПАМЯТИ УМЕРШИХ

Е. П. Зверева

С. Н. ДАНЦИГ

Сарра Наумовна Данциг умерла в октябре 1918 года, в период разрухи и разгара гражданской войны, на Кавказе—в Армавире—от злокачественной опухоли, когда о требуемой болезнью операции нельзя было и думать.

Написать подробную ее биографию, описать ее жизнь и революционную деятельность сейчас не представляется возможным. Ни товарищи ее, ни друзья того времени нам не известны. Родные жили далеко и не были осведомлены.



Сарра Наумовна Данциг

Родилась Сарра Наумовна в 1873 году в местечке Клецке, Минской губернии. Отец умер, когда ей было девять месяцев. Росла в бедности при матери, обремененной малолетками. Все же, несмотря на материальные недостатки, Сарре Наумовне удалось попасть в школу. Училась в гимназии в Нежине. С ранних лет, чуть ли не со второго класса, содержала себя частными уроками и поддерживала семью. По окончании гимназии, мечтая о высшей школе, о приобретении знаний, о разрешении всех вопросов общественной и политической жизни, она была вынуждена тянуть свою лямку, пока учились и устраивались в жизни братья.

Как только явилась возможность помощи со стороны братьев (редкая дружба у ней с братьями сохранилась с детства), Сарра

Наумовна ринулась в столицу. В 1899 году нелегко было поступить в высшее учебное заведение, особенно еврейке. С одной стороны, эта трудность, с другой—нежелание обременять излишне своих заставило иначе легализировать себя в Питере. (В то время для евреев существовала черта оседлости, а в учебных заведениях—прием евреев производился при соблюдении определенного процентного отношения ко всем прочим поступающим). Она избрала кратчайший путь—поступила ученицей на акушерские курсы. Одновременно прошла курсы массажа. По окончании поступила на известные в это время высшие курсы Лесгафта. Студенчество тогда переживало бурную полосу жизни. Регулярные нажимы и репрессии царского правительства сменялись чрезвычайными наскоками и вызывали сопротивление. Последовал ряд грандиозных демонстраций: 1898 г. («Ветровская»), 1901 и 1902 годов. На заводах и фабриках велась среди рабочих пропаганда и агитация, с.-д. распространяли листовки... Молодежь металась, молодежь зрела политически и оформляла свои убеждения, и в 1902 г., уже определившись, примыкала к которой-нибудь из партий. Сарра Наумовна, ищущая борьбы и борцов, закружилась в водовороте течений.

В первый раз она была выслана административно в Архангельск или Вологду,—не установлено. По возвращении из ссылки вернулась в столицу, где и вошла в ряды партии с.-р. Снова арестована, но освобождена до суда. В 1905 году работала в Б. О. партии с.-р. Арестована в 1906 г. в Петербурге, судилась Петербургской судебной палатой в 1907 году по двум делам. Первое дело угрожало четырьмя годами каторги, поэтому было покрыто вторым, по которому за хранение взрывчатых веществ приговорена к девяти годам каторги.

В течение полуторалетнего (приблизительно) сиденья в Доме предварительного заключения до суда Сарра Наумовна, по внешности красивая, солидная, пышущая здоровьем, обнаружила неизлечимую болезнь. В тяжелых условиях тюремной жизни, с недоеданием, голодовкой, волнениями, болезнь стала все более и более ее беспокоить. Ей трудно было много двигаться и стоять на месте. Перед нею стояла дилемма: или операция, или преждевременная смерть. Никакие хлопоты ее брата-врача не помогли. Клиника не принимала с конвоем, а охрана не снималась. Операция в тюремной больнице была опасна; да к тому же требовалось обратиться с просьбой к прокурору, что Сарра Наумовна находила для себя невозможным.

Приговоренная судом на девять лет, врачами—на смерть, она прибыла в Мальцевскую каторжную тюрьму и потом в Акатуй.

Чрезвычайно скромная и деликатная, требовательная к себе самой, Сарра Наумовна отличалась настойчивостью в помощи ближнему и во всяком серьезном деле. В тюрьме никто никогда не слышал ни стонов, ни жалоб на болезнь и на плохое самочувствие; большинство окружавших даже не подозревало о ее «смертном приговоре». Ее малую подвижность во время прогулок и постоянное сидение и полулежачее положение в камере можно было приписать вялости характера. Болезнь год от года ухудшалась. По характеру Сарре Наумовне свойственна была какая-то детски-шаловливая игривость, последнее время, в годы тюрьмы, проглядывавшая только во взоре. Живая, веселая по натуре, она всегда словно пряталась от людей, стеснялась. Возможно, это было следствие той же болезни или тюремных условий. В критические моменты Сарра Наумовна выказывала удивительную находчивость и отвагу.

В Акатуе, когда жили за решеткой на положении вольнокомандцев, тюремная администрация сделала внезапный набег. Обыск дошел до того, что надзирательница тут же произвела поголовно личный обыск, но нелегальный сверток чуть не на глазах перелетал с рук на руки, а Кваша (надзиратель) яростно кидался во все стороны, пока не прекратила сцену Сарра Наумовна. Она схватила сверток, и тот исчез неизвестно где. Надзирательница тщательно обыскала ее и не нашла. Пришло подкрепление на повторный обыск. К тому моменту сверток исчез окончательно. Так его и не нашли.

Сарра Наумовна была надежный, стойкий товарищ. Как преподавательница, она отличалась настойчивостью и строгостью: очевидно, из-за грошей ей пришлось не мало тупиц обработать.

Ее внимание и самоотверженность не имели границ. Как-то умела она видеть, кому что нужно. У нее и около нее всегда было уютно. Из ничего в тюремных условиях, из остатков черного хлеба, лакомила нас «кулагой», из нес'едобной «боярки» запекала что-то в роде пуддинга. На поселение ее отправили в волость, населенную уголовными; население там было косное и темное. И что же? Вопреки обычной, чисто деревенской приверженности к бабкам-повитухам, там очень скоро узнали Сарру Наумовну и так нуждались в ее работе, что у нее не хватало времени урваться тайком от стражи к товарищам за 20 верст, тогда как прочие ухитрялись зачастую провести за нос недреманное око и проделать прогулку к товарищам по делу, а то и просто так для свидания.

Во время тифозной эпидемии Сарра Наумовна безотлучно возилась с заболевшими товарищами и сумела оказать помощь в побеге т. Свежинскому. В барак для тифозных и вообще к практи-

ке, разумеется, ее не допускали. И, если бы не было такого запрещения, Сарра Наумовна не имела бы вовсе покоя ни днем ни ночью. Удивительный массаж делали ее руки! Пациент буквально наслаждался отдыхом при всех манипуляциях ее массирования. Так мягки, нежны, приятны казались прикосновения ее рук к наболевшему месту.

Самоотверженность ее не знала предела. До сих пор едва ли кто из товарищей, близких А. Кравецу, теперь покойному, знает, что Сарра Наумовна уступила ему ценою своей жизни возможность бежать за границу. Она обладала данными для побега. Французский язык она знала хорошо, поэтому легко могла ориентироваться за границей и спасти себя операцией. Главное, у нее имелся один источник, из которого она имела разрешение черпнуть денег в трудную минуту жизни. И вот его-то она обратила в пользу Кравеца. Достала, помнится, триста рублей и передала ему для побега. К сожалению, Кравец умер за границей или вскоре по возвращении на родину в 1917 году.

А Сарра Наумовна не превозмогла своей скромности и не воспользовалась даже Москвой в отношении поправления своего здоровья в 1917 году, когда амнистированные пользовались привилегиями.

Так же в Армавире, проживши почти год инкогнито, умерла среди родных и была похоронена на еврейском кладбище своей семьей без всякой приличествующей помпы. Такова воля Сарры Наумовны.

По ее смерти пронесся слух, которому охотно верится—так это похоже на нее: путь из Москвы в Армавир в 1917 году был невероятно труден; поезда то шли, то нет; поэтому пассажиры в тот раз решили протолкать вагон руками от одной станции до другой. Сарра Наумовна принимала участие. Может быть, это и сократило ее и без того короткую жизнь.

Л. П. Орестова

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА ЕЗЕРСКАЯ

В декабре 1908 года я и мои сопроцессницы—Лида Чебанова и Ася Щукина—пришли в Мальцевскую тюрьму. Из встреч с мальцевитянками мне особенно памятно знакомство с Лидией Павловной Езерской. На другой день после моего приезда кто-то из товарищей предложил мне пойти познакомиться с ней,—она в это время жила в околотке.

В чистой, довольно уютной одиночке Лидия Павловна полулежала на кровати с книжкой в руках. Встретила она меня, как близко знакомого человека, хотя я видела ее в первый раз. С первого же момента я почувствовала в ней человека большой душевности, что особенно трогало в тюремной обстановке. Она ласково расспрашивала меня, как мы прошли тяжелый этапный путь в декабрьские морозы, как обращался с нами конвой, какое впечатление произвела Мальцевка. Все вопросы были полны искреннего участия и сердечности.



Лидия Павловна Езерская

Скоро у нас в тюрьме было установлено пользоваться по очереди одиночками для отдыха, и Лидия Павловна перешла из одиночки в общую камеру. Своим присутствием она внесла в камеру много оживления и разнообразия. Она,

как никто, умела группировать вокруг себя людей. Около ее кровати всегда кто-нибудь сидел и рассказывал о прочитанной книге, о своих переживаниях, о полученных с воли письмах, и Лидии Павловне всегда все было интересно и близко.

Здоровье Лидии Павловны в это время было в очень плохом состоянии. У нее была бронхиальная астма; кроме того, она жила уже только небольшими остатками легких, часто испытывая удушье от приступов изнуряющего ее кашля. И, несмотря на это и на то, что она была старше всех нас, она была всегда полна жизни и бодрости, согревая всех нас своей сердечной теплотой.

Много времени Лидия Павловна отдавала занятиям с другими. Она занималась иностранными языками с целым рядом товарищей, читала серьезные книжки и помогала разбираться в прочитанном тем, кто был мало подготовлен для серьезного чтения. Иногда вечером в камере она читала что-нибудь вслух, увлекаясь сама и увлекая слушателей.

Много времени Лидия Павловна тратила на лечение зубов как нам, так и уголовным. Ей, как больному человеку, такая работа была не по силам, но она не считалась с этим.

Профессию зубного врача Лидия Павловна приобрела из-за желания жить самостоятельным трудом. Дочь могилевского помещика, с детства жившая в полном довольстве, а позднее, после замужества, также не знавшая материальных забот, Лидия Павловна все же не удовлетворилась такой жизнью. Ей тягостно жить в обывательской обстановке, и она порывает с семьей, оставляет мужа и маленького сына и уезжает в Петербург, где поступает на зубоврачебные курсы при Военно-медицинской академии. После окончания курсов Лидия Павловна открыла свой зубоврачебный кабинет. Жила она это время более чем скромно, а иногда испытывала даже острую нужду. Квартира ее находилась в глухом месте, пациентов было очень мало. Бывали дни, когда у нее не было буквально ни копейки на жизнь, но Лидия Павловна относилась к этому очень спокойно. В это время (1900—1901 гг.) Лидия Павловна уже принимала деятельное участие в революционной работе. Квартира ее служила для явок и для других конспиративных дел.

Из Петербурга Лидия Павловна переехала в Москву и, открыв здесь зубоврачебный кабинет, стала заниматься, кроме этого, еще литературной работой. Квартира ее так же, как и в Питере, служила местом явок. Она принимала участие в подпольной печати, вела агитационную работу, выезжая даже в дру-

гие города. В это время Лидия Павловна почти всецело уже отдалась революционной работе, вступив в партию с.-р.

В 1904 году она была арестована по делу о подготовке покушения на министра внутренних дел Плеве. Просидела она в Таганской тюрьме до суда больше года, а затем была приговорена судебной палатой к году крепости с зачетом предварительного заключения.

Выйдя из тюрьмы, Лидия Павловна уехала в Могилев, где жила очень замкнуто, принимая участие в подпольной работе. В 1905 году в Могилев приехали несколько членов боевой дружины партии с.-р. с целью организации террористического акта на могилевского губернатора Клингенберга. Лидия Павловна принимала большое участие в подготовке этого покушения. Она нашла комнату для приготовления снарядов, достала фотографическую группу, где был снят Клингенберг. Ее сын Гриня, мальчик лет пятнадцати, тоже помогал ей в ее революционной работе. В ученической форме, с ранцем за плечами, он раз'езжал на велосипеде, передавая по назначению нужные сведения.

Покушение не состоялось, так как тот, кому было поручено выполнение акта, в последний момент отступил. После этого неудачного дела местная организация партии с.-р. стала действовать самостоятельно. Но покушение окончилось опять неудачно: брошенная т. Брильоном бомба не взорвалась. Тогда Лидия Павловна решила сама подготовиться к выполнению этого акта. Для того, чтобы получить санкцию ЦК партии, она поехала в Женеву, но, неизвестно по каким причинам, согласия ЦК не получила. В это время по всему Северо-Западному краю прокатились еврейские погромы. Клингенберг не мало этому содействовал. В Могилеве настроение было тоже очень тревожное. С часу на час ждали погрома. Это особенно побудило Лидию Павловну поспешить покончить с Клингенбергом. 29 октября 1905 года она пришла к Клингенбергу на прием и выстрелом из револьвера тяжело ранила его. 7 марта 1906 года по приговору Киевской судебной палаты она была присуждена к 13 годам и 6 месяцам каторги. После суда ее посадили вместе с уголовными. В этой обстановке Лидии Павловне жилось очень тяжело.

К тому же начальник тюрьмы Дубяго, до приговора относившийся к ней вполне корректно, после суда резко изменил отношения. Однажды, зайдя в камеру, он сказал ей какую-то пошлость, за что Лидия Павловна дала ему пощечину. После этого Дубяго стал ее преследовать разными придирками. Она объявила голодовку, голодала шесть дней.

Приезжал прокурор расследовать дело, и хотя ничего из этого не вышло, но Дубяго оставил в покое Лидию Павловну.

В это время она писала на волю друзьям: «Чувствую себя неважно, общеуголовное положение дает себя чувствовать». И это писала Лидия Павловна, которая никогда не жаловалась и не заботилась о себе. Это доказывает, что в то время ей действительно жилось очень тяжко. Но даже в этих тяжелых условиях жизнерадостность все-таки не покидала ее. Она писала товарищам на волю, что надеется увидеться с ними «при новых, лучших условиях». Между тем здоровье ее в это время было уже сильно расстроено. Даже казенная медицинская комиссия установила, что Лидия Павловна страдает хроническим воспалением легких и ни к каким работам не способна.

Скоро ее отправили из Могилевской тюрьмы в Москву в Бутырки, «так как дальнейшее ее содержание в Могилевской тюрьме, в виду беспрестанно пред'являемых ею разных требований, а также ежедневных посещений ее родных и знакомых, привлекает к себе особое внимание и бдительность администрации и надзора тюрьмы и является крайне тягостным».

В статейном списке была сделана самим Дубяго такая приписка: «Склонна к побегу, дерзка, в незаконных требованиях назойлива и настойчива, служит подстрекательницей ко всем беспорядкам среди содержащихся».

Отсюда скоро она была отправлена на каторгу, сначала в Акатуй, а потом в Мальцевскую тюрьму.

В 1908 г. Лидия Павловна прошла в Мальцевской тюрьме через «богодульскую» (инвалидную) комиссию, которая сократила ей срок каторги до 3½ лет.

С каторги Лидия Павловна ушла в 1910 году на поселение в Верхнеудинск, Забайкальской области. Отсюда вскоре ее выслали в Петровский завод. Здесь она так же, как и в тюрьме, была центром, вокруг которого группировались не только ссыльные, но и местная интеллигенция. Она начинает изыскивать всякие возможности для материальной поддержки товарищей, принимает участие в устройстве побегов из ссылки. Конечно, власти не могли спокойно к этому относиться, и через некоторое время ее отправляют в Якутск. В марте 1912 года, идя из Акатуя на поселение в Якутск, я, Ася Щукина и Люба Орлова застали ее и Зину Бронштейн в Иркутской тюрьме, где все мы просидели несколько месяцев до открытия навигации на реке Лене. Лидия Павловна, несмотря на то, что была больным человеком, чувствовала себя очень бодро. Она много рассказывала о своей жизни на поселении, интересовалась всякой мелочью, подробно расспраши-

вала о каждом из оставшихся в Акатуе. В это время к Зине Бронштейн приезжала на свидание из Читы мать, которая много о всех нас заботилась. Она употребляла все усилия, чтобы устроить поездку в Якутск по проходному свидетельству не только своей дочери, но и Лидии Павловне, и это ей удалось.

Однако, иркутский губернатор, давая разрешение на проезд Зине и Лидии Павловне по проходному свидетельству, лишил их возможности ехать одновременно. Первой уехала Зина, а через 5—6 дней Лидия Павловна. А вслед за ними скоро отправили и нас этапным путем.

Медленно двигаясь на паузках по Лене, мы почти через месяц достигли места назначения—Якутска.

На другой день по прибытии партии Лидия Павловна пришла к нам на свидание в полицейский участок с огромным букетом каких-то ярко-красных цветов.

Эти цветы, как революционный символ, долго потом не мог забыть ей полицмейстер Якутска.

По выходе на волю Ася, Люба и я поселились у Лидии Павловны.

Наша совместная жизнь очень беспокоила якутского полицмейстера. Он часто приходил к нам и угрожал выслать Лидию Павловну за устройство «коммуны» и при этом непременно добавлял, что он помнит ярко-красные цветы, с которыми она нас встречала.

Ася скоро уехала в деревню, чтобы не дать местным властям хорошо присмотреться к ее внешности (она собиралась бежать).

Первое лето в Якутске мне особенно памятно по тем настроениям, которые всех нас охватили.

Жили мы в большой квартире, оставленной одним административно-ссыльным товарищем, уехавшим на все лето в какую-то экспедицию на север.

У Лидии Павловны к нашему приезду было уже несколько уроков. У меня тоже скоро нашлись уроки. Люба начала заниматься массажем. Кроме того, нам двум приходилось еще заниматься хозяйством. Хозяйничали мы плохо, но Лидия Павловна очень снисходительно относилась ко всем нашим неудачам.

В нашей квартире бывало много новых товарищей. Благодаря живому уму Лидии Павловны, ее интересу ко всем и ко всему, большой чуткости к людям,—многих тянуло к ней. И, действительно, Лидия Павловна многим сумела скрасить серую жизнь якутской ссылки.

Летом в Якутске бывают белые ночи, и мы, собираясь большой компанией, уходили за город в лес, где жгли костры и встречали восход солнца. Возвращаясь домой, мы обыкновенно за-

ставали Лидию Павловну сидящей на крылечке и поджидающей нас с прогулки с кем-нибудь из товарищей или с нашей милой старушкой, «Татеновной» (Письменова), которая приехала в Якутск на год раньше нас. Ставился самовар, начинались рассказы, кто как провел время.

Лето в Якутске очень короткое, и только мы дали волю своим настроениям, как оно уже закончилось. Нужно было начать заботиться о зимней квартире. Люба Орлова перешла в отдельную комнату, я и Лидия Павловна поселились вместе. Из этой квартиры мы проводили Асю, приехавшую к нам из деревни за два-три дня до побега. Этот побег был организован Верой Григорьевной и Павлом Яковлевичем Манн [1].

Среди всех трудностей, которые им пришлись преодолеть для устройства побега, особенно угрожающей была Асина неконспиративность. Едущая под видом жены богатого золотопромышленника, она часто не хотела об этом помнить и вступала в общение с ссыльными, встречающимися по дороге.

Побег удался только благодаря чрезвычайной выдержке Веры Григорьевны и Павла Яковлевича Манн.

Ася уехала из Якутска с последним пароходом, а мы стали устраиваться на зимнюю квартиру.

Зимой Лидия Павловна, кроме платных уроков с детьми местного населения, много времени уделяла занятиям иностранными языками с товарищами. Освобождалась от уроков она поздно вечером, и тогда у нее собиралось много товарищей. Такого наплыва, как было летом, в это время уже не было, но все же посетителей было довольно много. Особенно часто бывал Николай Егорович Афанасьев, ученик Короленко. У него было плохое зрение, и Лидия Павловна читала ему вслух. Потом приехал П. А. Куликовский, старый товарищ Лидии Павловны по Акатую, Аркадий Сперанский, который возвращался из ссылки из Средне-Колымска.

Оба они увлекались вопросами искусства, и это увлечение было близко и Лидии Павловне. Пользуясь большим запасом, главным образом, драматических произведений русских и иностран-

---

[1] Павел Яковлевич и его жена Вера Григорьевна Манн оказывали большие услуги политической ссылке в Якутской области. Они содействовали устройству ссыльных на работу, оказывали денежную помощь, передавали нелегальную переписку в Россию. Им удалось устроить несколько побегов из ссылки благодаря тому, что оба они работали в фирме Громова в Москве и по делам этой фирмы ежегодно приезжали в Якутск, откуда на обратном пути увозили на пароходе с собой бежавших. Оба они состояли в Москве в политическом Красном Кресте.

ных авторов, которыми располагал П. А. Куликовский, Лидия Павловна ввела в свои музыкальные вечера чтение вслух различных пьес, которые с большим мастерством выполнялись П. А. Куликовским. Спорами о значении и назначении искусства вообще и театра в частности обычно заканчивались эти вечера, продолжавшиеся далеко за полночь. Характерно, что и в этом выявилась основная черта Лидии Павловны—проявлять интерес к самым различным вопросам.

Получая удовольствие от этих литературно-музыкальных вечеров, она не могла пользоваться ими только для себя, а сейчас же решила сделать это достоянием многих.

По ее инициативе был образован литературно-музыкальный кружок, который должен был отвлечь товарищей от серой, монотонной жизни ссылки в сторону живого интереса к литературно-художественным вопросам.

Кружок этот готовил постановку пьесы Жуковской «Дети». Лидия Павловна впервые, кажется, за свою жизнь приняла живое участие в режиссерской работе и иллюстрировании эпизодов пьесы музыкальными произведениями. Опыт этот ей удался, и еще долго после отъезда из ссылки А. Ф. Сперанский вел с Лидией Павловной большую, интересную переписку о театре.

Лидия Павловна вообще была большой любительницей музыки. Своей игрой на рояли она доставляла всем нам огромное удовольствие. Среди нашей публики были и любители пения, но, к сожалению, все безголосые. Однако и им Лидия Павловна никогда не отказывалась аккомпанировать, так как знала, что это доставляет им большое удовольствие.

В 1913 году Лидию Павловну постигло большое горе. Умер ее единственный сын Гриня, свидания с которым она ждала с большим нетерпением в наступающее лето.

Грине в то время было уже около двадцати лет. Еще когда Лидия Павловна была на каторге, Гриня стрелялся. Пуля пробила череп, что сильно отразилось на его психике. Письма от него к Лидии Павловне отличались большими странностями. В одном он описывал свои увлечения музыкой, мечтая сделаться знаменитым композитором, в другом присылал какие-то бессвязные стихи или пьесы, в третьем сообщал, что он изобрел четвертое измерение, и так далее. Лидия Павловна ко всему этому относилась по-матерински, не сознавая той пропасти, перед которой стоит ее сын.

Врачи нашли, что ему необходима операция, иначе он потеряет рассудок. Но операции он не вынес и умер.

Лидия Павловна очень тяжело переживала это горе, но это видели только самые близкие ей люди.

С этого времени здоровье Лидии Павловны быстро пошло на ухудшение. Она стала редко выходить на улицу, чувствуя большую слабость.

Занятия уроками, которыми она добывала средства к жизни, ее стали утомлять, и она решила вместо них взяться играть на пианино в кино. Я всячески старалась отговорить ее, но Лидия Павловна хотела попробовать. И эта работа оказалась гибельной для нее. У нее участились припадки удушья, из кино она возвращалась совершенно обессиленной. Однажды она настолько утомилась, что едва добралась домой и сразу же легла в постель. На мое предложение послать за врачом, она категорически отказалась. На следующий день приходили навестить ее товарищи. Она спокойно беседовала с ними, но скоро устала и согласилась пригласить врача. Врач, хорошо знавший ее болезнь, отнесся очень спокойно, объясняя все переутомлением. Вечером опять пришли товарищи, чтобы остаться на ночь, но Лидия Павловна запротестовала и только согласилась оставить Раю Таборисскую. Я пыталась не ложиться спать, но Лидия Павловна настойчиво упрашивала лечь. Чтобы не волновать ее, пришлось уступить.

Ночью, прислушиваясь к ее хриплому дыханию, я не решалась подойти близко, так как спала она всегда очень чутко.

На рассвете я тихо подошла к кровати и увидела совершенно неузнаваемое лицо, все в синих пятнах. Быстро разбудив Раю, я поспешила за врачом. Но медицинская помощь оказалась уже ненужной. Впрыскивание камфары не помогло. Лидии Павловны не стало...

Умерла она от бронхиальной астмы 1 октября 1915 года.

Правда, ее болезнь давно уже внушала всем нам опасения, но ее смерть явилась все же для нас внезапной. Нам странно было поверить этому, мириться с мыслью, что ушел из жизни человек с таким горячим сердцем, который накануне еще был полон жизни.

Ф. Н. Радзиловская

АВГУСТА НЕЙМАН

(1881—1911).

К сожалению, мои заметки не являются биографией Августы Нейман, так как у меня нет полных сведений о ее жизни. Я смогу поделиться только отдельными отрывочными воспоминаниями о ней из того периода, в который я знала ее, дополнив их ее рассказами, которые сохранились у меня в памяти. Очень хотелось бы, чтобы товарищи, знавшие ее в период подпольной работы в 1904 и 1905 годах в Питере, дополнили мои воспоминания.



Августа Карловна Нейман

Первый раз я встретилась с Августой в середине сентября 1905 года. Высшие учебные заведения, перед тем бастовавшие, были открыты — но не для занятий, а для митингов. Среди студенчества было большое оживление и возбуждение. На квартире у одной из курсисток - лесгафтичек было небольшое эсдековское собрание, на котором была и Августа; но я ее вначале не заметила. Только когда почти все разошлись и несколько оставшихся стали одеваться и прощаться, я обратила на нее внимание: небольшого роста, землистый, болезненный цвет лица, большой рот, русые волосы, очень густые и длинные, старательно стянутые на голове, чтобы казались меньше. Лицо некрасивое,—

выделяются только большие серые глаза, прекрасные, лучистые, какие-то очень значительные, под густыми ресницами. Она с кем-то разговаривала и вдруг улыбнулась. Меня поразила мягкая озаренная улыбка и нежность, с которой она погладила говорившую с ней по руке. В минуты большой нежности к человеку ее любимым жестом было погладить по руке. Выходило это у нее как-то очень застенчиво.

Мы с ней вместе вышли, разговорились, и она меня затащила к себе. Так как она жила в районе курсов, а я очень далеко, она меня уговорила остаться у нее ночевать. Но нам не удалось спокойно провести ночь: часа в два ночи раздался стук в дверь, пришли с обыском. Это был большой провал в с.-д. организации, когда провокатор Доброскоков, «Николай Золотые-Очки», провалил много народу в Питере. Что делала тогда Августа в организации — не помню. Помню, что Августу обыскивала какая-то женщина, обыскивала очень грубо, и Августа, показавшаяся мне необычайно мягкой и робкой, чуть не полезла в драку с этой женщиной, протестуя против ее грубости.

У меня дома была кое-какая литература, и, так как я не назвала себя сразу, меня тоже арестовали, хотя и не было приказа о моем аресте.

Нас тотчас же увезли в Дом предварительного заключения и посадили в общую камеру, которая была в эту ночь до крайности переполнена благодаря провокации «Николая Золотые-Очки». Так началось наше знакомство с Августой.

В тюрьме держали нас недолго—всего две недели. Для меня Августа была почти незнакомым человеком, и меня поразила в ней странная смена настроений: то на нее нападала жажда деятельности, и она одного обучала немецкому языку, с другим читала Гете, или вдруг занимательными рассказами привлекала к себе внимание всей камеры, то внезапно садилась на кровать и совершенно безучастным взглядом глядела в одну точку. Лицо у нее в такие минуты становилось деревянным, очень некрасивым и совсем опустошенным. Когда кто-нибудь подходил к ней, она вздрагивала, не могла понять в чем дело, и долго еще безжизненность не сходила с ее лица. Эту сменяемость настроений,—даже не настроений, а как-будто всего существа, словно перед вами два разных человека,—узнала я хорошо впоследствии, и она всегда меня поражала.

Думаю, что повлияло на Августу ее тяжелое детство, тяжелая жизнь, о которой она не любила рассказывать. Уже много времени спустя после нашего знакомства, я узнала кое-что о ее

жизни; рассказывала она мне урывками, случайно, страшно скупо и застенчиво.

Она была немка, прусская подданная. Отец ее жил в пограничной деревушке—если не ошибаюсь Гросчемохен—и имел какое-то отношение к контрабандистам. В раннем детстве она помнит себя с отцом, который ее очень любил, но сам был опустившимся человеком, пьянствовал и постоянно водил ее с собой по кабакам. В такой тяжелой обстановке протекали ее первые детские годы.

Потом отец так спился, что сам отослал ребенка к какой-то тетке в Псков. Здесь у тетки была большая нужда, и долго раздумывали над тем, какому ремеслу обучить ребенка. Какой-то случай помог, и Августу отдали учиться в гимназию. Но, учась в гимназии, она всегда нуждалась, ходила в дырявых башмаках и очень рано начала зарабатывать уроками.

Очевидно, с раннего детства Августа была всегда болезненной, малокровной. К этому присоединилась болезнь почек (нефрит), которая требовала определенного лечения и диэты, но Августа была из тех людей, которые меньше всего обращали внимание на свое здоровье, на свое благополучие.

Кончив гимназию, Августа получила урок в какой-то семье в глуши, в Псковской губернии. Здесь без людей, в лесу она провела несколько лет своей юности, тоскуя об ученье, о большом городе. Но Августа не умела жить среди людей—и не отдавать себя всю. Она так много внесла своего в эту семью, что уже много лет спустя, на каторге, она получала письма от взрослых детей, которые не могли забыть ее.

Кажется, та же семья помогла ей выбраться в Питер и иногда помогала ей деньгами.

В Питере Августа поступила на курсы Лесгафта. Жила она, страшно нуждаясь и голодая. Помню, Августа всю зиму ходила в какой-то потертой драповой жакетке без зимнего пальто и в старой серой фетровой шляпе, но ее это совсем не беспокоило. Вообще она страшно не любила никаких вещей и считала совершенно искренно, что человеку надо иметь не больше двух смен белья: одну на себе, другую в стирке. Поэтому-то, если у нее что-нибудь заводилось, она сейчас же находила, кому отдать вещи.

Когда через две недели мы выходили из Предварилки, Августа оставила в тюрьме все свои вещи. Ей казалось странным взять их с собой, между тем, для Августы, которая жила очень плохо материально, было крайне трудно что-нибудь приобрести.

Наше знакомство, так неудачно начавшееся, продолжалось много лет. Я знала Августу в разные периоды ее жизни, но особенно ярко я вспоминаю ее в момент выхода из тюрьмы. Мы почти выбежали из ворот Предварилки и помчались по Шпалерной и Литейной. Августа, большей частью в жизни робкая и незаметная, жестикулировала, подходила к незнакомым людям на улице, о чем-то их расспрашивала. Ощущение свободы опьянило ее.

После двухнедельного перерыва мы почти не узнали Питера. Повсюду шли митинги, повсюду чувствовался крайний под'ем и оживление; назревали октябрьские события 1905 года. Мы с Августой сразу окунулись в эту атмосферу.

В революционной работе я близко знала Августу по военной организации РСДРП, в которой мы вместе начали работать в начале декабря 1905 г. Она была пропагандисткой, вела кружки с солдатами. Кружки эти состояли из солдат, главным образом, саперного батальона, где у нас была довольно крепкая и значительная организация. У Августы было несколько постоянных кружков, с которыми она вела систематическую работу. Иногда ей приходилось ходить в казарму для завязывания новых связей, для обработки новых солдат, не участвовавших в наших кружках. Особенно удавалась ей систематическая работа в кружках; она была прекрасным педагогом-пропагандистом, и солдаты, с которыми она занималась, заметно росли на наших глазах.

С солдатами складывались у нее очень тесные личные отношения, и та верхушка солдат, которая была в наших кружках, становилась нашими хорошими знакомыми. Августа не была массовым работником,—ей надо было индивидуально подойти к каждому человеку; она не могла бы учить кого-нибудь, не подойдя близко к тому, кого учила.

Нам был предоставлен целый ряд квартир, где мы собирали солдат и занимались с ними, но—не знаю, как это случилось—солдаты поодиночке или по нескольку человек стали ходить к нам в гости на квартиру (мы тогда с Августой поселились вместе). И тут разговор в большинстве случаев шел на общественные темы, но солдаты становились уже нашими хорошими знакомыми. Тон этому задавала Августа. Я ей часто говорила, что это неконспиративно, что, приходя к нам в форменных шинелях, они могут провалить нас, но Августа всегда смеялась и уверяла, что никаких шпиков на свете не существует и что ничего не случится.

Как-то понемногу наш адрес стал известен более широкому кругу солдат, и однажды, помню, к нам привели двух семеновцев, усмирявших декабрьское восстание в Москве. Августа вдруг за-

жглась и с таким жаром и под'емом стала с ними говорить, что они почувствовали доверие и интерес и через несколько дней привели к нам еще семеновцев. Составился кружок, с которым я работала, но у всех участников этого кружка установились личные очень хорошие отношения с Августой.

Характерно, что наш адрес знали многие солдаты, но, как потом оказалось, когда военная организация была прослежена и мы провалились, ни один из солдат не выдал нас.

Вспоминается мне, как в тот период у Августы было очень сильное противоинтеллигентское настроение и стремление глубже вникнуть в среду, в которой она работала, подойти к ней поближе. Многие товарищи-интеллигенты боялись к нам приходить, так остро было у Августы нежелание с ними встречаться. Не знаю, чем это об'яснить, может быть, своего рода цельностью человека. Она умела вся отдаваться одному; в тот период больше всего на свете интересовала ее работа с солдатами, и она целиком ей отдалась.

Августа уже тогда была очень больна, болезнь почек ее подтачивала, но она никогда не думала о себе. Заработок у нас был небольшой, у нас была работа в редакции «Волны», при чем мы работали с ней по очереди: один день она, другой день—я. В редакции долго не соглашались на это, но Августа настояла. Вместо того, чтобы как-то более равномерно распределить деньги на жизнь, всегда выходило так, что в первые дни деньги куда-то уходили, а потом начиналась голодовка. Это особенно сильно отражалось на Августе, иногда появлялись у нее отеки, но ей и в голову не приходило, что надо регулировать свой заработок.

25 мая 1906 г. вся петербургская военная организация РСДРП была арестована. Меня арестовали днем на Николаевском вокзале, когда я ехала на митинг в Колпино, а Августу—той же ночью на квартире. Августу увезли в Предварилку, я сидела в Литовском замке, и только через месяц меня перевели в Предварилку. Августа за это время успела познакомиться со всеми сидящими и приобрести к себе очень хорошее отношение.

Это было в период свобод в тюрьме, камеры были открыты, и в тюрьме сорганизовались две хозяйственные коммуны—эсдековская и эсеровская. Помню, Августа волновалась, возмущалась и стыдила всех, что в «с'едобном» вопросе с.-д. и с.-р. не могут ужиться. Я видела, что ее мнение ценят, что к ней прислушиваются. Очень быстро эти коммуны распались, камеры были закрыты, коммунальное хозяйство оставалось только в общих камерах; одиночки стали жить индивидуальным хозяйством. У Августы никого не было, к ней никто не ходил на свидание, о ней

никто никогда не заботился с воли, не делал передач. Но всегда в дни передач к Августе из многих одиночек тянулись по так называемым «телефонам» еда и лакомства.

В тюрьме Августа очень много занималась, особенно историей, при чем она всегда меня уверяла, что, чем она меньше ест, тем бодрее у нее дух и яснее мысли.

В Предварилке еще так живы были воспоминания о воле, о работе среди солдат, что, когда однажды Августа увидела во дворе за забором солдат, она решила, что их надо начать агитировать. Мы сидели с Августой в соседних одиночках, на самом верху, и хотя забор, отделявший наши клетки для прогулок от остального двора, был очень высок, нам все-таки была видна часть двора, где стоял караул солдат. По очереди мы писали с ней прокламации и обращения к солдатам, четко их переписывали и, когда выходили на прогулку, перебрасывали их через забор, привязав записку к камню. Августа долго жила этим общением с солдатами; однако, увидало ли начальство нашу переписку, по другой ли причине,—но однажды мы проснулись от страшного стука—к нашему забору стали пристраивать верх. Через несколько дней забор стал таким высоким, что ни о каком общении со двором не могло быть и речи.

До суда пришлось отсидеть 16 месяцев, дело переходило из окружного суда в военный и обратно, и, наконец, в сентябре 1907 года дело началось слушанием в военно-окружном суде. До суда жизнь текла однообразно и скучно. Августа то усиленно занималась, то вдруг уединялась в своей одиночке, замыкаясь от всех, и даже не выходила на прогулку. И вдруг ворвалось разнообразие—нас стали возить знакомиться с делом, кажется на Мойку в охранное отделение. Ездили мы в так называемых «собачниках»—длинных фургонах с маленьким решетчатым окошечком сзади, через которое видны были улицы, движение, город. В каждую поездку Августа опьянялась призраком воли, строила различные планы побега, но для него не было ни сил, ни возможности, ни организации. На Мойке мы встречались с сопроцессниками-мужчинами, сидевшими тогда в «Крестах», иногда вместе возвращались в «собачнике», и каждый раз Августа «размякала», нежно и заботливо замечала поблекшие, одутловатые от долгого сидения лица товарищей.

Суд длился 15 дней. Каждый день нас выводили из женского отделения, мужчин—из мужского (их перед судом перевели из «Крестов» в Предварилку). Мы с ними встречались в коридоре Предварилки и под конвоем солдат какими-то черными ходами шли в здание окружного суда. Всего нас судилось 51 человек; к

нам присоединили вторую группу товарищей по военной организации РСДРП, арестованную на несколько месяцев позже нас, и связали нашу работу в военной организации с восстанием в Кронштадте летом 1906 года.

Августа относилась к суду внешне очень безучастно. Почему-то вспоминается мне, как во время перерыва, когда к нам подходили защитники, на нас глядели свидетели и родные, допускавшиеся на суд, Августа ложилась на скамейку, запрокинув за голову руки, и так лежала, ни на кого не обращая внимания. Когда она уходила в себя, ей было все безразлично,—она никого и ничего не замечала. Приговор суда (ей дали четыре года каторги) тоже встретила равнодушно и безразлично. И только в пересыльной тюрьме, куда нас, четырех осужденных по нашему делу женщин, вскоре перевели после суда и поместили в одну камеру, Августа как-будто очнулась, оглянулась вокруг, увидела около себя близких людей и стала реагировать на жизнь.

У Августы всегда была потребность отдать кому-нибудь свою заботу и ласку. Долгий период в одиночке накопил в Августе большой заряд неиспользованной ласки и заботливости, и ей необходимо было излить его на кого-нибудь из нас. То она начинала беспокоиться обо мне, о моем здоровье, хотя я чувствовала себя прекрасно. Бывало, иногда я просыпаюсь ночью,—Августа стоит около моей постели и укутывает мне ноги, чтобы я не простудилась. Однажды ночью она вдруг стала будить меня: ей почему-то показалось, что не слышно моего дыхания и что я умерла. То вдруг все ее внимание обращается на Маню Горелову, она в ней открывает какие-то таланты, раздобывает для нее карандаши для рисования, умоляет ее писать стихи, уверяет, что нельзя зарывать таланты в землю. Общая забота о нашем хозяйстве тоже лежала на Августе. Забота о всех нас давала ей большое удовлетворение. Вскоре всех политических каторжанок, приблизительно около десяти человек, соединили в одну общую большую камеру, с большой решетчатой дверью, через которую иногда на нас глядели приезжавшие дамы-благотворительницы, как на зверей в клетке.

Этот период в общей камере в течение трех-четырех месяцев вспоминается, как очень шумный и оживленный. Мы были избалованы в Предварилке довольно свободным режимом, и нам трудно было сразу перейти к целому ряду правил и ограничений пересыльной тюрьмы. В пересыльной тюрьме старались ввести абсолютную тишину, а у нас в камере крупными буквами был вырезан на столе девиз: «Пока пение раздается среди мучений, сатана не может победить».

Полоса конфликтов с администрацией началась на следующий же день по приезде в пересылку. Из нашего окна был виден двор, на котором гуляли мужчины-каторжане. Когда мы увидали группу арестантов, которые ходили по кругу, звеня кандалами, в одинаковых серых бушлатах и шапках из серого сукна, мы сначала приняли их за уголовных. Потом, среди этих лиц, вначале показавшихся нам необычайно похожими одно на другое, мы узнали знакомые лица наших сопроцессников. Они нас тоже не сразу узнали в наших арестантских холщевых платьях в синюю полоску и тоже приняли сперва за уголовных. Каково же было негодование и изумление часового и надзирателей, стоявших на вышке посреди круга, когда вдруг между нами начались приветствия и переговоры. Мужчин тотчас же увели со двора, к нам влетело испуганное начальство, и мы тот же день были наказаны,—лишены передач и свиданий.

Но это не испортило нам настроения. В камере царило постоянное оживление. Августин голос, необычайно ясный, чистый и мелодичный, который многие сравнивали с колокольчиком, почему-то постоянно отмечался надзирательницами. Однажды у Августы вышел настоящий конфликт. Одна из надзирательниц, прозванная нами «каракатицей», накричала на нас. Августа выслушала ее и сказала очень спокойно, обращаясь к нам:

— Не стоит с ней разговаривать: с ней разговаривать все равно что с дубиной,—и постучала пальцем по столу.

Разговор тотчас же был передан начальнице. Августу наказали, и, когда ее повезли в этап, в ее бумагах было написано, что она дерзкая и бунтарка.

Больше всего столкновений было у нас из-за форточки. Дело в том, что форточка была для нас единственной лазейкой для сношения с волей. Нашим товарищам и родным на воле удалось завязать сношения с одним из часовых, который через вечер дежурил под нашим окном. Через часового мы получали письма, газеты, сведения с воли. Так как через решетку двери видно было все, что делалось в нашей камере, а напротив нас в коридоре сидела надзирательница и постоянно за нами наблюдала, то необходимо было улучить момент, когда она отвернется или уйдет куда-нибудь, чтобы спустить через форточку вниз веревку и незаметно принять привязанный пакет, иногда довольно значительных размеров. Мы ни разу не были пойманы с поличным, но, очевидно, какие-то подозрения возникли у нашего начальства, и у нас стали запирать форточку на замок. Мы решили отстаивать нашу форточку, нам казалось крайне трудным отказаться от связи с волей. И вот каждый вечер мы становились тесной куч-

кой, накидывали на всех сверху большой платок; чья-нибудь рука высовывалась внезапно из-под платка, какой-нибудь предмет, в роде бутылки или камня, летел в форточку, и стекло со звоном разбивалось. Каждый день вставлялось новое стекло, и каждый вечер повторялась снова процедура разбивания.

Мы беспрерывно сидели без свиданий, без передач и выписки. Казенную еду нельзя было есть, в ней часто плавали черви, и потому приходилось почти голодать.

Августа принимала самое активное участие во всех столкновениях, очень была оживлена и даже воодушевлена, но вдруг заболела и слегла. Какое-то острое желудочное заболевание истощило ее до крайности. Августа хворала долго, почти до самого этапа.

Она ушла в феврале 1908 года в Сибирь, в Мальцевскую каторжную тюрьму; я еще оставалась в пересылке и встретилась с ней только через два месяца в Мальцевке.

Мальцевка вначале очень тяжело подействовала на Августу. Впереди нечего было ожидать, предстояло несколько лет тюрьмы, абсолютная оторванность от воли, от жизни, от борьбы. Последнее особенно сильно угнетало Августу.

Помню, почти в самом начале по моем приезде, мы сидели рядом с Августой и вдвоем читали какую-то книжку. Августа слушала рассеянно, взгляд у нее был куда-то ушедший, в себя. Вдруг она взяла у меня из рук карандаш, которым я делала пометки на книге, и написала одну коротенькую фразу: «Мне кажется, что крышка гроба опустилась над нами». Августа была слишком застенчива и не любила говорить о своем затаенном, но ею тогда овладевало безнадежное настроение, которое порою она не могла скрыть.

— Скажите мне что-нибудь такое хорошее, чтобы меня с головы до ног встряхнуло,—говорила она иногда.

Она была слишком цельной натурой и, несмотря на большую углубленность в себя, очень действенной,—ей надо было чему-нибудь отдаться целиком. Во все время нашего знакомства так и было: на воле работа с солдатами (Предварилка в счет не шла, так как была переходным периодом и была крепкая надежда на волю), в пересылке—тюремная борьба. И только в Мальцевской, казалось, нечему было себя отдать, не было никакого дела.

И вот это очень тяжелое настроение и метание вылилось в огромной привязанности, беззаветной и цельной, к одной из сокамерниц. По натуре Августа была бунтаркой, очень свободным человеком, с трудом подчиняющим себя дисциплине; но если она отдавала кому-нибудь свою свободу добровольно, то отдавала

до конца. Августа всего была на несколько лет старше своей приятельницы, но, видя ее в постоянной заботе об удобствах и уюте своего друга, незаметно подсовывавшую ей лучшие куски из скудного питания, можно было подумать, что это—мать заботится о своем ребенке.

Особенно памятна мне Августа в вольной команде. Печка, от которой во все стороны идет дым и копоть, вынесена на улицу. Августа стряпает, варит, носит воду, моет полы; целый день без устали работает. Эта физическая работа, которой она себя отдала для близкого человека, отнимала у нее все время и энергию. Ходила Августа всегда в старом рваном бушлате и каком-то стареньком платье, не следила за собой; почти не слышно было ее смеха. Ела она очень мало: отщипнет от чего-нибудь кусочек и не может больше. Иногда, бывало, поражаешься, откуда у нее силы брались для физической работы.

В феврале 1911 года я уехала на поселение; за несовершеннолетие мне и Риве Аскинази по каким-то законам был уменьшен срок на полтора месяца; Августе предстояло пробыть это время еще в вольной команде. Последнее, что вспоминается при от'езде, это раннее утро, горы совсем розовые, какая-то бодрость в душе, мысли, что впереди почти воля,—и вдруг взгляд падает на Августу. Она стоит, прислонившись к двери домика, на ней неизменный рваненький бушлат, лицо болезненное и усталое, и глаза такие бесконечно опустошенные и печальные, как-будто все позади, и не ждет ее в ближайшем будущем поселение, а за ним, может быть, и настоящая воля.

Встретились мы с ней на поселении через полтора месяца в с. Творогове, Кабанской волости. Я глядела на Августу и не узнавала ее. Она вся была помолодевшая, оживленная, на ней было аккуратное простенькое платье, плюшевая жакетка. Глаза глядели совсем по другому, в них был большой прежний интерес к жизни, и попрежнему они были лучистые и ясные. Снова зазвенел ее голос, такой мягкий, мелодичный и необычайно чистый.

К Августе потянулись товарищи; шел к ней всякий со своим, и Августе, в порыве своего оживления и мягкости, хотелось каждому дать что-нибудь. Помню, один товарищ приезжал к ней за 40 верст с какими-то нарывами. Он говорил, что никто так не умеет перевязать рану, как она. Другой приходил к ней исповедываться, и ей не было это тяжело, так как ей в ее возбуждении были приятны и близки тогда люди, и в каждом она находила что-то хорошее. Мы с Ривой Аскинази переехали в с. Большеречинское, Посольской волости, за 55 верст от Творогова, но это не мешало нам часто ездить друг к другу и встречаться.

Жила Августа на поселении всего четыре с половиной месяца. Еще не успели созреть у нее планы, и неизвестно, как вылилось бы ее возбуждение и под'ем, если бы вдруг так неожиданно и нелепо, в период большого внутреннего расцвета, она не заболела и не умерла.

Воспоминания мои были бы неполными, если бы я не коснулась личной стороны ее жизни. У нее никогда ее не было. Жизнь в глуши в юном возрасте без встреч, занятость подпольной работой в Питере, а потом каторга—не создавали для этого подходящих условий.

И вдруг, за три недели до смерти, Августа встретилась на поселении с одним товарищем. Почти ничего не было сказано между ними, но Августа с трепетом прислушивалась к тому, что назревало. В отношениях с людьми и в детстве и позднее Августа не была избалована лаской. Она всегда привыкла давать, а не брать, и ей казалось странным, что к ней назревает большое и сильное чувство.

Заболела Августа дизентерией в конце августа 1911 года. Вначале мы не придавали большого значения ее болезни. Никому в голову не приходило, что болезнь приведет к смерти. Но Августа была очень истощена, и ее организм не смог бороться. Очень скоро она так ослабела, что не могла без посторонней помощи даже садиться на постель. За все время болезни нам не удалось добиться врача. Раза два из Кабанска приезжал какой-то фельдшер, но чувствовалось, что он понимает еще меньше нашего. Возможно, заболей Августа в другом месте—ее удалось бы спасти. Странные галлюцинации посещали ее во время болезни: ей все время казалось, что она раздваивается, растраивается, что ей надо жить слишком интенсивной жизнью за нескольких человек, что сердце ее не может этого вынести...

Как-то после одной из таких галлюцинаций она сказала мне:

— Я много раз серьезно болела, но у меня всегда было ощущение жизни, а сейчас его нет. Я знаю, я умру, а жить хочется.

Умерла она 1 сентября 1911 года. Похоронили Августу на краю села Творогова, на кладбище, на возвышении. С ее могилы видно, как плещется Селенга.

Товарищам хотелось возможно больше внимания и заботливости отдать Августе, хотя бы и мертвой. Хотелось, чтобы ни одна чужая рука не коснулась ее. Своими руками был сделан гроб, своими руками была вырыта могила, своими же товарищами была выкована железная решетка—ограда. Несколько товарищей отложили свой побег с поселения, пока решетка не была окончена и не была поставлена вокруг ее могилы. Около могилы, опять-таки

руками товарищей, было посажено несколько кедров, которые она так любила при жизни.

Умерла Августа—первая из всех мальцевитянок, умерла в расцвете жизненных сил. Как бы он вылился, сказать трудно. Думается мне, что, если бы Августа дожила до революции,—она была бы в рядах активных революционеров. Она была цельной и прямолинейной и во всех своих действиях и влечениях доходила до конца.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОГИБШИХ

Шумилова, Александра Матвеевна, родилась в 1889 году в ст. Звериноголовской, Оренбургского уезда, казачка, образование низшее. В революционном движении с 1905 года по 1908 г. в Звериноголовской, Миасе и г. Кургане. 14 февраля 1908 г. осуждена военно-окружным судом по делу о «лесных братьях» на 15 лет каторги. Каторгу отбывала в Мальцевской и Акатуйской. Подавала прошение «на высочайшее» о помиловании. Освобождена революцией 1917 г. Умерла в 1922 г. от туберкулеза.

Ройтблат-Каплан, Фейга Хаимовна [1], родилась в 1888 г., еврейка, по профессии белошвейка, образование домашнее. Арестована в Киеве как анархистка-коммунистка при взрыве бомб, которые она перевозила. Приговорена в Киеве военно-полевым судом 30 декабря 1906 года к бессрочной каторге. Каторгу отбывала в Мальцевской и Акатуйской тюрьмах. В тюрьме лишилась зрения. Позднее под действием электризации зрение частично возвратилось. По царскому манифесту 1913 года срок каторги сокращен до 20 лет. Освобождена Февральской революцией 1917 года. Расстреляна в сентябре 1918 года за покушение на В. И. Ленина.

Марголина-Левинсон, Рахиль Мордуховна. В революционном движении с 1904 года, принадлежала к РСДРП—Бунд. В 1909 г. за принадлежность к партии Харьковской судебной палатой была приговорена к вечному поселению. За побег с поселения Иркутским окружным судом приговорена к трем годам каторги. Каторгу отбыла в Акатуе. Умерла 32 лет, в апреле 1921 г., в Харькове от туберкулеза легких.

---

[1] По статейному списку Нерчинской каторги, а из письма ее отца видно, что его звали Файвель.

П и с ь м е н о в а, Татьяна Семеновна. К партии не принадлежала, была хозяйкой конспиративной квартиры. В 1907 г. была осуждена на 4 года каторги. Умерла 50 лет.



Вера Васильевна Штольтерфот

Ш т о л ь т е р ф о т, Вера Васильевна. В революционном движении с 1905 года. Принадлежала к партии с.-р. В сентябре 1906 г. была приговорена Петербургской судебной палатой за динамитную лабораторию к 15 годам каторги. Амнистирована в 1917 году. В 1919 году уехала в Германию для участия в спартаковском движении, где и погибла (утонула) в том же году.

П у с т о в о й т, Епистиния Михайловна. В революционном движении с 1907 года. Была хозяйкой конспиративной квартиры. При аресте оказала вооруженное сопротивление. Осуждена на 4 года каторги. Дата смерти не установлена.



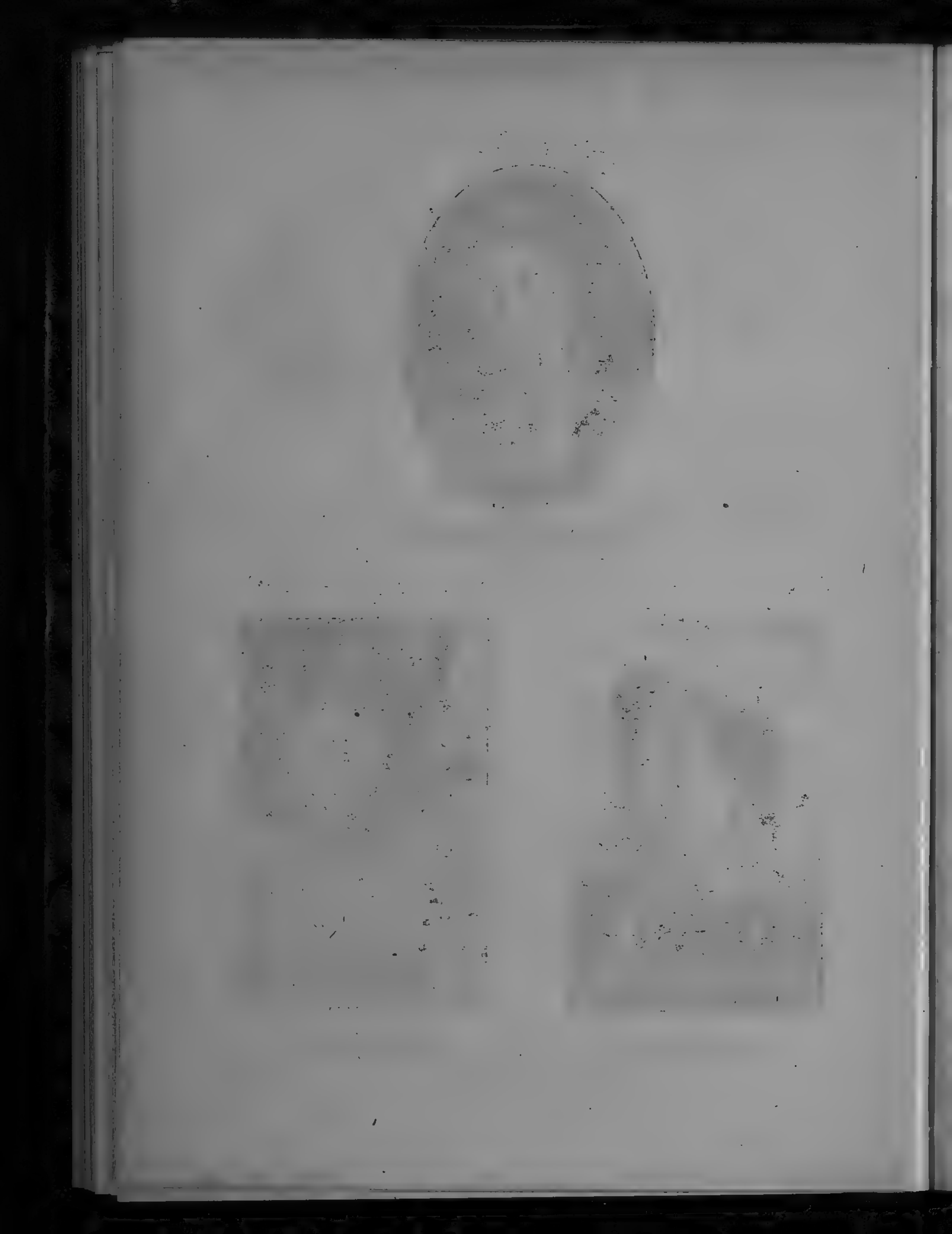
Рахиль Марковна Марголина-Левинсон



Александра Матвеевна Шумилова



Татьяна Семеновна Письменова



ПРИЛОЖЕНИЯ

В. Н. Фигнер

ПИСЬМА КАТОРЖАНОК[1]

ИЗ МАЛЬЦЕВСКОЙ ТЮРЬМЫ

27 августа 1909 г.

Представляю почему-то, что вы сейчас на пути в Питер. Сидите где-нибудь в вагоне, мимо вас быстро проносятся унылые осенние картины, и за окнами вагона идет дождь. Так мне кажется. О чем вы думаете сейчас,—не знаю. Мне бы хотелось, чтоб вам передалось хоть на миг мое теперешнее ощущение, какое-то невыносимое желание питерских улиц, туманного осеннего питерского дня. Хочется бродить без цели по улицам, но только чтобы был обязательно вечер, горели фонари, на душе как-то смутно хорошо. Нет определенных забот, дум, неотложных вопросов, хочется итти куда-то долго. И вот сейчас так захотелось, так захотелось, не поверите, не поймете, Б***, как сильно. У меня почти каждое время года связывается с Питером.

Конец весны—май, период белых ночей—связан с Невой; иначе представить себе не могу. Летом почему-то все хотелось на Литейный пр., ближе к Литейному мосту. Я там много жила и очень люблю это место. Там необычайно хорошо. Зима связывается с Невским проспектом. Рисуется ясный день, всюду снег, как-то бодро и радостно на душе. Есть определенная работа, определенные занятия. Быстро мчусь по Невскому и знаю, куда иду, что нужно делать. Вообще так ясно.

Не ищите ни смысла, ни логики в этих моих представлениях; я прямо передаю вам отрывочные ощущения, без всякой связи, как

[1] Прилагаемые письма взяты мной из архива Парижского комитета помощи политическим каторжанам и были получены мной в 1910—1911 году. Одно из них хорошо отражает тогдашние настроения узниц Мальцевской тюрьмы по выходе их в вольную команду, на ту карикатурную полусвободу, которая после тесного тюремного заключения все же кружила их молодые головы. *В. Ф.*

они меня порой захватывают, без всяких причин и об'яснений, так как сама не знаю, как и откуда они появляются? Почему мелких ощущений нельзя передать? Как много из переживаний каждого теряется для другого.

Такая у нас сейчас в камере милая картина. Светло горит лампа, все сидят за столом, занимаются. За окном дождь, а у нас так уютно. Передо мной интересная книга лежит. Поглядела на лица тех, которые сидят за столом, и почувствовала, насколько мне они приятны, близки. И все тянет, тянет, и сердце так слегка ноет. Хочется встать, и вот сейчас, сию минуту, осуществить свое желание.

Вспомнился мне сейчас один разговор. Это было, кажется, третьего дня. В камере никого не было, было как-то чисто и тихо. Я вошла, прилегла и стала думать. Моя кровать почти возле окна, и луч солнца через окно прямо падал на меня. Лежала и думала на одну из старых тем: чего больше хочется в данный момент? Жизни ли, шума, новых людей, или чтобы только глазу было просторно и не было стен кругом? Вдруг в камеру вошла одна из наших, подошла ко мне; улеглись вдвоем. Я стала передавать, о чем думаю сейчас. «Нет, не это я сейчас чувствую, не о том думаю,—сказала она.—Я думаю о том, что был момент, и незаметны были для меня никакие стены, все, что окружало, было целым огромным миром, всякая книжка, какая бы она ни была, всякий человек давал неистощимое богатство для души, такую полноту, что о всем остальном забывал. Жил в этом полном мире, и не было стен. А сейчас, сейчас стены в душе выросли. Нет этого мира! Эти стены в душе мешают все воспринимать попрежнему, делают ощутительными внешние стенки. Боюсь,—сказала она,—что теперь ничего не поможет и отсутствие внешних стен,—воля не разрушит внутренних стен».

Я чувствовала то, что она говорила, но думала, что у меня—совсем не то. Что где бы я ни была, в какой обстановке ни находилась, меня всегда тянет куда-то, и чем полнее, богаче внутри, тем больше чувствую потребность чего-то иного, еще большего. И какая-то ненасытность всю жизнь по отношению к людям, и всегда все казалось мало почему-то, почему-то никогда долго нигде не хотелось останавливаться, все хотелось итти дальше и видеть новое (хотя потом, задним числом, жалела об этом). Наверное потому, что глубины не было, не создавалось того мира, который у нее создался. Но зато тюрьма не создала внутренних стен: прежняя неудовлетворенность настоящим положением осталась, прежние силы для восприятия всего нового, даже наоборот—эти силы умножились, и жадность ко всему такая, и все тянет видеть и слышать.

ИЗ ВОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

8 ноября 1909 г.

Дорогие мои! Я уже неделю живу в вольной команде. Вышла вместе с Маней Гореловой.

Фаня вышла на 3 недели раньше и приготовила нам жилище. Живем в землянке. Это очень смешное сооружение: сделано из того же материала, что и ласточкино гнездо!—из прутиков и глины, кое-где только вставлено бревнышко. Когда мы пришли, пол был земляной и прилипал к ногам, а из углов от сырости струилась вода. Пойми наше удивление, дорогая мамочка, когда мы, проснувшись в первое утро, увидели над печкой целую оранжерею! Потолок устроен так: наложен хворост и засыпан землей, печка пригрела сырую землю, и прутики распустились нежной бледной зеленью. Хотела вам послать, да боюсь замерзнет, а в тюрьму послали целый букет. Теперь пол сделан деревянный, стены просыхают, и мы очень боимся за наш «зимний сад». Скоро не будет ему питания, и он погибнет.

Хлопот с хозяйством нам ужасно много. С непривычки оно у нас так же ладится, как Крыловский квартет. Уж мы разобрали хозяйственные функции по склонностям и способностям, а ладу все нет. Я, например, кастелянша, Маня—дровосек и истопник; у одной Фаньки нет определенной функции. Она и стряпает с Маней, и землянку прибирает, и пр. Со стряпней у нас сплошные курьезы. То жаркое сварится, а соус подгорел, то забываем в пирожки соль положить, то что-нибудь другое. И сколько энергии на все это уходит! Вчера Маня стряпала картофельные котлеты. Настряпала 14 штук и в изнеможении повалилась на кровать. Думали, что придется приводить в чувство, но через минуту принялись за пирожки. Поистине живуч человек.

Мы с Фаней, не в силах будучи глядеть на ее мученья,—ушли гулять.

С деньгами беда: они бегут, как вода сквозь пальцы, и мы очень озабочены приисканием доходов.

Если каждая из нас будет получать по 3—5 р. в месяц, то мы будем обеспечены. Я сильно надеюсь на Владимира, тем более, что он мне уже прислал 15 р. Тогда можно будет улучшить питание и тем самым поправить здоровье; заработать здесь что-либо нет возможности. В интеллигентном труде никто не нуждается, а на что-либо иное мы неспособны. Населения нет никакого; живут здесь только вольнокомандцы (уголовные), с которыми мы совсем не сталкиваемся, да тюремная администрация.

Это даже не деревня, а 1½ десятка хатенок, неправильно разбросанных на косогоре, а кругом—горы, горы, без конца горы.

Вдали стоит маленькая, заброшенная деревушка, но туда мы не ходим.

Надувают нас кругом кому только охота — и бороться с этим мы неспособны. Благодаря этому, землянка обошлась страшно дорого—100 руб. Выходит как-то так, что когда заметишь, как тебя (обманывают) надувают, делается ужасно неловко, и стараешься делать вид, что не замечаешь, и торопишься замять дело. Такое наше поведение и беспомощность приводит мужичков в недоумение, и охарактеризовали они нас так: «кажись и образованные, а как будто придурковатые все!»

Надеемся, однако, что все образуется, что со временем все устроится и заживем спокойно и уютно.

Первый вечер мы провели, как шальные; все повторяли: «мы втроем, мы втроем». Не зная, как выразить настроение, принялись петь, нимало не огорчаясь тем, что в нашем концерте меньше всего было музыкальности и согласности звуков. Теперь такое настроение прошло, хочется устроиться и начать заниматься.

У нас уже есть собственный стол и две табуретки. Скоро будет клеенка и лампа, и тогда наша пещера примет культурный вид.

Природа здесь очень красивая, хотя и суровая. Мне нравится холодная красота пейзажа. Горы громоздятся друг на друга, то расходясь и образовывая долинку, то снова смыкаясь. Кое-где скалы, и я смотрю и не могу насмотреться на эту дикую новую для меня картину. Словно в сказке бывают здесь вечера. Снег сверкает, рассыпается тысячами алмазов, горы черные, жуткие, все купается в волшебном голубом свете. Хорошо. Красиво. Воображаю, как красиво здесь будет летом, когда все горы будут покрыты цветами. Ведь здесь цветы гораздо богаче и по окраске, и по форме, чем в России, и я мечтаю, мечтаю о них. Ну, кончу. Жду с нетерпением посылку. Мне решительно нечего одеть. Я уже писала тебе, что мне нужно, но на всякий случай повторю: черное платье, пальто (пришли старое, покупать не надо), валенки, перчатки, башлык, чулки теплые, кушак кожаный, а если можно, гребенки. Пришлите обязательно мои письма, фотографические карточки и карточки Берты. Если есть свободные какие-нибудь безделушки для письменного стола, то пришлите, а если нет, то не надо. Хочется уюта, а то очень уж неприглядно.

Пишите скорее, как живете, что у вас нового; я очень боюсь, что стесняю вас своими просьбами, но я положительно не могу обойтись без вещей. Как у вас дела, очень плохо? Почему так долго не писали?—Я беспокоюсь. Получили ли мое письмо, где было и для Рони? Где он теперь и как живет?

Крепко целую тебя, моя дорогая мамочка, Берточку и Сонюшку. Привет всем друзьям. Если есть для меня письма откуда-нибудь, то пршлите поскорей.

Пиши, дорогая!

Ваша *Р.*

P. S. Если можно, то пришлите подушку и какие-нибудь ножницы. Фаня и Маня шлют привет.

Фаня сегодня своим не пишет, дай им это письмо прочесть; внешним образом оно характеризует Фанькину жизнь так же верно, как и мою. Собирались написать коллективное письмо, но отложили. Целую.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

Копия с отношения начальника Акатуйской тюрьмы от 8 октября 1911 г. за № 62 на имя начальника жандармского управления Забайкальской области.

При сем препровождаю вашему высокоблагородию две копии с писем, адресованных на имя (в одном конверте заказным) проживающей при вверенной мне тюрьме, в собственном домике, в ожидании выхода дочери ее в вольную команду,—добровольно пришедшей за дочерью Августы Федоровны Каховской. Каховская Августа перешла в собственный домик только в сентябре месяце сего года, до того же она проживала в деревне Акатуй, отстоящей от тюрьмы около 1½ верст, куда и было адресовано ей письмо. Из обращения в письмах видно, что писаны они не Каховской, а сс.-каторжным женщинам, содержащимся частью в тюрьме, а частью во внетюремном разряде, из чего видно, что Каховская Августа (мать сс.-каторжной) является передаточной инстанцией во внетюремный разряд, что легко ей сделать, так как двор с деревянным старым забором и никем не охраняется снаружи. А извне тюремного разряда при каком угодно наблюдении женщина может пронести в тюрьму письмо или записку, ибо при пропуске, когда нужно, в тюрьму привратнику или кому иному обыск с ног до головы невозможен женщине. Все зло, следовательно, происходит от посторонних лиц, проживающих при тюрьме, как добровольно пришедших за своими родными. Письмо это попало мне совершенно случайно, потому что все письма отправляются и получаются через тюремную контору, но за получением еще можно следить, а за отправкой весьма трудно, так как любое лицо может сдать на почте непосредственно, и данные письма попали ко мне потому, что Каховская перешла на жительство из деревни Акатуй в собственный домик при тюрьме, о чем автор письма не знал еще, а

если бы Каховская жила в дер. Акатуй, то это письмо могло попасть к сс.-каторжным. Кроме того, как мне кажется, это письмо на имя Каховской для передачи не первое, ибо нет просьбы к ней о передаче этого письма, а следовательно—это ею практикуется давно и еще с Мальцевской тюрьмы, как надо полагать.

Из вышеизложенного видно, что посторонний элемент при тюрьме не что иное, как зло, которое не мало причиняет горя. За все недочеты по наблюдению ответственность ложится на начальника тюрьмы, а между прочим он совершенно бессилен бороться с такими элементами, так как о их порядке жизни даже в законе не предусмотрено и начальник тюрьмы даже не знает, следует или нет на ночь запирать на замок сс.-каторжную, проживающую с родственницей или родственником, добровольно пришедшими за ними, в своем домике. А при подобных случаях ночь в их распоряжении при условии незапирания их на замок, а также принятии ими посторонних ночью лиц, дышащих одним с ними, как говорят, духом; а при таких условиях возможны и побеги сс.-каторжных и убийства чинов администрации.

Подлинное подписал: И. д. начальника тюрьмы штабс-капитан Шматченко.

С подлинным верно:

Начальник Читинского охранного отделения ротмистр (подпись)

Секретно.

М. Ю.
НАЧАЛЬНИК
АКАТУЕВСКОЙ ТЮРЬМЫ
ноября 11 дня 1911 г.
№ 68
Рудник Акатуй
Адрес: Александровское почтово-телеграфное отделение, Забайкальской области.

Забайкальскому областному тюремному инспектору

Рапорт

На основании предписания вашего высокородия от 25 октября с. г. за № 591—свидание Каховской с дочерью ее я воспретил; при этом доношу, что Каховская не знает причины воспрещения свидания, ибо о письме ей мною не сообщено, и поэтому со слезами на глазах просит сообщить ей причину; я же с своей стороны не желаю этого делать, держа в секрете и надеясь, что она скоро будет совершенно выдворена из района каторги.

И. д. начальника тюрьмы штабс-капитан Шматченко.

Секретно.

М. В. Д.
ВОЕННЫЙ
Забайкальской области
ГУБЕРНАТОР
Отделение . . . . .
Стол 3.
Октября 31 дня 1911 г.
№ . . . .

Начальнику Нерчинской каторги

Проживающая при Акатуевской тюрьме мать сс.-каторжной Каховской—Августа Каховская была изобличена нелегальной передачей политическим арестантам писем сс.-поселенца Куликовского.

В виду этого предлагаю вам распорядиться о прекращении свидания Каховской с ее дочерью.

И. д. губернатора (подпись).
Вице-губернатор (подпись).
Тюремный инспектор (подпись).
И. об. помощн. тюремного инспектора (подпись).
За столоначальника Кудрявцев.

Ф. Н. Радзиловская и Л. П. Орестова

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ЖЕНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕРЧИНСКОЙ КАТОРГИ

(Мальцевская и Акатуйская тюрьмы)

1906—1917 гг.

До сих пор не было попыток изучить состав женской каторги и ссылки. Между тем, такое изучение дало бы нам, с одной стороны, картину преследования женщины-революционерки в эпоху царизма, а с другой—помогло бы отчасти выявить, кто из женщин шел в революцию, так как значительная часть наиболее активных революционерок в конце-концов была выловлена царским правительством и провела долгие годы в тюрьмах, каторге и ссылке.

Анкетные сведения о Нерчинской женской каторге периода 1906—1917 гг. являются первой такой попыткой. Мы надеемся, что за этой попыткой последуют другие и что состав женской каторги и ссылки за весь период русского революционного движения будет исчерпывающим образом изучен. Без этого роль и участие женщины в героическом периоде подготовки русской революции не могут быть в полной мере освещены.

В пореволюционную эпоху 1905 года женщины-каторжанки были рассеяны одиночками и маленькими группами в ряде городов, и только в некоторых каторжных тюрьмах были сконцентрированы сравнительно значительные группы женщин-каторжанок. Такие женские каторжные тюрьмы были в Риге, Екатеринославе, в Самаре, в московской Новинской тюрьме, в Западном крае и в Нерчинском округе.

Через Нерчинскую женскую каторгу за упомянутый период прошло 72 чел. Конечно, по сравнению с политическими каторжанами-мужчинами, хотя бы на той же Нерчинской катор-

ге, это количество покажется незначительным. Но целый ряд причин—экономических, семейных и бытовых—мешал женщине в равной мере с мужчинами участвовать в революции. К тому же, та масса военных восстаний и аграрных беспорядков, которая наполнила мужскую каторгу солдатами и аграрниками-крестьянами, совсем не давала женщин-каторжанок. В силу этого и состав женской каторги был несколько иным, чем мужской.

В общей сложности женщины Нерчинской каторги отбыли 400 лет тюрьмы и 169 лет поселения. Хочется указать, что хотя нерчинки не носили кандалов, не подвергались телесному наказанию, как в мужских тюрьмах, и часть своей каторги провели в Мальцевской тюрьме при довольно свободном режиме, все же долгие годы тюремного заключения и ссылки дали среди них значительный процент смертности и заболеваний.

Так, из 72 каторжанок—9 человек, т.-е. 12,5%, умерли, и из оставшихся в живых 63 человек—16 человек, т.-е. 25%, в сравнительно молодом возрасте потеряли трудоспособность и переведены на социальное обеспечение.

Помещаемые ниже анкетные сведения о Нерчинской женской каторге за период 1906—1917 гг. дают исчерпывающие сведения о социальном положении каторжанок-нерчинок, об их революционной деятельности до ареста, о процессах, по которым они судились, о приговорах и т. д. Думается, что эти анкетные сведения можно считать более или менее типичными, отражающими состав женской каторги того периода, так как через Нерчинскую каторгу за упомянутый период прошло сравнительно с другими женскими каторжными тюрьмами значительное количество каторжанок.

Статистические данные [1]

I. КОЛИЧЕСТВО СИДЕВШИХ НА КАТОРГЕ—72.
II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. Социальные группы.

А. Принадлежали к сословиям

Крестьянскому	12	чел.
Мещанскому	26	»
Купеческому	5	»
Духовному	2	»
Дворянскому	14	»
Дочь сс.-каторжанина	1	»
Нет сведений	7	»

[1] Проработка анкетных сведений охватывает 67 человек. О следующих лицах не имеется сведений: Ротте, Королева, Давидович, Шенберг, Пустовойт.

Б. По национальностям

Русских	37 чел.
Евреев	23 »
Поляков	7 »
Грузин	3 »
Латышей	2 »

В. До начала своей революционной деятельности занимались

Физическим трудом	24 чел.
Умственным трудом	42 »
Нет сведений	1 »

Г. Род занятий к моменту ареста

Фабр. работниц (текст., чаеразв., пломбировщ. и т. д.)	10 чел.
Портних	6 »
Учительниц	5 »
Фельдшериц, зуб. врачей, акушерок, сестер милосердия	9 »
Чертежниц	1 »
Учащихся	10 »
Проф.-революционерок	20 »
Без определенных занятий	4 »
Нет сведений	2 »

2. Образовательный ценз к моменту ареста.

Малограмотных	14 чел.
Низшее образование	10 »
Среднее	26 »
Незаконченное высшее	17 »

3. Возраст в момент ареста.

До 21 года	18 чел.
С 21 до 30	37 »
С 30 до 40	7 »
Свыше 40	5 »

4. Партийная принадлежность во время ареста.

С.-д. (б)	5 чел.
С.-д. (м)	2 »
С.-д. Польши и Литвы	3 »
Бунд	2 »
С.-р.	36 »
С.-р. максималисты	2 »
П.П.С.	1 »
Анарх.-коммун.	13 »
Б/партийные	3 »

III. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО АРЕСТА.

1. Начало революционной деятельности.

С 1890 г.	1	чел.
» 1896 »	1	»
» 1898 »	1	»
» 1899 »	1	»
» 1901 »	6	»
» 1902 »	7	»
» 1903 »	6	»
» 1904 »	15	»
» 1905 »	17	»
» 1906 »	9	»
» 1907 »	1	»
Нет сведений	2	»

2. Революционный стаж до ареста.

До 1 года	7	чел.
1 год	13	»
2 »	18	»
3 »	8	»
4 »	5	»
5 »	7	»
6 »	3	»
7 »	1	»
8 »	3	»
9 »	1	»
16 »	1	»

3. Революционная работа до ареста[1].

Члены комитета	5	чел.
Пропаганда и агитация	22	»
Организационная работа	7	»
Техническая помощь (хранение оружия, литературы, взрывч. веществ, экспедиция, хозяйки конспиративных квартир, помощь заключенным)	26	»
Работа в лаборатории	11	»
» в типографии	15	»
» в боевой организации	20	»
Нет сведений	1	»

4. Подвергались преследованиям до последнего ареста 34 чел.

В том числе по 1 разу	23	чел.
» » » » 2 »	8	»
» » » » 3 »	1	»
Нет сведений	2	»

Арестованные подвергались тюремному заключению длительностью от нескольких недель до 3 лет, высылке под надзор полиции и административной высылке от 1 г. до 5 лет, несколько человек были осуждены на поселение, откуда бежали.

IV. СУД.

1. Каким судом судились.

Судебной палатой	12	чел.
Окружным судом	1	»
Военно-окружным	52	»
Особым присутствием сената	1	»
Нет сведений	1	»

[1] Некоторые исполняли до своего ареста одновременно несколько работ.

2. Место судимости.

Петербург	17 чел.
Одесса	9 »
Польша	7 »
Сибирь	8 »
Москва	4 »
Тифлис	4 »
Д. Восток	3 »
Рига	2 »
Украина	4 »
Поволжье	3 »
Тамбов	1 »
Минск	2 »
Гомель	1 »
Могилев	1 »
Гродно	1 »

3. Годы судимости.

1905 г.	1 чел.
1906 »	23 »
1907 »	21 »
1908 »	13 »
1909 »	5 »
1910 »	3 »
1911 »	1 »

4. Судились по процессам с количеством участников [1]:

До 3 чел.	26 %
От 3 до 10 ч.	8 »
» 10 » 20 »	8 »
» 20 » 30 »	3 »
» 40	3 »

5. Судились [2].

А. По делу:

За принадлежность к военной организации	14 чел.
» хранение и изготовление взрывчатых веществ	13 »
» террористические акты	7 »
» вооруженное сопротивление	2 »
» заговор против Николая II	2 »
» экспроприацию	4 »
» работу в типографии	13 »
» хранение литературы	2 »
» участие в конференции ППС	1 »
» побег с поселения	3 »
» Мозырскую республику	1 »
» хранение оружия	1 »
» содержание конспиративной квартиры	1 »
Нет сведений	3 »

Б. По статье:

102 (1, 2, 3 часть)	33 чел.
126 (1 и 2 часть)	10 »
129	1 »

---

[1] Нет сведений о количестве сопроцессников у 6 человек.

[2] Кроме основного дела, почти всем пред'являлось обвинение в принадлежности к партии.

113	1 чел.
147	1 »
279	7 »
Неизвестно	14 »

6. Вынесены приговоры.

Смертная казнь	9 чел.
Бессрочная каторга	1 »
15-летняя каторга	5 »
13 лет, 6 мес.	1 »
12 »	1 »
10 »	2 »
9 »	1 »
8 »	7 »
6 »	13 »
5 »	3 »
4 »	23 »
3 »	1 »

7. Изменены приговоры.

А. По несовершеннолетию.

С бессрочной каторги на 15 л.	1 чел.
С 15 л. на 10	2 »
С 8 » » 5 л. 4 мес.	2 »
С 6 » » 4 года	8 »
С 4 » » 2 г. 8 мес.	3 »

Б. По богодульству[1]:

С 13 л. 6 м. на $3^1/_2$	1 чел.
С 10 » на 4 г. 6 м.	1 »
С 20 » » 6 лет	1 »
С 4 » » 1 г. 6 м.	1 »
С 4 » » 3 » 6 »	1 »

В. По разным причинам.

С 15 л. на 7 л.	1 чел.
С 12 » » 8 »	1 »

Г. Смертная казнь заменена

Бессрочной каторгой	8 чел.
20-летней каторгой	1 »

V. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КАТОРГА И ПОСЕЛЕНИЕ.

1. Просидели в предварительном заключении

До 6 месяцев	14 чел.
От 6 м. до 1 г.	17 »
От 1 г. до 2 л.	25 »
Свыше 2 лет	3 »
Нет сведений	8 »

[1] По инвалидности.

2. Отбыли каторгу.

До двух лет	3	чел.
От 2 до 3 лет	3	»
» 3 » 4 »	25	»
» 4 » 5 »	7	»
» 5 » 6 »	8	»
» 6 » 7 »	7	»
» 7 » 8 »	5	»
» 8 » 9 »	1	»
» 9 » 10 »	1	»
» 10 » 11 »	7	»

3. Отправлены на вечное поселение по отбытии каторги—57 чел.

Жили на поселении:

До 6 мес.	10	чел.
От 6 до 1 г.	3	»
» 1 г. до 2	7	»
» 2 до 3	7	»
» 3 » 4	11	»
» 4 » 5	5	»
» 5 » 6	7	»
» 6 » 7	3	»
» 7 » 8	3	»
» 9 лет	1	»

4. Общее количество лет, проведенных в предварительном заключении, каторге и ссылке.

67 человек отбыли 400 лет 9 месяцев тюрьмы, в том числе—53 года предварительного заключения и 347 лет 9 месяцев каторги. Годы тюремного заключения составляются из 46 л. 1 м. одиночного заключения и 354 л. 8 м. заключения в общей камере.

57 чел. по отбытии каторги пробыли на поселении 168 лет 9 мес.

VI. ПОБЕГИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ.

1. Бежали.

С каторги[1]	1	человек
С поселения	18	»

2. Освобождены в 1917 г.

Из тюрьмы	10	человек[2]
С поселения	37	»

VII. УМЕРЛО—9 ЧЕЛОВЕК.

На поселении	2	челов.
После 1917 г.	7	»

[1] Побег был совершен нерчинской каторжанкой, временно находившейся на излечении в Иркутской тюрьме.

[2] В это число входит Шенберг, о которой не собраны другие анкетные сведения.

VIII. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

1. По партийности.

Чл. ВКП(б)	6 челов.
б/п	45 »
Бунд (за гран.)	1 »
Нет сведений	7 »

2. По роду занятий.

Служащих	20 чел.
Занимающихся физическ. трудом	10 »
На социальном обеспечении	16 »
Учащихся	1 »
Дом. хозяек	5 »
Без опред. занятий	1 »
Неизвестно	5 »

СПИСОК СИДЕВШИХ НА НЕРЧИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ КАТОРГЕ

1. Аскинази-Грюнштейн, Ревекка Абрамовна.
2. Бакрадзе-Махвиладзе-Окушко, Александра Ивановна.
3. Беневская-Степанок, Мария Аркадьевна.
4. Бибергаль, Екатерина Александровна.
5. Биценко, Анастасия Алексеевна.
6. Боброва-Тарасова, Вера Михайловна.
7. Бородюкова, Мария Кирилловна.
8. Бронштейн-Станиславская, Зисла Самойловна.
9. Горелик, Евгения.
10. Горелова, Мария Николаевна.
11. Горовиц, Вера Исаевна.
12. Давидович, Анна.
13. Данциг, Сарра Наумовна.
14. Деркач, Надежда Яковлевна.
15. Езерская, Лидия Павловна.
16. Зверева, Елизавета Павловна.
17. Зелинская, Екатерина Андреевна.
18. Измайлович, Александра Адольфовна.
19. Каховская, Ирина Константиновна.
20. Квецинская-Миронова, Сабина.
21. Клещева, Евгения Ивановна.
22. Королева, Вера.
23. Купко-Зефир, Мария Владимировна.
24. Лаврова, Мария Ивановна.
25. Майденберг-Гершкович, Роза Григорьевна.
26. Марголина-Левинсон, Рахиль Мордуховна.
27. Махвиладзе-Плис, Нина Константиновна.
28. Мачабелли, Нина Григорьевна.
29. Меттер-Вяткина, Паулина Францевна.
30. Нейман, Августа Карловна.
31. Новик-Шептун, Фрида Семеновна.
32. Новицкая, Сарра.
33. Овечкина, Юлия Александровна.
34. Окушко, Мария Васильевна.
35. Орестова-Бабченко, Лидия Павловна.
36. Петрова, Елизавета.
37. Пешак-Соколикова, Казимира Антоновна.
38. Пигит, Анна Савельевна.
39. Письменова, Татьяна Семеновна.
40. Поляк, Софья Адольфовна.

41. Пустовойт, Епистинья Михайловна
42. Рабинович, Розалия Исааковна.
43. Радзиловская, Фанни Николаевна.
44. Ротте, Домицелла Густавовна.
45. Роткопф, Стефа.
46. Ройтблат-Каплан, Фанни Ефимовна.
47. Рутковская, Анатолия.
48. Савинская, Антонина Осиповна.
49. Светлова, Вера Николаевна.
50. Селина-Орлова, Любовь Тихоновна.
51. Сошникова-Степанова, Надежда Кузьминична.
52. Спиридонова, Мария Александровна.
53. Старр, Любовь Андреевна.
54. Стржелецкая-Малецкая, Елена Яновна.
55. Субботина, Лидия Ивановна.
56. Таборисская, Раиса Семеновна.
57. Тебенькова-Пирогова, Антонина Яковлевна.
58. Терентьева, Надежда Андреевна.
59. Тиавайс-Шепшелевич, Аустра Христофоровна.
60. Фармаковская, Елизавета Дмитриевна.
61. Фиалка-Рачинская, Ревекка Моисеевна.
62. Франкфурт, Лия Абрамовна.
63. Чебанова-Сквирская, Лидия Ивановна.
64. Шакерман, Полина Осиповна.
65. Шенберг, Альвина.
66. Школьник, Мария Марковна.
67. Штольтерфот, Вера Васильевна.
68. Шумилова, Александра Матвеевна.
69. Щукина-Козловская, Анна Павловна.
70. Юргенс, Наталия Митрофановна.
71. Эрделевская, Екатерина Ильинична.
72. Эскина-Фридберг, Александра Александровна.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАМЯТИ УМЕРШИХ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.



29739

Цена 2 р. 25 к.



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению Издательства Политкаторжан — Москва, Г. С. П. 10, Лопухинский пер., 5. Телефон 3-64-73.
2. Магазину Издательства Политкаторжан «Маяк» — Москва, Центр, Петровка, 7. Телефон 4-18-12 и 3-63-20.

